„О времени и о себе"

Василий

Белов

РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ



БИБЛИОТЕКА
«О ВРЕМЕНИ
И О СЕБЕ»

Василий Белов

РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ

Очерки и статьи

Современник
Москва
1986

Р2
Б43

Белов В.

Б43 Раздумья на родине. — М.: Современник, 1986. — 271 с. — (Б-ка «О времени и о себе»).

В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве писателя, главное — это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.

Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть «Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи Вологодской области и очерк «Дважды в году — весна» о поездке писателя в Италию.

$Б\frac{4603010102-062}{М106(03)-86}$ 316—85

ББК84Р7
Р2

РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ

(Документальная повесть)

I

Летом 1964 года мы с матерью ехали в родную Тимониху. Ехали на шикарном «Москвиче», который предоставила нам редакция районной газеты. Коля — редакционный шофер — включил приемник. Так странно и необычно звучит в этих лесах колоратурное сопрано неведомой мне певицы! Розовый теплый кипрей можно рвать прямиком из машины, ольховые ветки и смородина метут по бортам, пахнет зеленым, оводы залетают прямо в кабину.

Моя мать плачет. Я знаю, отчего она плачет. Всю жизнь, далеко не под музыку, она преодолевала эти шестьдесят километров. Под слоем дорожного песка, навоженного еще совсем недавно, навек замурованы сломанные колеса, оглобли, оси, завертки, оставленные ею на этой дороге. Вот у этой горушки у нее однажды сдох мерин, там лопнул березовый полоз, вот здесь, у ручья, примерзли к валенкам ноги...

Я слушаю алябьевского «Соловья» и думаю о том, как, в сущности, все относительно на белом свете. Еще совсем недавно я добирался от станции до Тимонихи двое суток, сегодня же буду там через два часа.

Впрочем, не стоит загадывать. Коля с тревогой глядит на спидометр, проехали уже пятьдесят восемь, а до деревни еще около восьми километров. Здешние километры неожиданно оказались длиннее.

— А как тут дорога?

Я слегка хитрю, говорю, что не знаю, хотя знаю отлично, что дорога сделана только до центра колхоза, остальные же семь километров пока весьма первобытны. Если

пойдет дождь, то Коля будет сидеть в лесу, пока его не выволокут гусеничным трактором.

А впереди, над потемневшим лесным кольцом, густые, темно-голубые завалы грозовых облаков. Сквозь шум машины уже слышатся дальние перекаты грома, мы едем прямо под эти тучи. Коле надо успеть свезти нас под эти тучи и быстренько, по сухой дороге, удрать от дождя обратно, в райцентр. В придачу сегодня суббота — короткий день.

Но вот и контора колхоза. Самодельная вывеска прибита к рубленой стене, и видно ее издалека.

«Родина». Колхоз «Родина»... То самое место, о котором в Писцовой книге начала XVII столетия говорится: «В Кумзерской же волости в Азлинском станку... погост Никольский подле Азлинского озера. А на погосте церковь во имя святого пророка Ильи. Древяна, шатрова вверх. Другая церковь теплая с трапезою во имя святого страстотерпца христова Георгия. Древяна, клетецкии. А в церквах всякоя строения и на колокольне колокола приходных людей того ж Азлинского станку разных поместей и вотчин крестьян. На погосте ж келья пономарева, келья просвирнина, 7 келей нищих, питаютца от церкви божии. Да на погосте ж на церковной земле деревня Поповская. А в ней во дворе поп Игнатей Меркурьев»[1].

Теперь здесь колхоз «Родина».

Наконец-то у нашего колхоза такое хорошее название. Гляжу на эти буквы и чуть не реву, кусаю губы, и мне хочется поклониться этой вывеске в самые ноги... Коля спешит, туча вырастает перед радиатором. «Москвич», будто шлюпка в штормовом океане, то падает в громадные выбоины, то вылезает на гребни дорожных бугров, скребет задним мостом пересохшую землю. Через двадцать минут мы с мамой видим родные крыши.

Туча, словно дразня, пошла над лесом, не захватив нашу деревню, я выставляю чемодан, и Коля тотчас разворачивается перед нашим заколоченным домом, не взяв ничего, кроме пачки московского «Беломора».

Мама уже сидит на заросшем травой и крапивой крылечке. В деревне нет ни души, тихо, жарко. Урчит уходящий гром.

Здравствуй, Тимониха...

В доме все оставлено так, как было в тот черный для

---

[1] ЦГАДА, «Писцовая книга Вологодского уезда». Ед. хр. № 14718.

меня день, когда мать отнесла соседке петуха, заколотила окна и уехала в город к моему старшему брату. Я сам настаивал тогда на этом отъезде... Но никогда не выветрится из души ощущение бездомности, чувство начисто обворованного человека, которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого больше нет, что дом заколочен, а печь, которая не остывала много десятилетий, остыла, и часы-ходики остановились. Часто во сне я плакал сухими слезами, плакал, а за окном общежития шумела бессонная громада Москвы. Ревели пропахшие соляром МАЗы и вдали, с Шереметьева, поднимались в ночное небо тяжелые равнодушные ИЛы. По утрам, боясь быть сентиментальным, я загонял свою тоску вовнутрь, как загоняют хроническую болезнь, когда нельзя оперировать...

Первым делом нужна лестница. И топор. Я беру лестницу и топор в доме Дворцовых, напротив. Сами хозяева на работе, но ворота у них не закрыты. Ставлю лестницу к своим окошкам. Скрежещут гвозди, доски бухаются о землю. Рыжая пацанва с криками копится вокруг — ни одного не знаю, все как от одной матери.

— Дядя Вася, отколоти все окошки!

— Все отколотить?

— Все! Все!

Мама уже в доме, ребятишки тоже туда просочились, и она раздает каждому по баранке — первый, еще не настоящий гостинец...

Запыхавшаяся, радостная, бежит Людмила — жена соседа Николая Андреевича Федотова. Всплеснула руками, здоровается:

— Иди, Анфиса, чай-то пить. Ой, ой, в деревне-то веселее стало, дом-от слепой стоял, будто на свет проглянул. Идите, самовар на столе!

Людмила — ширококостная, сильная, ноги у нее тяжкие, исцарапанные, лицо круглое, красное от загара. Кроме нее, никого нет в деревне, да и она пришла ненадолго, попить чаю, торопится опять в поле на сенокос.

Где там! Разве пойдет мать пить чай в другой дом, если свой расколочен, и самовар с клеймом фабрики Скорнякова стоит на лавке, и даже угли остались в тушилке.

Я тоже вхожу в дом. Двери открываются с тем же звуком, что и пятнадцать лет назад. Те же лавки, стол с клеенкой, шкаф, русская печь, футляр с ходиками. Подтягиваю гирю, толкаю маятник. Часы стояли около десяти лет. Слушаю, не остановятся ли. Нет, идут. А вот и красный

угол с *моей* иконой. Как забудешь эту икону? Я сейчас явственно вижу перед собой бабку Ермошиху, с которой спорил в запальчивой полудетской самоуверенности. Ермошиха хоть и не утверждала, что бог существует, однако убрать икону твердо не разрешила. Помнится, я пошел на иезуитскую хитрость. Однажды, когда она была на покосе, я вынул из золоченой рамки большеглазого Николу. Потом выстриг ножницами из «Огонька» репродукцию с «Сикстинской мадонны», вставил в рамку и повесил на прежнее место.

Ермошиха крестилась лишь во время грозы, когда сильно вспыхивала молния и от грома звякали стекла. Она умерла, когда я мотался по великой российской земле, умерла, видимо так и не заметив подвоха, мадонна висела в углу по-прежнему. На меня глядели широко открытые, печально-радостные глаза, они глядели с легким оттенком игривого недоумения. Что выражали эти глаза? Целомудренность материнства? Радость человеческого бытия? Удивление перед светлым, широким, теплым миром? Это, наверное, как раз тот случай, когда определение невозможно, а все понятно. Ничего не ведающий младенец с пухлыми щеками, кажется, вот-вот пустит губами пузырь. Кажется, услышишь сейчас, как сопит носом умудренный жизнью старик, увидишь, как поднимет ресницы женщина справа, словно стыдящаяся ожидания собственного материнства.

Часы тикали, мама разговаривала с Людмилой, а я, приглушая какое-то неловкое чувство, все глядел на рафаэлевскую мадонну.

Однако надо жить, коль приехали, надо греть самовар. Хватаю ведра и босиком бегу на речку.

Туча ушла, ее уже не слыхать, и солнце, скатываясь к горизонту, опять шпарит напропалую. Ах, какие нынче вымахали травы... Розовый клевер тёпел, мягок, душист, а густой пырей у тропки выше моего пояса. В полную силу цветет солнцеликая ромашка. Весь деревенский угор, до самой речки, усыпан полевыми цветами: небесные васильки, бордовые колокольчики, желтые петушки, чего только не наросло в травяном царстве!

Пока шумит у шестка самовар, обхожу нашу старинную хоромину. Собственно, детство мое прошло не в этом доме, он не отцовский. Отцовский же дом продан, этот дом остался нам от бабки Ермошихи. Он, как и большинство старинных северных домов, велик и обширен: пятистенок с шестью окнами по фасаду, с подвалом и с несколькими хлева-

ми и сенниками, с въездом и сенными перевалами. По подсчетам старожилов, дом был срублен еще до реформы 1861 года, то есть стоит на земле второе столетие. Только заменена крыша над жилой частью, отломана зимняя изба и поветшала, покосилась задняя часть со всеми хлевами и сенниками. Передняя же часть, рубленная из сосновых кряжей, при желании хозяев, возможно, одолела бы еще одно столетие...

Несколько поколений людей родилось и умерло под этими кремневыми матицами. Об этих поколениях я кое-что знаю, пусть из вторых уст, но вот что было до них — ничего мне не известно. По-видимому, потомки новгородских ушкуйников разжились по здешним лесам, расселились по озерам и речкам, которые и по сей день текут в лощинах, вырытых ледниками. Скупая эта земля, пропитанная потом моих предков, понемногу утрачивала новгородское буйство. Мужики жили хоть и бедно, да вольно: жгли подсеки, пороли медведей, сеяли на гарях лен, ячмень и молились Николе. Тогда еще не свернулась в жилах вольнолюбивая кровь: «в смутное время» ватажка голодных иноземцев, дошедшая сюда, погибла под топорами и кольями. Разбойники успели спалить церковь и разорить Тимониху, Вахруниху и еще многие деревни. Тяжел на подъем русский человек! И что говорить о крохотной деревушке, когда и сама Вологда — ровесница Москвы — проспала и была за одну ночь сожжена и разграблена. Вот что писал по этому случаю московским боярам архиепископ Сильверст: «...И ныне, господа, город Вологда зженое место, окрепиты для насады и снаряд прибрать некому, а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорей Образцов с Белаозера с своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят... А все, господа, делалось хмелем: пропили город Вологду воеводы».

Тимониха, как, впрочем, и Вологда, отстроилась сразу же после разора, поскольку та же Писцовая книга повествует[1]:

«В Кумзерской же волости в Азлинском станку поместные земли. За Гаврилом Васильевым сыном Хлоповым в поместье... Деревня Тимониха на речке на Сохте. А в ней крестьян: во дворе Докучайко Павлов с сыном Моисейком,

[1] Все архивные выписки любезно предоставили автору вологодский краевед Владимир Капитонович Панов и сотрудник Вологодского краеведческого музея Николай Иванович Федышин.

во дворе Малютка Павлов с сыном с Офонькою, во дворе бобыль Осипко Павлов з детьми с Якушкою да с Терешкою. Двор пуст, выморочной, Омелька Григорьева. Пашни паханые 20 чети, да перелогом 6 чети, да лесом поросло 4 чети. И всего худые земли 30 чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль и по речке по Ухтюге и по Нижней Кизьме в кривизне 15 копен. Лесу пашенного 3 десятины, да непашенного 2 десятины. Да под тою ж деревнею толчея[1]. Один берег Ондрея Измайлова деревни Чичерихи, а другой берег Гаврила Хлопова деревни Тимонихи. А владеет тою толчеёю крестьянин Ондрея Измайлова... (неразборчиво. — *В. Б.)* Игнатьев».

После перечисления других деревень, принадлежавших Гаврилу Хлопову, говорится:

«А платить ему с того поместья в сошное письмо с трех чети пашни. А писано за ним то поместье по приправочным книгам дозора князь Тимофея Шеховского 123-го году[2], каковы даны писцом для приправки ис Поместного приказу за дьячьею приписью да по скаске сына ево Ивана Хлопова за ево Ивановою рукою какову положил у справки перед писцом человек ево Тренька Нестеров. А ввозные грамоты и отдельные выписи Гаврило Хлопов на то свое поместье у меры и у справки у книг к писцам не присылывал».

Не вдруг и сообразишь, что к чему! Бывал ли этот Гаврило в моей деревне и за что ему благословили Тимониху — неизвестно. Известно только, что Хлопов имел землю по жеребью в деревнях Острецовской и Межуречье, та же Острецовская без жеребья числилась «за Ондреем Измайловым». Остальные деревни в наших краях были то «за князем Микитою княж Ивановым сыном Черкасским», то «за смолиянином за Павлом Ивановым сыном Алтуфьевым». А вот деревня «Шемяково Деруниха тож на реке на Вондаше» (ныне колхоз «Большевик») была «за путным ключником за Иваном Алексеевым сыном Пузыревым в поместье, что было за Иваном Хрипковым а прежнево было за Ондреем Кобылиным». Другие селенья записаны то «за Вьялицею Кузьминым сыном Потемкиным», то «за иноземцем Елисеем Фозбрилковым». По-видимому, поместья то и дело переходили из рук в руки. Так, деревня Горка на реке Кизьме, как сообщает писец, была «за Иваном Кобыльским в вотчине по купчей Аптекарские палаты Вьяли-

---

[1] Толчея — мельница.
[2] 1615 год.

цы Потемкина 139-го году[1], а Вьялице дана была та вотчина из ево ж поместья за московское осадное сиденье королевичева приходу 127-го году[2]».

Примерно через столетие двенадцать дворов из Тимонихи принадлежали уже не Гаврилу Хлопову, а какому-то Михаилу Александровичу Протасьеву, а деревня Помазиха (исчезнувшая десять лет назад) некоему Петру Яковлевичу Самарину. И вот прошло еще сто лет. «Вологодские губернские ведомости» (январь 1844 г.) сообщают:

«В Вологодском приказе общественного призрения будет продаваться с публичного торга просроченное недвижимое имение капитанши Александры Васильевны Гресвицкой, состоящее в Кадниковском уезде в Азлецкой волости в деревне Помазихе 8 мужского пола душ с семействами, принадлежащие им строением, скотом и землею за неплатеж с занятой ею в 1839 г. июля 24 дня на 26 лет суммы 142 р. 85 1/2 коп. серебром — проценты и часть капитала. Желающие купить это имение явились бы в Приказ Общественного призрения к торгу, о сроке коего припечатано будет в сих ведомостях особо».

Бедная Помазиха! Я хорошо помню ее широкую зеленую улицу, помню, как много народу скоплялось в деревне по праздникам. Помню и тот дом, где жил когда-то мельник Денис. Из двенадцати мельниц, сооруженных на двухкилометровом участке моей родной речки Сохты, две были построены Денисом. Проштрафившаяся капитанша Гресвицкая, сидя где-то далеко в Вологде, видимо, и не подозревала о существовании Дениса, который несколько лет строил у себя в доме вечный двигатель.

Ему было мало двух мельниц, работающих на воде. Он решил построить мельницу на песке. На верхнем сарае дома он установил хитроумное насыпное колесо, желоба и большие ящики для песка. Боковые колесные черпаки поднимали песок вверх и высыпали его в большой ящик, из ящика песок тек по желобу на плицы того же главного колеса. Казалось, еще немного — и песчаная струя начнет вертеть весь привод. Но колесо почему-то сразу же останавливалось, как только Денис переставал его раскручивать. Другие его затеи заканчивались счастливее...

Далеко не все крестьяне в наших местах были крепост-

---

[1] 1631 год.
[2] 1619 год.

ными[1], поскольку в помещичьем списке 1737 года упомянуты не все дворы деревни Тимонихи. Многие числились государственными, другие выбирались из крепости своими силами. Так, дед моего соседа Василия Михайловича Барова выкупился на волю задолго до реформы 1861 года. Некоторые жители Тимонихи вплоть до семнадцатого года выплачивали казне долги. Какие долги? Вот, скажешь слово — и удивляешься его смыслу. Наверное, ни один самый крючкотворный философ не объяснит этой нелепости. Земля была крестьянская, а крестьянин почему-то платил за нее долги.

И тут опять хочется возвернуться к веселым ушкуйникам. Выкорчевал мужик делянку, сжег пеньки, посеял ячмень, репу и лен. Кому придет в голову, что земля эта не мужикова? Но получилось точь-в-точь по частушке: «без меня меня женили, я на мельнице был». Только мужика не женили, а просто продавали. Вместе с землей. Почему, с каких рыжиков? Он, может, и не знал про эту женитьбу, сеял хлеб, а где-то и кто-то продавал его кому-то другому. Мужик же работал и не знал о том, что кому-то принадлежит, потом узнавал, и как-то уж так получалось, что свыкался. Надо же было кому-то принадлежать... И как только его приучили к мысли, что он принадлежит, все пошло как по маслу.

Во как! Баре убрались из Вахруних и Тимоних, не оставив, однако, мужиков на произвол судьбы: свято место не бывает пусто, в чем, в чем, а в начальстве и в хозяевах нужды в Тимонихе никогда не было.

...Пока я ходил по дому, пришел, стуча батогом, Федор Евгеньевич Агафонов — сморщенный старик с восковыми щеками. Федору Евгеньевичу девятый десяток, но он все еще пилит и колет дрова, дерет ивовое корье, топит баню, ходит по ягоды. За самоваром он долго рассказывает мне про Тимониху:

— Что ты, чудак, вздоху никогда не было, без хозяев не живали. Какая-нибудь да варяга всегда есть. Бывало, мужикам свобода вышла, царь-то освободитель какой был?

— Александр Второй.

— Ну, значит, мужики в Тимонихе землю выкупали. Подозёрки — одна болотина, бывал, знаешь. Решили не вы-

---

[1] По переписи 1859 г. в Вологодской губернии было 26% крепостных крестьян, в Олонецкой 5,95%, а в Архангельской всего 0,01% (Дружинин А. М. Русская деревня на переломе. М., 1978).

купать: дескать, болото в Питер не увезут, не будем платить.

— Не заплатили за Подозёрки?

— Содрали, все равно. А бывало, у Крысанфея, чую, рев стоит. Урядник приехал на лошади, с шашкой, весь в ремнях, по дому ходит. Корову, значит, из хлева вывели. Дак мужик-то в ногах валялся, пощады просил.

— Выпросил?

Федор Евгеньевич молчит, не слышит.

— Ну, а при Столыпине как,— спрашиваю я,— не лучше жили?

— Да ведь как сказать, земли, правда, были наделы и по тридцати десятин, вместе-то с лесом. До Столыпина-то круговая порука действовала, ежели налог не заплатишь, дак вся община ответ несла. Я, помню, в солдаты пошел...

Федор Евгеньевич рассказывает про службу, про колхоз, про войну, а я слушаю, забыв об остывающем самоваре. По рассказу Федора Евгеньевича получается, что раньше жили, конечно, хуже, но мужиков было больше; что теперь жизнь пошла хорошая, только жить некому. В Чичирихе вон осталось два дома, а Помазиху вообще из списков похерили. В обеих деревнях — в Тимонихе и Вахрунихе — всего четырнадцать человек трудоспособных колхозников. Но мне никак не удается уловить отношение Федора Евгеньевича к процессу исчезновения деревень. Хорошо это или плохо с его точки зрения — неясно.

Когда-то бабы рожали младенцев прямо на полосе под суслоном, под стогом на лугу, если летом, а зимой либо на печке, либо в теплом хлеву.

Восемь часов — весь декретный отпуск. Еще не дав имени новорожденному, хватала хозяйка подойник или косу, бежала к скотине, или в гумно, или в поле. А вновь рожденный орал благим матом в сплетенной дедом (в запас на двоих) драночной люльке. Старуха свекровь пряла куделю, невозмутимо дергала одной ногой за веревочку, качая зыбку. Очеп — еловая жердь — со скрипом укачивал будущего мужика, бабка изредка совала в рот младенцу коровью титьку, натянутую на рожок, в который наливалось коровье же молоко. Если же корова оказывалась нестельная или же ее увели в счет податей, то «мужик» довольствовался просто жеваным хлебушком. Старуха, напряв простень, кидала в корзину, брала другое веретено. Куделя, спеленутая и приглаженная куколкой, быстро убывала, появлялась другая, потом третья, четвертая. «Мужик» за-

сыпал под сухой трескоток скручиваемых волокон. Старуха ногой качала люльку, одна рука ее дергала волокно, другая крутила веретено, а рот успевал плевать на нить да еще и петь.

Длинная песня, бесконечная, словно льняная нить. Когда все кудели были испрядены, бабка сматывала пряжу на мотовило, мотами, по количеству нитей. «Мужик» еще ничего не понимал в этих делах. Его отец, ушедший пешком в Питер, хрястал там топором, дед сидел за печкой и плел корзины да лапти, драл в лесу бересту на деготь, рубил полозья, вязы и стужни, крутил гончарный круг и вязал верши. Мать показывалась в избе только утром да вечером, когда обряжала скотину. «Мужик» спал, бабка махала мотовилом, считая пасма[1]. Потом она устанавливала на повети воробы — две двухметровые, положенные крест-накрест планки, которые крутились на подставке. С вороб она сматывала нить на тюрики. Потом в избу затаскивались кросна, и на помощь призывалась бабка-соседка. Из больших мотков они ловко сновали пряжу на деревянном валу кросен, коточигом продергивали нити в нитченку, потом хлебным ножом в берда. Старухи натягивали основу, подвязывали к нитченкам подножки. На берестяные цевки сматывали уток с тюрика. Цевка устанавливалась в челнок, и вскоре начиналось постоянное хлопанье бердами. «Мужик» быстро привыкал к этому хлопанью. За день, когда к весне дни становились дольше, старуха вытыкала стену холста длиною в семь саженей.

Летом старшие братья или сестры «мужика» белили холсты на лугу у речки. Они складывали холсты гармошкой, макали в воду и вновь расстилали на траве, сушили. Так весь день. К осени холсты становились белыми и мягкими. «Мужик» уже начинал ходить вдоль лавки, и бабка из холстины выкраивала ему длинную, ниже коленок, рубаху, шила, потом замачивала луковую кожуру в чугуне и красила. «Мужик» все еще качался в люльке, качался до тех пор, пока не рождался его младший брат. Вновь рожденный с боем занимал позицию в люльке, старший не уступал, не хотел уходить, и дед вырезывал ему большого деревянного коня, лепил и обжигал свистульку, надувал бараний пузырь.

В три года от роду «мужик» уже бегает босиком по снегу. В пять собирает и ест кислый щавель у речки, в шесть

[1] Пасмо — мера пряжи, равная тридцати чисменкам. Чисменка равнялась трем нитям на мотовиле.

подрезает березы, собирает и пьет сладкий березовый сок. В семь лет ходит за лошадью в поскотину, носит еду в поле, а годам к восьми у него появляются свои сапоги. Это окончательно закрепляет его равноправие с остальными людьми.

Первая драка, первое найденное в лесу гнездо, первые штаны, первое топорище, сделанное им самим, первая борозда, пройденная вместе с отцом. Первые сапоги, первая частушка, спетая под шумок на улице, трескучим, как у молодого петушонка, голосом.

У него нет четкой границы между детством и юностью, между юностью и возмужанием.

Какой-то бешеный воробей впервые трепыхнулся в груди, закипело что-то под желтой рубахой, и голова закружилась в сладкой истоме безрассудства. Когда чужие взрослые парни запели на игрище грозные песни, он вместе со всеми выбежал на улицу, тоже выломал из огорода батожишко...

А жизнь припасала ему новые разности. Где-то в другой деревне уже росла светлокосая девчоночка в сарафане, училась прясть, вышивать, плести кружева, доить корову, жать, петь, трепать лен. В кою-то пору он лихо обогнал ее верхом на лошади, потом в жару стащил у омута и спрятал в кустах сарафанишко. На каком-то празднике бросал в нее липучками с лопуха, а она повизгивала и ругала его лешим, хлесталась крапивой, пока не выросла и не стала стыдливой.

Все было упорядочено в сдобренном тысячелетними традициями быту. Бабы, идя с покоса, успевали набрать корзину маслят, по-здешнему обабков. Уезжая за сеном или дровами, мужик по пути ломал ветки для печного помела и прихватывал кряж на лучину. Идя летом на подсеку, бросал в озеро сеть и ставил силки, а возвращаясь, тащил домой тетерку и корзину рыбы. Коточиг — отшлифованная баранья кость — служил одновременно для плетения лаптей и для того, чтобы старухам искать в голове: горшок варил днем щи, а ночью парил репу, уже в перевернутом виде. Березовый кряж обувал семью, освещал избу лучиной, скрипел полозом, пел пастушьей дудкой, дарил деготь, хлестал в бане по поясницам, мел полы и воспитывал ребятишек. Еловый кряж ложился венцом в срубе, грел избу, давал хвою коровам. Чем больше хвои, тем теплей и мягче корове, тем больше к весне навоза, тем гуще рожь на мужицком поле. Одно цеплялось за другое, другое за третье.

Но стоило взять с мужика лишнюю копейку, лишнюю горсть жита, стоило уйти в солдаты кормильцу, как быстро хирело подворье, и вскоре шла в дело та же холщовая сума, и ни один пес не вспомнит про мужика...

Как только не переставляли с места на место, как не прилаживали их друг к другу, эти два простых и великих понятия: земля и человек! То продавали одного мужика без земли, то одну землю без мужика, то обоих вместе, то продавали эту землю самому мужику, то делили ее вместо него, то его к ней приписывали, то ее к нему.

Федор Евгеньевич ушел, а я хожу по пустому дому, история которого известна мне по рассказам матери.

— В старину я была никому не нужная,— говорит она.— Сидим, бывало, с теткой Параней, а гулять на улицу хочется, а надеть нечего. Ну, она, которое для смеху, которое для тепла, а которое чтобы от меня избавиться, обуёт мои ноги в большие рукавицы, завяжет. А на плечи казачок бабушкин. Донесет до Шадруньи, на зъезд посадит, ползи сама. На улице уж зима, снег, а годов-то было мне пять лет...

Мама рассказывает, что Михайло Коклюшкин — ее дед и свекор Ермошихин, вышел в Тимониху «в примы», то есть в хозяйство к невесте. Это он дорубливал этот дом. (Дед Михайло умер, когда мне было года четыре. Я помню, как он по-петушиному, задирая голову, пил чай и как ходил за водой с горшком в корзине.)

Михайло Коклюшкин был мужичонка набожный, сухой, работящий, с белесой бороденкой и цепкими суетливыми руками. По словам покойной Ермошихи, спал он совсем мало, всю жизнь пил один чай, водки не брал в рот. В его хозяйстве имелось две или три коровы, лошадь, соха, упряжь, гумно с овином, сеновня. По зимам, когда работы не так уж много, он вставал часа в три ночи, сердито, чтобы разбудить *лёжней,* двигал табуретками. Зажигал самодельный фонарь и шел во двор — тесать хвою для подстилки коровам. Он вешал фонарь на деревянный штырь, работал и пел псалмы.

— Волхвы же со звездою путешествуют!— доносился в избу его скрипучий голос.

У Михайлы Григорьевича было две дочери и сын Иван Михайлович.

Моя мать, оставшись круглою сиротою, жила в доме до замужества. Всю *одёжу,* принадлежащую покойной дочери, Михайло передал другой дочери, маминой тетке Пара-

сковье, которая уже ходила на беседы и игрища. (Бабку Параню я нередко навещал в Ярославле. Она умерла без мала в девяносто лет.) Парасковья, ядреная девка с толстой косой, однажды, собираясь на беседу, сложила в узел девичью одежку и сунула в темноту в сенях. На беседы ходили тогда с куфтырями для плетения кружев. Вышла из дверей с куфтырем, а из ворот с девичьим узлом, но в темноте никто не видел, что это не куфтырь. Суженый Федька, по прозвищу Варза, уже поджидал ее: они обговорили все заранее. Ушла замуж *самоходкой.* Михайло Григорьевич в тот вечер, после хождения к церкви, спал на печи, сначала спокойно. Старуха сидела на жаркой лежанке и нюхала табак, моя мать, тогда еще шестилетняя девочка, спала на полатях. Петух пропел во второй раз — нет Параньки.

— Матка, что долго Паранька-то? Матка?— Михайло Григорьевич полез с печи, разбудил сына Ивана.— Нету Параньки-то!

Но Ивану Михайловичу и самому надо было жениться: вряд ли он не знал о событии заранее. Михайло Григорьевич заметался, заплакала старуха. Параньки не было.

— Опозорила! Ушла!— бегал и сучил ногами Михайло Григорьевич.— К кому? К Федьке Варзе! Увел, прохвост! Для его, голодранца, я Параньку растил? Сейчас побегу, отниму! Опозорила!

И в самом деле, утром побежал отнимать. В деревне Алферовской он бегал у Федькиной избы и кричал жалобно:

— Паранька! Отворите! Пойдем, матушка, домой-то, пойдем! Кинь ты его!

Паранька из Федькиного дому не вышла, отцу не показалась. Михайло прибежал домой ни с чем. До самой пестрой недели старик тужил и не разговаривал, старуха сокрушалась тоже, один Иван был невозмутим и спокоен.

Масленица была самая веселая зимняя пора в наших местах. К этому времени обычно все мужики уже вывозили сено с лесных покосов и наполененные с весны дрова, девки перепрядали много скучной кудели. К этому времени телились коровы, и бабы вовсю пахтали и топили янтарное масло. В масленицу молодые парни, кто побогаче, выводили на снег застоявшихся лошадей, запрягали в корешковые сани, хвастались сбруей, катались по деревням и немилосердно ели блины. Перед масленицей на пестрой неделе и явилась домой Паранька с Федькой. Она еще от порога кинулась в ноги к отцу:

— Тятя, прости, ради Христа!

В избе поднялся бабий рев, дедко смягчился, прослезился и... благословил молодых. Наметили смотрины и день свадьбы, а вскоре и сын Иван привел самоходку — Анну Ермолаевну. Будущую Ермошиху. Обе свадьбы для экономии решили делать за один прием. Поскольку обе невесты были самоходками, никакого сговора не понадобилось. Паранька и Ермошиха остались до венчания у родных, началась длинная предсвадебная процедура.

Какое трескучее и сухое слово — процедура! Вот уж никак не вяжется с древним, полным поэзии обручальным обрядом, когда девки ходят в дом к невесте, шьют платы, гадают и поют:

Уж ты ларчик, мой ларчик,
Золотой ты мой ларчик.
Я не год тебя шила,
Не год золотила.
А пришла пора-время,
В один час издарила.
Свекру-то батюшке
Я с каточка порточки,
Свекрови-то матушке
Белую рубашку.

Накануне венчанья подруги устраивали слезное плаканье. Причитания и песни над закрытой платком невестой были до того поэтичны, жалостливы, что вскоре даже счастливая невеста начинала плакать в голос. Если невеста была твердокаменная и никак не могла разреветься, то натирала глаза разрезанной луковицей, потому что положено было реветь...

После плаканья невесте в последний раз топили девичью баню. Пока она мылась, подружки пели ей прямо в бане:

Унесите, ветры буйные,
Вы дымы кужлявые
В ту дольнюю сторонушку,
Ошуните[1] добра молодца...

Ушла жить к Федору Парасковья, женился Иван Коклюшкин. Моя мать была свидетельницей всех этих немудреных событий. Еще крохотной девочкой она топила печи, носила воду, обряжала коров, пряла, ткала холсты и мыла полы в доме Коклюшкиных. Дед Михайло не любил, когда кто-нибудь хоть минуту сидел без дела. Но в этом набож-

---

[1] Ошунуть — навеять угару, замутить.

ном, сухожильном старике часто звенела нежная струнка: придя из лесу, он всегда клал на стол то липкие обабки, то горбушку несъеденного хлеба, верещал:

— Анфиска! Беги вот! Гляди-ко, чего тебе *березка* послала. Да самовар-то поставь.

Он не любил пить чай из *мертвого* самовара, все надо было, чтоб самовар был крутой и шумел на столе. Уже когда он не мог ходить и лежал на печи, ожидая смерти, я помню, как он гладил меня по голове и рассказывал сказку про лису и тетерева, скреб сивую бороду, ругая местное начальство, кричал в пустую избу:

— Лёжни! Все лёжни! Вишь, поняли барскую жизнь, никто ничего не делает!

Совершенно другого пошиба был его сын Иван Михайлович, дядя моей матери. Приятель привез ему из Питера несколько брошюр и книг. Иван Михайлович читал, запершись в своем сеннике, никому не показывал. Это были сочинения Чернышевского, была также какая-то книга о Гарибальди. Других названий моя мать не запомнила. Иван Михайлович считался в деревне книгочеем и бога не признавал. Когда в доме появлялся поп с молебном, он уходил.

— Басурман!— кричал дедко Михайло.— Безбожник! Опозорил на всю волость, опозорил!

Иван Михайлович выписывал из города какие-то журналы, пытался ввести новый севооборот заместо трехпольного. Он первым вступил в ТОЗ, но вскоре начались колхозы. В колхоз он вступил, но тут же уехал на угольные разработки Шпицбергена. Приехал оттуда без ноги, собирался несколько раз в тюрьму и уже сушил сухари, налаживал черенки к лопатам Ермошихе, но судьба обошла его стороной, как сегодняшняя туча обошла нашу деревню. Он умер от желтухи в сорок четвертом, когда я учился в шестом классе, его смерть впервые до основания потрясла мою душу...

Я хожу по громадному дому: все рушится, гниет, лишь передок не поддается времени. Спускаюсь в темный подвал с ларями и сусеками, долго разглядываю немых свидетелей крестьянского прошлого. Однажды, когда мама жила еще в деревне, я написал ей, чтоб она не топила в печке старинную утварь. Она стаскала все в подвал, получилось вроде музея. Чего только тут нет! Косы, кадушки, грабли, решета, малёнки, ступа долбленая с пестом, корзины берестяные и драночные, кросна, воробы, берда, тюрики, прял-

ка и самопрялка, колода для рубки табаку, жернова ручные, столярный верстак, берестяные буртасы, квашня, клещи банные, заячьи капканы, старая шуба, корчаги глиняные, берестяные поплавки и глиняные кибасы для сетей, труба самоварная, ткацкие нитченки, челноки, коромысло, подойник, пивоваренные ковши, решетки, насадки, колотушки для обработки льна, серпы, резное трепало, сундуки пустые, гнутые осиновые короба, пчеловодные рамки, уда, икона, деревянный протез ноги, совки для зерна, скалка, ендова медная кованая, точеные балясины, светец, посуда деревянная и берестяная, лосиные рога, лопата пирожная, сверленое ружейное дуло и десятки других мелких вещей трудового и бытового происхождения. Все это когда-то служило человеку, было необходимо, все окутано горькой дымкой поэзии сельского труда и запредельного крестьянского быта.

Я выхожу из темноты, словно побывав в семнадцатом веке. Иду в поле, к речке на Чистый омут.

Вода в омуте и впрямь чиста, как младенческая слеза. Вокруг моих бедер вьются рыбешки. На песчаном дне виден каждый камушек, на широких зеленых листах кувшинок отдыхают водомеры, а кругом луга с дикой травой, а над лугами белые предвечерние облака.

II

Я возвращался в деревню берегом, вдоль нашей тихоструйной, под стать здешней жизни, речки. У моста меня обогнал бодро чихающий «Беларусь», машина с лесоучастка прогудела, накопытила облако пыли и укатила. Спускался вечер. Никого из соседей все еще не появлялось. Лишь ребятишки, народившиеся без меня, за пятнадцать последних лет, хозяйничали на улице. Вот орава Корзинкиных, вот сынок и крохотные девчушки моего сверстника Василия Агафонова, сына Федора Евгеньевича, а вот две дочки Василия Дворцова — бригадира. А эти, постарше, Людмилины.

Откуда такая жизненная сила, такая непобедимость? Когда разъезжалось по городам мое поколение, Тимониха затихла, казалось, навечно. Ни одного детского голоса не звенело несколько лет подряд. И вот опять разжилось[1], у одного Корзинкина семеро. Они загоняют овец и телят, бе-

[1] В настоящее время детей в деревне нет.

гают босиком. Сашка Агафонов кидается комками сухой земли, катает коляску с какой-то тяжелющей шестерней вместо колеса. Дворцовы девочки поймали курицу и потащили ее купать в лужу.

— Чего вы ее?

— Чтобы не парила.

— Простудите.

— Не!

Запели, пошли класть выкупанную курицу под пестерь на выдержку.

Но вот возвращается с работы Марья Щеглева, по-здешнему Машута. Она издалека увидела наш расколоченный дом, бежит, смеется, охает, здоровается. Появляются Мишка Кошелев, Василий Дворцов, его жена Мария. Все за руку здороваются с моей матерью и со мной.

Сели на канаву.

— Ну, Марья! — говорит Мишка Машуте. — Какая ты стала интеллигенция, больно уж юбка-то у тебя баская.

Разговор идет о том, что коровы худо на оводах пасутся, потом речь заходит о колхозных овцах.

— Да, волка-то не бывало больше?

Оказывается, позавчера с колхозными овцами случилось ЧП. Нина Самсонова—Мишкина жена (это они купили наш отцовский дом) с Августой Корзинкиной отпасли овец и хотели загнать в помещение. Но из конторы пришла директива: овец для их же собственного здоровья во дворе ночью не держать, а держать на свежем воздухе. Стадо оставили на улице, а ранним утром перед самым восходом у реки поднялась суматоха, разноголосое блеяние разбудило полдеревни. Волк, пришедший по лавам с Вахрунинского берега, натворил делов: несколько ярок лежали с распоротыми горлами, другие были тоже в крови. Зверина утащил на тот берег всего одну овечку, поел немного и отступился. Ушел в лес.

— Так он чего мало поел-то?

— Да без соли так и ты много не съешь.

— Нашли сторожа-то?

— Да за полтинник в месяц кто пойдет караулить?

— Оно верно, мало.

Мы с Дворцовым закуриваем, отгоняя комаров махорочным дымом. Солнышко зашло, белая ночь светила вокруг ровным спокойным светом. С реки тянуло прохладой и запахом влажных пойменных трав. Завтра, по словам

Дворцова, объявлен всеобщий воскресник, будет последний день косьбы на силос.

— Когда, Вася, зубы-то вставишь?— спрашиваю я.

— А надо бы, чудак, вставить-то, да все некогда. Да и негде, в Ленинград надо ехать. Вот к сестре поеду, так, может, и вставлю.

Почему-то многие думают, что белые ночи бывают лишь в Ленинграде. Помнится, когда я служил в солдатах в тех местах, мы провожали с дружками белые ночи. Еще и тогда я почему-то не знал, что наши вологодские белые ночи ничуть не хуже ленинградских. Так же трепещет вокруг бестеневая, словно призрачная кисея воздуха, так же легко читается набранная петитом книга. Только вместо шума петергофских фонтанов всю ночь слышится скрип дергача. Скрипит этот дергач и сейчас, где-то около речки за банями. В деревне пахнет коровьим потом и травяной росой, тишина стоит первозданная. В окошко с жалобным звоном залетел комаришко, я слушаю этот звон, и сон не идет ко мне, гляжу в тесаный потолок, на котором великое множество сучков. Народное поверье гласит, что нельзя разговаривать в той избе, где много сучков, они молчаливы, зато все глядят. Надо добавить еще, что сучки ни гнили не поддаются, ни времени.

Я не мог заснуть всю ночь. Заснул уже на восходе. Сквозь сон слышалось, как над окном переговаривались на все лады, беспечно свиристели и журчали касатки. Эти звуки были очень похожи на звук встряхиваемой копилки с монетами. Где-то под крышей урчали дикие, прижившиеся в деревне голуби, пел петух, выгоняли бабы коров, сдавали молоко. Надо было скорее проснуться, еще вчера я решил идти на воскресник, а проснуться я почему-то не мог, и меня разбудила мать, вскипятившая самовар. Часы шли, и было уже полдевятого, все уже уехали на тракторе в лес.

Чувство стыда, словно я не *гость,* а колхозник, не проходило, я кинулся догонять баб, догнать уже не мог, все давно уже косили траву.

И вот ищу тракторный след, чтобы по нему найти место косьбы. В кустах прогона стрекочут лесные сороки, несколько надоедливых чибисов, по-нашему пигалиц, поднялось из травы. Они с писклявым криком летают над головой. Стараются увести меня от гнезд. У начала поскотины лежит стадо единоличных коров, девочка-пастушка в резиновых сапогах сидит на горушке.

Она тонка, черновата, красивенькое обличье кроме

смущенья выражает уже и острое восхищенное любопытство к зеленому широкому миру. У нее как раз та пора, когда девочки живут еще в полной власти бездумного детства, но когда дальние подступы к девичеству стремительно, с каждым часом приближаются к ним.

— Ты чья?— спрашиваю я.

— Анны Фадеевой,— смущенно отвечает она.

— Давно трактор проехал?

— Давно-о-о!

Анну Фадееву я хорошо знаю, но неужели у ней такая большая дочка?

В поскотине душно от жаркой распаренной листвы и травы, влага и зной давят со всех сторон. Пронзительно пахнет корнями и папоротником, парной воздух кишит комарами.

Жарко, оводно. Тут как-то даже не верится, что где-то есть фонтан перед кинотеатром «Россия», прохладные эскалаторы метро и голубые секторы московского бассейна. Не верится, что где-то работают реакторы и ускорители, выруливают на взлетные площадки красавцы самолеты, звучат оркестры ресторанных эстрад...

На горушке, сплошь заросшей никому не нужными здесь ландышами, я увидел барабанку. Конечно, это она, пастушья барабанка,— тонкая сосновая доска, подвешенная на колышки. Рядом, в траве, лежат и барабанные палочки. Сколько раз, глядя на изгибающихся эстрадных ударников, я вспоминал свою барабанку. В черных пиджаках, с контрастными бабочками на крахмальных сорочках, они вдохновенно лупили по барабанной коже. Пьяные отроки читали стихи, жевали сигареты, и девицы в дыму щурили накрашенные глаза. А мне чудилась родная поскотина... Доська Плетнев, вечно голодный мой одногодок и пастух, самоучкой осваивал чувство ритма, выбивая многоколенную дробь на такой доске, и на него из кустов уважительно глядели фиолетовые коровьи глаза. Коровы тяжело, побабьи, вздыхали в поскотине. Где он сейчас, Доська, в каких палестинах, слышит ли он, как я словно из нашего детства колочу ему в барабанку? Гулкие ясные звуки рассыпались широко по лесу, я бросил колотушку в траву.

Потом долго искал косарей. Тракторист Веня Хватков, засевший с трактором и санями в болоте, указал мне дорогу. (Я помню, как умирал от фронтовых ран Венькин отец Иван Хватков.) Венька стоял у вздрагивающего колесника, ждал, когда его вытащит ДТ-54, и, обороняясь от

комаров, жевал травинку. Спокойно, скупо, без всяких эмоций, рассказывал о своем младшем братишке Калистрате:

— Худое у него дело.

Я уже знал, что Калистрата искорежил колхозный бык. Парнишка работал помощником пастуха, а бык ходил в стаде. Говорят, что бык был не здешний, а привозной, стал старым и теперь взбесился, только рявкает и кидается, особенно на мужиков. Калистрат пас коров, а бык набросился на него, проколол рогом ногу и сломал позвоночник, мальчишку беспамятного увезли в район.

Я оставил Хваткова со своими раздумьями и вышел к покосу. Здесь, на стожьях, сегодня собралась вся бригада, пришли люди из всех одиннадцати деревень. Большая поляна была скошена, некоторые женщины уже складывали траву в копны. Косили тут пичименские бабы, вахрунянки и наша тимонихинская Людмила.

— Ой, ой, батюшко, надолго ли приехал-то?

— Один али с жонкой?

— Подойди, к нам-то подойди!

Я шел как сквозь строй, бабы остановили косьбу.

— Да Кийку-то, старую-то девку, не узнал?— кричала Евдокия, попросту Кийка, она шла через всю пустовину здороваться.— Все еще жива, старая-то девка, все жива.

Кийка Самсонова хаживала на беседы еще с моим отцом, плясала на игрищах и под мою игру, пережила последующих гармонистов, и все в девках. Живет одна-одинешенька много лет подряд, работает всю жизнь, и ничего ей теперь уже не надо, так на корню и засохла...

Она постарела, но хохочет все так же и говорит громко, словно боясь, что ее не услышат.

На следующей поляне работают косцы соседней деревни Лобанихи. Около бревен старой сеновни бригадир Василий Владимирович Смирнов и помощник бригадира Саша Меркушев сколачивают из колышков шагалку для обмера стожьев. Лицо Смирнова в багровых шрамах и пиликах (он горел в танке), весело дымит цигаркой. Меркушев поюношески курнос и кажется ровесником своему сыну Ваське, трактористу, серьезному и немногословному парню.

— Тянет, значит, на родину-то?— спрашивает Меркушев.

— Тянет...

— А что без жонки-то, хоть бы привез показал,— продолжает он.

— Еще отобьешь, пожалуй,— отшучиваюсь я.— Покосить-то дадите?

Силосуют полуназемным способом, распечатали прошлогодний невывезенный силос и на него валят теперешнюю траву. Я спрашиваю, не испортился ли прошлогодний силос. Оказывается, ничего с ним не случилось. Может, того лучше будет, если пролежит еще год.

— Бабы!— кричит Саша Меркушев.— Дайте-ка парню косу-то! Пусть покосит, не все ему *статьи* писать.

Людмила Щеглева подала мне свою косу, а сама взяла грабли, я с волнением и боязнью встал в прокос. Вообще-то я кашивал, но это было в детстве, прошло больше полутора десятков лет. Не опростоволоситься бы. Я помнил только старый завет всем неумелым косарям: жми на пяту, носок должен быть на весу. Начал косить, вроде неплохо получается. Только больно мала коса, женская, я хоть и не велик вырос, но все равно приходится чуть сгибаться. А кланяться при косьбе самое последнее дело.

Впереди меня размеренно машет косой Аркадий Александрович Щеглев. Он в белой, выпущенной поверх штанов рубахе, в блинчатой, по-мальчишески несолидной кепчонке. Ноги обуты в сапоги местного производства. Косит Аркадий Александрович артистически. В его экономных движениях каждый мускул делает только то, что надо, ни больше ни меньше, меня поражает ритм и целесообразность этих движений. Прокос у него не очень широк, но стерня остается ровная, не то что у меня. Я гляжу, как Щеглев понемногу уходит, и мою косу лихорадит, по нескольку раз тюкаю по одному месту, тороплюсь, чтоб догнать. А он, не торопясь, уже прошел прокос и начал новый, позади. Слышно, как приближается характерное шарканье.

— Да нет, ничего! У тебя, парень, добро выходит,— подбадривает он.

Какое там ничего! Меня спасает от позора только то, что здесь негде развернуться, прокосы коротенькие, то и дело приходится окашивать кусты.

Комаров и мух — невпроворот.

— А вот эта скотинка покрупнее!— говорит Щеглев, когда я прищелкнул на ляжке сразу дюжину оводов. Щеглев делит этих кровососов на первый, второй и третий сорт.

— Первый сорт до Петрова дня, второй до Казанской, ну а третий — это самые мелкие слепни, в последнюю очередь родятся.

Он сует лопатку в карман и снова легко, непринужденно машет косой. Между тем я тоже настроился, вошел в ритм. Трава здесь в лесу была не густа, косилась легко, и теперь мне казалось, что я косил не хуже других. Гляжу на свою косу — и вот не верю глазам: кошу землянику. Ягодка, а то и не одна, словно красная слезинка родной земли, видна после каждого взмаха. Я скошу эти ягоды, их засилосуют, а под весну, когда мартовские метели навьют у скотных дворов полукружья суметов, пахучий силос привезут по снегу коровам. Я думаю: неужели цивилизация противоречит поэзии? Все меньше и меньше звенят по полям косы, молодежь не любит ручного труда. Аркадий Александрович не вечен, еще несколько сенокосов, и он уже не выйдет с косой на луг. Его сыновья далеки от этого луга: старший Шурка работает на железной дороге, средний Борис — киномехаником на лесоучастке, младший тоже вряд ли останется жить в деревне. А может, не стоит жалеть всего этого? Не стоит жалеть зоревых сенокосных криков, миллиона извечных, полных прелести примет, деталей, связанных с ручным трудом, последнего снопа, первого стога? Железному ДТ не страшны укусы оводов, он не лягается и не бьет копытами. Его не надо купать в омуте после работы, не надо кормить тяжелым от росы клевером...

Солнце перевалило за самую высокую свою точку. Коса моя притупилась, то и дело приходится наставлять. Бабы тоже косят и косят. Они не могут никак остановиться, ни одна из них первой не осмеливается заикнуться о перерыве. Да и работается хорошо, наложно, как у нас говорят, копны на полянах растут одна за другой. Нигде, наверное, так не сказывается сила инерции, как в труде, особенно в труде ритмичном, когда людям кажется кощунством прервать этот ритм. Осмеливается это сделать один Аркадий Александрович:

— А что, бабы, чай-то не пора кипятить?

Он идет к сеновне, где крутятся собачонки, горит костер и сложены узелки с едой. Набирает из молочной фляги бадью воды и весит ее на жерди над костром. Через полчаса кричит, зовет пить чай:

— Бабы! Самовар скипел!

Но бабы косят и косят. Ему приходится ругнуться разок, что он и делает.

И вот все размещаются около бадьи с кипятком, заваренным листьями смородины. Дуют, черпают, достают харчи: кто яичко, кто молока бутылку, кто просто горбушку

сельповского хлеба. Сначала, пока не выпили бадью кипятку, разговор идет обрывистый, главным образом насчет комаров и оводов.

— Меня дак вроде бы всю искусали, кушают и кушают.

— Правда аль нет, бабы, что их ольха родит?

— Да как, знамо, ольха.

— Ой, сотона, под кофту залез!

— Как ошалели, ей-бо, как ошалели.

— Жучат и жучат!

Подошли проненские бабы, косившие на другой поляне.

— Больно проняна-ти толсты, ежели размокнут, так и не просушить. У меня дак вон и портчонки не держатся.

— Сами-то больно добры, всю воду выдули!

— А что, в суд подаси?

— Как это вас не разорвало-то?

— Хоть бы капелька.

— Ой, бабы,— вступилась за пронян Кийка Самсонова.— Дайте им водицы-то, я в чужих людях бывала...

Но водицу всю выпили, фляга пуста. Как раз подошли бригадиры, их дружно облаяли собачки, а бабы в хохот:

— Пошто это, бабы, собаки-то начальства не любят?

— Цыц, шмакадявка!— Саша Меркушев сел на дерновину.— Пойдем, Санька, тут колодчек есть, воды навешаем.

Пошли за водой. Вскоре Меркушев вернулся с бадьей воды.

— Где Санька-то?— спрашивают бабы.

— А поотлежится, дак и придет...

— Ой лешой, — хохочут бабы, — ужо тебя жонка-то!

— А у меня это дело по графику.

Разговор с воды переходит на хлеб, потом на расценки, потом на то, почему вся молодяжка из колхоза уезжает. Я спрашиваю бригадира насчет рабочей силы в бригаде. Он с веселой решимостью отчаявшегося человека машет рукой:

— Ничего, брат, не стало. Все налицо, сам гляди, одне старухи. Раньше в этих одиннадцати деревнях как в Китае народу-то было. Теперь — шабаш. Некому стало работать.

— Лет через десять ведь и эти устареют.

— Через десять? Через пяток! Уж не знаю, что тогда запоем.

Между тем бабы перекладывают последние новости. Вот речь идет по поводу Серафимы — женщины из нашей деревни, которая ушла в декрет в самый разгар сенокоса.

— Уж не могли подладить-то. Останутся без сена теперича.

— Да как подладишь?

Аркадий Щеглев загибает пальцы, серьезно высчитывает, когда произошло событие, из-за которого останется Симка без сена.

— Ну, правильно,— говорит он.— Ноябрь самый урожайный месяц для этого дела.

Я интересуюсь, почему ноябрь.

— А как же!— Аркадий перечисляет причины.— Первое дело — страда кончилась, второе дело — пища хорошая, на огородах все поспело, и мясо есть. Третье дело — ночи долгие, темные. Полежать, что ли, чтобы крошки-то улеглись?

Но он тут же садится:

— Анна!

— Чево?

— Это пошто у тебя брюхо-то экое неровное, будто поела на один бок?

Бойкая Анна не остается в долгу:

— Теперь уж, Аркадей, у меня *баушки* нет, разгладить-то некому. (Имеется в виду вдовье положение.)

— Дак ты бы хоть старичка какого нашла.

— Да и старички-то нонь не валяются.

— А вот Сугрева с Дружинина, вишь как свою марку держит.

История с восьмидесятилетней старухой, по прозвищу Сугревушка,— самая последняя новость. Суть была в том, что семидесятипятилетний старик из другой бригады Паша Исаков твердо решил жениться. Долго приглядывался, кого бы из вдов осчастливить, и остановился на Фелицате — женщине одинокой и не очень старой. Фелицата перебралась к нему, пожила, да что-то ей не задалось, ушла. Тогда Паша, не растерявшись, поехал свататься в другой конец колхоза, в Дружинино, высватал эту самую Сугреву. (Сугрева получает небольшую пенсию за погибшего на войне сына. Она было уехала к другому сыну Кольке, в Иваново, но Колька умер от какой-то болезни, и старуха вернулась обратно в деревню.) Соседи отговаривали Сугреву: куда ты пойдешь, ведь уже не молоденькая. А Паша Исаков настаивал и говорил, что «ничего, я ей буду не полную нагрузку давать». Увез-таки Сугреву к себе. Тогда Фелицатино сердце взыграло от женского самолюбия, и она пришла опять к нему, а посему Сугреве дана была отстав-

ка, поскольку Фелицата все-таки помоложе. Через некоторое время вся история повторилась, и сейчас Сугрева опять живет в Дружинине. И на праздниках поет сочиненные ею самой частушки:

Пускай говорят —
Наши бабы сучки,
А я хоть ночку поспала
У Пашеньки на ручке.

За всем этим чуялось что-то непостижимо грустное, непонятное. А что? Ведь в общем-то Сугревушка далеко еще не выжила из ума, как и Паша Исаков. И, словно заражаясь этими мыслями, бабы тотчас же, присмирев, переходят к другой теме разговора, теме сюжетно связанной с рассказанной историей. Дело было так, что у Сугревы завязалась дружба с другой одинокой женщиной — Евфальей, которая пасла недавно коров. Сугрева позвала ее в гости. Евфалья оставила с коровами своего мальчишку, тот не упас животных, и корова Парфения Лукичева назобалась калийного удобрения. Ветеринар велел караулить корову с ножом у горла, чтобы вовремя прирезать и спасти мясо, а Парфений же понадеялся на то, что животина выздоровеет. Корова сдохла, мясо пришлось зарыть, а у Парфения семья одиннадцать человек, все мал мала меньше и сам он инвалид, пришел с фронта с укороченной ногой.

И вот теперь бабы жалеют его, как он будет жить с такой оравой и без коровы? Конечно, колхоз его не оставит, корову председатель даст из колхозного стада, но за нее надо платить деньги. А какие же у Парфения особые деньги?

— Ну, бабы, вроде бы уж и хватит сидеть, надо бы и работнуть!— сказал Аркадий Александрович.

Все потянулись опять к граблям и косам, я тоже. Обед кончился, зазвенели косы, наставляемые лопатками. Заурчал Венькин трактор, костер потух.

Однако долго косить не пришлось. В шуме леса и в гуле оводов вдруг появился и исчез какой-то тревожный звук: то ли сквозной вихрь метнулся в листве, то ли крикнула какая-то птица. Где-то, сначала как бы сонливо, проворчал гром, потом загремело взаправду. И хотя солнце светило по-прежнему, небо с востока быстро темнело. Дождь уже много недель обходил стороной наши места, бабы не верили ему и сегодня. Продолжали работу даже тогда, когда упали первые некрупные капли. Туча накатилась неожиданно, ливень обрушился с неба.

Я забился с пичишными бабами под высокую ель, которая выросла бок о бок с толстой березой. Соперничая друг с другом в борьбе за жизнь, два вековых дерева создали могучую шапку веток, даже свет не проникал сквозь нее. Надо же было родиться так близко друг к другу! Корни деревьев, по-видимому навек сплетенные в земле, переходили в два мощных ствола, основания которых почти срослись. Береза, уступая прямолинейному упрямству ели, чуть выгнулась, отдала пространство своей колючей наперснице. По всему видно, навсегда утратила она самостоятельность, примирилась, и все земные соки достались еловым корням, а солнце и воздух — колючей хвое.

Гроза разрасталась, везде гремело и сверкало. Женщины сидели, прижавшись друг к другу. Ливень хлестал уже минут сорок, то чуть затихая, то вновь усиливаясь. Вскоре все мы промокли, стук дождя напитал водой древесную шевелюру. Бабы хоть и боялись грома, но радовались дождю: теперь и картошка пойдет в рост, и яровое. Но сидеть в лесу до ниточки промокшим да еще на дождевом ветру вскоре прискучило, кто-то намекнул о доме, кто-то поддержал:

— Да сколько время-то?

Времени было еще мало, всего четыре часа, а выехали в восемь утра. «Нешто и поработали»,— заметила одна из женщин. На других полянах сидели и тоже мокли лобановские бабы, бычьяна, проняна и дружининцы. И никто первый не осмеливался бежать домой. Все, конечно, знали, что заработали за день всего ничего, что работать больше не придется из-за грозы, но никто первым не осмеливался встать и пойти домой.

И как всегда в таких случаях, хватило самого маленького повода для того, чтобы всем вдруг стало ясно, что сидеть дальше бессмысленно, гроза наладилась взаправдашняя. Какая-то бабенка вся мокрая выскочила на поляну, то ли косу искала, то ли еще что. И вдруг все убедили себя, что эта бычьяна домой пошли.

— Бабы, ведь бычьяна-то пошли!

— Пошли!

— Ей-богу, пошли, а мы-то чего сидим?

— Бригадиры-то где?

— К лешому скажем, пойдем, да и все.

— На мне дак нету сухого места.

Дождь хлестал изо всех сил, гром трещал прямо над головами. Бабы побежали домой. Одна за другой, след в след,

босиком. Я тоже втерся в эту колонну. Технику и бригадиров оставили, знай нарезаем по мокрому холодному лесу. А гроза как будто догоняла нас и ерепенилась еще больше.

— Ой, лешой, ведь грабли-то не мои!

— Чего было в лес народ гонить, к нам бы на Росстань!

— И близко, и трава гуще!

— Я дак и платок потеряла!

— Дроля юбку потеряла, я штанов найти не мог,— добавил кто-то.

— А дальше как?— оглянулся я.

— А дальше не скажу, дальше с картинкой.

— Я же ночь не усну, думать буду.

Женщина, не допевшая частушку, в серой пальтушке, в сапожонках, оглянулась:

— Ой, ой, Василей, и узнать никак не могу!

Что-то знакомое было в ее голосе, я долго вспоминал, кто это. Ах, боже мой, да ведь это же Паранька Соколова! Та самая, которой я играл когда-то на гармошке, а она плясала на гулянках. Какая она тогда была ладная, миловидная, а теперь словно старушка, даже ноги вроде бы покривились, маленькая, с обострившимся носом. Надо же было времени, заботам, семье, вечной работе так переиначить ее!..

Вокруг с еще большей яростью бесновалась шальная, ничем не управляемая таежная гроза. Гром трещал, шарахался одновременно с зеленым огнем разрядов. Он, не зная куда кинуться, метался в разные стороны. Не успевал отгреметь один заход, как взрывался другой, и этот двойной, а то и тройной грохот был страшен. Зигзаги молний не угасали вокруг.

Мы уже выбежали из поскотины в прогон, как вдруг хряснуло не по-здешнему. Метрах в пятнадцати впереди нас в пригорок впилась молния. Одновременно раздался не грохот, а оглушительный треск. Запахло кремневыми искрами. Это было страшно по-настоящему, я на ходу зажал глаза ладонью. Дышать было тоже нечем, так густо лилась вода. Бабы, оглушенные, присели на корточки.

— Андели господни, спаси-сохрани!

Другие не могли даже говорить — так и сидели на земле, ошарашенные, беззащитные, кинули косы и боялись брать. Взяли дрожащими руками, обмотали передниками и платками. Было и жутко и смешно видеть, как им хотелось рассыпаться, разбежаться (говорят, что в куче опаснее), а они не могут рассыпаться и тянутся снова в кучу.

Одна отбегает, другая к ней ближе, третья не знает, что делать...

Но гроза была и в самом деле жуткая. Я тоже весь дрожал от возбуждения и холода. Ринулся домой через поле. Как раз в это время над Лобанихой повторился такой же взрыв, какой случился в прогоне. Уже позднее мне рассказали, что доярка Александра Комлева, набивавшая на повети матрас, упала, почернела. В избу ее затащили почти неживую, начали откачивать. Откачали. Она долго не могла говорить, в придачу отнялась рука.

Я же в этот вечер прибежал домой, сменил бельишко и еле отогрелся крепким чаем. Гроза громыхала всю ночь, а утром сквозь сон я слышал, как ругался Дворцов, второй помощник бригадира. Александра Комлева не приходила на дойку вчера и сегодня. Корозы чуть не остались недоеными. Замену доярке Дворцов нашел с великим трудом, оттого, видимо, и ругался.

III

Утром горит яркое и спокойное солнце. Все затоплено солнечным половодьем, даже в тени воздух кажется золотистым. Кругом свежо, тихо, ласково. Будто и не было вчерашнего содома, когда ветер чуть не срывал крыши, всесильные, взрывались молнии и вся земля дрожала от грома.

Я вздумал побродить по деревне. Собственно, деревни-то нету, семь жилых домов — не деревня. Какие грозы спалили смоленые срубы древних домов, гумен, бань, сеновалов, амбаров, мельниц?

Вот первый дом, на самом краю, дом Степана Тихонова. Помню, в Москве, когда лопнуло терпение, когда нахлынули тоска и счастье от того, что есть где-то Тимониха, я сложил чемодан. Все. Еду на родину. Но на Софийской набережной неожиданно и случайно предложили слетать в Краснодар на пленум Союза писателей. Критик Гринберг заболел накануне, и я полетел на солнечную Кубань под чужим именем. Самолет с ноющим гулом преодолевал время. Кубань... Благословенный край земледельцев, зеленый, сытый, солнечный. Краснодар млел под блеском южного неба. Вздохи теплых ветров гасили и словно сдерживали восторженный гул города, а в Доме офицеров три дня звучали речи писателей, слетевшихся отовсюду. Никогда не думал, что у нас так много писателей. Они говорили о

судьбах русской деревни, восхищались, негодовали, спорили. Одни выставляли за панацею от всех бед комплексные звенья. Другие химизацию, третьи еще что-то. А мне все время думалось о Степане Тихонове, который жил где-то в этих краях. Это единственный мужик из Тимонихи, который, покинув родину, остался хлебопашцем, всех остальных взяла в свои объятия промышленность.

И вот я стою у дома Степана Тихонова, в Тимонихе. Я не смог повидать его на Кубани, надо было слушать ораторов. Теперь я мысленно разговариваю с ним на нашей родине, у его дома. Уехав на Кубань со всей своей обширной семьей, Степан писал моей матери о своей жизни, хвалился заработком, подробно перечислял семейные доходы. Наши бабы читали письмо вслух, восхищенно ойкали. Они и сейчас искренне думают, что Тимониха одна на белом свете, что везде, кроме нас, живут по Степанову.

Степан писал о богатстве и довольстве. Но какая-то струна неудовлетворения, чуть слышной тоски по родине назойливым комаром звенела за его строками.

Помню, как он работал в колхозе во время войны техником-осеминатором, ходил с палкой, еле переставляя ноги, опухшие от голода. Семья — семь или восемь человек — долго держала в узде его решительность. Но он все же решился. Снялся с гнезда и всех увез в Краснодарский край. В доме оставалась одна Лидка — старшая дочь. Жила она тогда в зимней избе, что давно отломана и пущена через трубу в звездное небо. Помню лишь, как много было в этой избе тараканов, как однажды Лидка, спавшая на печке, была искусана голодной стаей этих тварей. С лицом, красным от кровавых тараканьих укусов, она прибежала утром к соседям и все смеялась вместе со всеми. Смеялась оттого, что затворила с вечеру квашонку на овсяной с коглиной муке, а замешать утром было нечем. Взяла из тушилки древесные угли, истолкла их пестом в ступе и этой угольной мукой замешала квашонку.

Это было во время войны. Теперь в доме живет Марья Щеглева с сыном Валеркой, та самая, которую позавчера Мишка назвал интеллигенцией за красивую юбку. В доме светло и пустынно, стены оклеены обоями, играет радио, полы крашены. И никого нет. Выходить из дому, никого не повидав, как-то неудобно, и я сидел один, пока не пришла Марья.

— А где мой-то?— спрашивает она про Валерку, который работает шофером на грузовике.

Отца у Валерки убило в первые же дни войны, ребята выросли сиротами. Старший Шурка служит на сверхсрочной на Севере, средний работает в Череповце, и лишь младший Валерка остался после армии дома.

У Марьи есть уже и внучка от старшего сына, а сама она все еще здоровая, красная, как у нас говорят, и большая любительница чудить.

— Не ездила в Череповец-то?— спрашиваю.

— Да как не издила. Издила. До Харовской-то доехала, сошла с машины-то, чую — гармонья, столь добро играет. Взяла да как пошла дробить на всем-то морозе. Все и повара из буфета высыпали.

— Сплясала?

— Да еще как и сплясала-то! Больно уж добро пареньто играл. Хлопнула рукавицами, ноги так сами и пошли. Пляшу да пою: «Как по этой-то тальяночке, по этой по игре, всю бы ночку проплясала, не наскучило бы мне». Мужики-то спрашивают, чья экая баба-то? А я говорю, тимонихинская...

Она ушла на кухню ставить самовар. Пока я разглядывал фотографии на стенах, пришел Валерка. Не зная, что делать, походил, взял гармонь, поиграл и остановился:

— Баню, что ли, затопить?

У него совершенно бесхитростное выражение лица. В ясных глазах светится какое-то еще детское недоумение и давнишняя серьезность. Я помню его еще трехлетним, в войну, когда он сидел на взъезде отцовского дома, худой, большеглазый, и у него тогда было точно такое же выражение глаз — выражение грустной серьезности и недоумения.

По-видимому, это выражение грустного недоумения осталось в Валерковых глазах от самой войны, хотя сейчас он ходит по дому по-юношески весело, игриво подсмеивается над матерью, которая замочила сегодня сено. И в его движениях — мужская независимость. Спрашиваю его, за что получил армейские похвальные листы, в изобилии висящие на стенах, потом про фотоснимок, где Валерка сидит в халате, около больничной койки.

— Болел, что ли?

— Да не-е-е!— машет он рукой. С большим трудом удалось мне выведать, что, будучи солдатом, Валерка служил на Севере, что грамоты и листы выданы за безупречную службу. Однажды, уже в конце службы, чтобы спасти упавшего в котел совхозной водогрейки ребенка, Валерка от-

дал врачам пятьдесят квадратных сантиметров собственной кожи. Грамота и десять суток отпуска последовали за этим, он съездил домой, походил с гармошкой по родным деревням, но во всей округе было полторы девчонки, да и те временно живущие... Валерка уехал дослуживать с тем намерением, чтобы не возвращаться после армии на родину, но во время демобилизации солдатские документы из части послали в Харовский райвоенкомат, то есть по месту призыва. И ему поневоле пришлось ехать к матери в деревню. В Харовске ему предлагали идти служить в милицию (поработал бы с полгода и получил паспорт), но он отказался. Остался в колхозе, выучился на шофера и теперь ездит на грузовике. Я спрашиваю у Марьи, когда она Валерку женить будет. Марья оживляется:

— Уж ежели жениться, так надо баскую брать,— говорит она и немного погодя добавляет: — Кабы девки-то были, а то и нет ни одной. Походил в Межурки за восемь километров, не пондравилось, отстал. Ладно на машине, дак можно и подальше ездить.

— Куда это?— спрашиваю.

— Да не сказывает!— возмущается Марья.— Опять, может, рябая какая-нибудь.

Валерка невозмутимо глядит на улицу, на дальний лес. Очнувшись, вновь предлагает мне на паях затопить баню. Но дождь помешал нам.

Я долго разглядываю дом Виталия Васильевича Корзинкина, тот, что напротив. Там жил когда-то брат Степана Тихонова — Александр. Александр Тихонов со всей своей тоже большой семьей в середине тридцатых годов уехал куда-то в город. Зимняя изба у дома, по-нашему зимовка, тоже отломана. Виталий Корзинкин купил и утеплил летнюю и живет в ней.

В детстве мы прозвали Витаху профессором Мамлоком (пусть не обижается Виталий Васильевич за то, что воскрешаю детские прозвища). Как сейчас вижу их бывшую избу, пустую и холодную, в которой «профессор Мамлок», подобно Денису из Помазихи, все время что-нибудь мастерил. Какие-то старые механизмы ходиков он переделывал в модель трактора, детскую карету на деревянных колесах оборудовал ножными педалями, придумывал какие-то ветряки и хитроумные удочки.

В этой же избе мы собирались играть в карты. Брат Витахи Шурка, теперешний бригадир Дворцов, я, Василий Агафонов, братья Плетневы и множество других — все мы

частенько околачивались у Корзинкиных. Загадочная деятельность «профессора» влекла нас сюда, нам не было дела до того, чем кормились в этой избе. Последнее обстоятельство, как думается мне теперь, делало похожими на нас, ребятишек, многих взрослых людей. Не буду называть фамилию одного бывшего активиста, человека теперь старого, от которого в те времена зависело все. Александра — мать «профессора Мамлока» — работала тогда ночным сторожем на ферме. Коровы в хозяйстве не было. Чтобы прокормить детей, она, видимо, изредка, ночью, доила колхозных коров и тайком приносила домой молоко. Однажды, подоив в темноте корову, она уже собралась выбраться из коровника, приговаривая: «Пронеси, господи, пронеси, господи!»

— Нет, не пронесу!— услышала она голос откуда-то сверху. Человек, приравнявший себя к богу, поспешно спустился с потолка коровника. Но Александра, если б даже и помышляла о бегстве, все равно не смогла бы от страха сдвинуться с места. Кто из них был ночным сторожем? Оказывается, сторожей надо было сторожить тоже, сторожить и тех, кто сторожил сторожей,— такое странное было время.

Теперь Александра стала совсем старенькой. В первый же день нашего приезда старуха, чтобы не упасть, быстро перебирая ногами, пришла к нам. Тайком, из-под грязного передника, достала два куриных яичка...

— Возьми, возьми, Васенька, возьми.

Я не знал, что делать. Чтобы не обидеть, взял, а она с гордым довольством человека, сделавшего хорошее дело, села на лавку. От нее пахло уже землей и тем, о чем говорить обычно не положено. Голос был слабый. На вопрос, хлебает ли она молоко, она отвечает, что хлебает, что хлеб она сама покупает и чай-сахар у нее тоже свой, непрошеный.

Чуть ли не каждый год жена Виталия Васильевича, Густя, родит ребенка. Старшую дочь уже отправила в Архангельск в няньки, все остальные бегают пока по Тимонихе.

Рядом с домом Александра Тихонова был какой-то дом, который я не помню, а чуть подальше стоял дом Максимёнка. Иван Максимёнок по фамилии Чистяков уехал с сыновьями в Пермь, году в тридцать седьмом. Я помню, как, уезжая, плакала его жена Анна, прощаясь с деревней. Она поцеловала меня в щеку (мне было лет пять), после

поцелуя я вытер щеку рукавом и тем разрядил тоскливую слезную атмосферу...

На месте Максимёнкова дома валяется сейчас с десяток догнивающих бревен.

Напротив было два дома: один, я не помню чей, другой — Хрисанфея Федотова, того самого, что валялся в ногах урядника. Митька Крысин, потомок Хрисанфея, был одно время председателем колхоза, потом уехал в город на производство.

Рядом с Максимёнком по посаду жил Акиндин Суденков, от дома не осталось и следа. Дальше, чуть выдавшись в поле, стоял дом Алеши Енина — брата нынешнего Федора Евгеньевича. Алеша умер в эту войну от голода, дом раскатили на дрова. Я помню только, еще до войны, хромой Алеша, в буденовке, в засаленном ватном пиджаке, приходил к нам слушать отца, вслух читавшего по вечерам книги. Когда отец доходил до того места, где гоголевский черт, обжигаясь, перекидывал с лапы на лапу горячий месяц, Алеша беззвучно трясся от смеха, и слезы текли у него из глаз. Еще помню, как летом мы, ребятишки, не подозревая собственной жестокости, кидали в Алешу камнями и как, уже зимой, бабы нашли его мертвым.

Далее стояла изба Фатинцев, фамилия Плетневы. Вера Плетнева — мать моего дружка Доськи — умерла тоже от голода в эту последнюю войну. Избу истопили.

За домом Коклюшкина стояла избушка Агапейки — веселой бабенки, которая тоже уехала куда-то, а избушку раскатили. Про Агапейку помню только, что она очень любила играть в шашки и что бабы подсмеивались над ней: изба у нее была так мала, что кадушка с рыжиками стояла в нужнике.

Павлушков дом — давно разломан. Из земли и до сих пор, словно гнилые корни стариковских зубов, торчат остатки столбов, на которых стоял обширный сруб.

Дом Орловых купил Дворцов. Орловы уехали.

Матвиенков дом — ничего нет на этом месте.

Енашина изба — никто не живет.

Дальше были еще дома, я их уже не помню. Теперь там только камни да высокая, в пояс, мокрая от дождя трава.

IV

Дом по левую руку от нашего тоже пуст. Окошки, правда, не заколочены, но никто в нем не живет, петух не поет

по утрам и под вечер не скрипят ворота, впуская корову...

Его рубил родной брат прадеда по отцу — Савелий Иванович Петров.

Потешный мужик, он все делал «наопаково», как у нас говорят, то есть наоборот, нарочно, смешно. Когда моя мать была маленькая, ее заставляли выдирать обильную крапиву, росшую вокруг дома. Савелий Иванович, идя мимо, останавливался, шевелил бородкой:

— Анфиска!

— Что, дедушко?

— А вот что я тебе скажу. Возьми да полей крапиву-то постным маслом, она и не будет расти. Чем дергать-то... Я те говорю.

И уходил, серьезный, не дрогнув ни одной жилкой апостольского лица.

Уже будучи стариком, Савелий Иванович приходил на игрище, садился в передний угол, долго молча слушал, как поют девки, как играет гармонь и пляшут холостяки. Потом, уходя, раскланивался со всеми и уже у дверей оборачивался:

— Девки, что у вас спросить хочу...

— Что, Савелий Иванович?

— Да так, может, сейчас и неудобно, может, потом.

— А что, дедушко, спрашивай.— Все затихали, ждали, гармонь прикрывалась.

— А вот что. Как вы узнаете, когда вам по малой нужде надо-тко? Ежели по часам, дак не выходит.

— Лешой, лешой, сотона!— плевались девки, а Савелий Иванович уходил, провожаемый ребячьим хохотом.

Жену у него звали Гурихой, по вечерам они на пару нюхали табак, у каждого была своя табакерка. Во время ужина Савелий Иванович на глазах у Гурихи доест из посудины кашу, дочиста выскребет ложкой и с самым серьезным видом сует пустую посудину Гурихе:

— На-ко, матка, дохлебай.

Садясь у окна нюхать табак, заставлял парнишку-нахлебника прочищать заросший волосами, забитый табаком нос.

— Ну, Мишка, давай! У тебя пальчики тоненькие.

Дело шло. Мишка чистит, старик нюхает.

В колхоз он долго не вступал, а когда вступил, то сдал все, кроме любимой резной дуги и выездной упряжки. Эту дугу и упряжь он прятал на чердаке. Сына его Степана Савельевича убило на фронте в первую империалистиче-

скую. Гуриха умерла, а он жил долго и до самой смерти смешил людей своими бухтинами.

Афанасия Петрова — его невестка — маленькая, сухая, подвижная старуха. Почти всю жизнь она прожила в этом доме. Вся она крохотная, уместится в горстку, но сколько она сделала на веку... Уж так привыкла с малолетства — все чего-нибудь надо делать, а работа всю жизнь была тяжелая, мужская. В прошлое лето вместе с другой старухой, из Вахрунихи, Иларьей, накосили и поставили дюжину ядреных стогов.

Лишь пройдет сенокос — подоспеет лен, Афанасья бежит в лен. Работа для Афанасьи, как, впрочем, для многих наших женщин,— это один из способов не заболеть и не умереть. Афанасья сидит как на шильях, если кто-то что-то делает, куда-то пошел, а она дома. Кидается к вешалке, надевает передник и тоже бежит, почти бегом.

И так лет шестьдесят, не меньше. Она никогда ничем не болела, хотя стоны и жалобы на ломоту, на тоску в пояснице либо в суставах все время так и сыплются. Все ее маленькое жилистое тело так привыкло к постоянному, никогда не прекращающемуся труду, что, вероятно, дай ей пенсию, отпусти на отдых, она тут же бы умерла, бездействие сгубило бы ее тотчас же.

Другим стержнем ее неистощимой жизнеспособности, как это ни странно, стала корова. Корова заполнила всю Афанасьину жизнь. Корова Малька не только поит и кормит Афанасью. Малька для Афанасьи как бы первый главный член семьи, идол, с Малькой разговаривают, ее любят, как единственного в семье ребенка. Малька избалованное, но ласковое существо. Было время, когда молоко некуда было сдавать, и всю простоквашу, а то и блюдо неснятого Малькиного молока Афанасья выливала в колоду самой же Мальке. Та с удовольствием поедала собственную продукцию. Теперь же, когда молоко собирают и от своих коров, когда закупочная цена стала выше, Малька дает Афанасье все: сахар, хлеб, моральную независимость, масло, ситчик.

Дочь Афанасьи, Густя, работала на почте, теперь в сельпо, которое от Тимонихи в семи километрах. Густя не хочет в Тимониху: во-первых, надо доработать стаж для пенсии, во-вторых, в центре колхоза повеселее, народу побольше. И вот Густя настояла на том, чтобы Афанасья переехала к ней. Как решилась Афанасья продать дом — сказать трудно. Со слезами, со стонами и охами приехала к дочери,

первые дни все глядела в свою сторону и плакала. Выручала от тоски по Тимонихе опять же Малька, которая, кстати, тоже жалела Тимониху. Надо было перегнать корову на новое место зимой, пока она не ходила еще со своими тимонихинскими товарками. Но ее перегнали весной, и Малька не могла привыкнуть, убегала с пастбища, металась. Афанасье приходилось ходить с ней на выгон. Вот как она рассказывает про корову:

— Ежели сижу под кустиком, так и Малька траву ест. Иной раз спрятаюсь за кустом. Малька прибежит, поглядит, тут ли я, и спокойно ходит. Только домой уйду, и она за мной...

Дом Афанасья за пятьсот рублей продала другой старухе — тоже Афанасье. Афанасья Озеркова живет одна в соседней деревне, а в Тимонихе у нее племянница Марья — жена бригадира Дворцова. Хотя у Афанасьи Озерковой и свой дом еще крепкий, как колокол, но в Тимонихе хоть есть к кому прислониться, помогут и картошку выкопать, и воды принести.

Мама спрашивает у нее, как она съездила в Москву. Дело в том, что у Афанасьи Озерковой есть неродной сын, военный, закончивший чуть ли не академию. Вот как рассказывает она про эту поездку: «Поехала я, матушки, в Москву-то в гости к сыну, а по пути со мной племенник. На поезд стали садиться, мне чужие девки подсобили, а чемоданы-то у племенника, он не успел сесть-то, хотел на ходу, а поезд-то шибче пошел, упал племенник-то. Уехала я без чемодана и без попутчика. Ой, провались все на свете! Сижу да ревлю, что племенника, может, убило, да и сама как теперь одна-то. Доехала до Москвы, куда народ идет — туда и я иду. Села на вокзале, потом к милиционеру: «Как вот, батюшко, мне по такому адресу?» Он мне говорит: «Почему телеграмму сыну не подала? Иди, говорит, вон автобусы». Подошла к тому месту, автобус-то поехал. Ну, думаю, как поезд, до завтрева теперь не придет, куда денусь? Перешла на другую сторону, спросила. А вон, говорят, автобус твой, садись, говорят, москвичка. Доехала я до какой-то улицы, опять спрашиваю. Дяденька говорит мне: «Не знаю»,— а у меня так по сердцу и резнуло, ну, думаю, видно, надо мной подшутили, не туда направили. Верчусь, кручусь, не знаю, чего и делать. Идет женщина, на лицо хорошая, думаю, уж спрошу еще, язык, однако, не отвалится сказать. «Как, говорю, мне по такому адресу?» — «Иди, говорит, вон по мосткам, а там спросишь». Спросила еще

раз. «А! Это вы к Озеркову? Вот и дом, иди на второй этаж, он там живет». Нет, думаю, заберусь на третий, вроде надежнее. Оглядываюсь, притихла наверху-то. Человек один идет, и его спросила, где, говорю, Озеркова комната? Показал. Стучусь. Открыли. Семейников никого не знаю, да и сына не видала четырнадцать годов. Он лежит на кровати, газету читает, ну, думаю, опять не туда забрела, да уж ладно, спрошу. Он как взглянул да бросился ко мне, мама, мама. Ой, батюшко, я ведь и чемодан-то, говорю, потеряла да и племенника, может, уж нету в живых. Попили чаю, посидели, вдруг племенник-то с чемоданом заходит, жив-невредим. На другом поезде приехал».

— Вот как я настрадалась-то,— заканчивает Афанасья,— спаси бог в эту Москву ездить.

Марья Дворцова, племянница Афанасьи, тоже рассказывает, как ездила к братьям в Москву, как однажды застряла в сундуке, то есть в лифте.

— Экие-то старые, а все еще и губы намазаны,— смеется она, рассказывая про москвичек.

— Ведь не все старые...

— Знамо, не все, только уж занятно-то больно..

Марьины братья уехали из деревни после пожара, когда сгорела изба. Уехал сначала один, кончил школу ФЗО, а уже к нему уехал второй. Саша (старший) выучился на столяра и работал в Кремле, работает там и сейчас, и Марья почти ежегодно ездит в Москву.

Марья — доярка. Каждый день она встает в три часа ночи и ложится в одиннадцать, успевая еще и покосить, и сделать домашние дела. Зато и заработок у нее от сорока до шестидесяти рублей в месяц.

Как раз сейчас у Дворцова ведомость на получение денег, я взглянул в список. Самый большой заработок у доярок — до шестидесяти рублей, самый маленький у полеводов — до двенадцати рублей. Есть и такие, что получают в месяц по полтора-два рубля. Спрашиваю у Дворцова, в чем дело. Он показывает мне расценки. Оказывается, чтобы заработать один рубль, надо, например, срубить сто пятьдесят жердей. Но даже самый дородный мужик за день столько жердей, да еще еловых, не срубит.

Между прочим, Федор Евгеньевич Агафонов, этот дряхлый старик, дерет ивовое корье для сельпо, на котором можно заработать три-четыре рубля в день. Вот и сейчас Федор Евгеньевич идет из лесу, идет тихо, для устойчивости в обеих руках по батогу. Василий Михайлович Баров, вы-

лезший из избы на солнышко, увидел Агафонова и говорит:

— Это кто там на лыжах-то в сенокос? Вроде Федя Агафонов.

Сам Баров тоже не лучше Феди, тоже ходит с двумя палками. Медленно, с трудом перешагивая через коровью лепешку, он добродушно ругает корову за невоспитанность: мол, навалила на самую дорогу, а ты перешагивай.

— Надолго ли приехал-то?— спрашивает он меня.— Ежели насовсем, так давай, у нас должностей много.

— Я бы не прочь и насовсем,— говорю я,— да вот жена не поедет в деревню.

— И бабу тебе найдем, только приезжай.— И вдруг поднимает крючковатый палец:— Ты меня пошто в книжке пропечатал? Я на тебя в суд подам. Меня, бывало, только в колхоз вступление сделали, Финоша пропечатал. Вёшное пашем в поле. Кто три загона вспахал, а я два. Каждую кочку вытрясу, каменья из борозды откидываю. Ты, Финоша мне говорит, ты, Баров, симулянт, работаешь худо. Взял да и пропечатал в стенгазете. А осенью я говорю, вот, товарищи-командеры. Я у вас симулянт, а на моих загонах хлеб вырос, а на других одна трава.

Свою старуху, Анну Агафоновну, Баров называет министрой и вообще очень любит поговорить насчет мировой политики.

— Я каждый день радиво слушаю, много в мировой наличности грозы скопилось.

Пока мы рассуждали, Федор Евгеньевич дошел до деревни. Баров рассказывает про то, в какое положение попал старик Агафонов.

— Ежели двойников Симка родит, дак ведь это уголовное дело!

Дело же в том, что тракторист Василий Агафонов, сын Федора, единственный добытчик в семье, попал в больницу. Ездил на станцию, и его зацепило там поездом, переломало тазовые кости. Все лето не работает, лежит в больнице. И Серафиму, его жену, тоже недавно увезли в больницу родить. Четверо малолетков остались на руках у двух дряхлых стариков, у Федора и Надежды. Если родится у Серафимы один — то будет семь со стариками, а если два сразу, то будет уже восемь, и это, по весьма справедливому мнению Барова, уже «уголовное дело».

Мы сидим с Василием Михайловичем у крыльца его (самого большого в Тимонихе) дома. Фаузя — рыбак из

Вахрунихи — называет этот дом не иначе как рейхстагом. Дом и в самом деле велик: большой пятистенок с подвалами и воротами, пристроенный к нему двор с сенниками и хлевами и двухэтажная, тоже пристроенная изба. Все это крыто старинным дороженым тесом, обросло зеленым мхом и все стоит, не косится, многие десятилетия.

Баров, предок Василия Михайловича, как я уже говорил, выкупился у барина первым (не потому ли и фамилия пошла Баровы?). У него имелось несколько дочерей, старых дев, семья была сверхбережливая и работящая. До того бережливая, что не ели молочного, говорили, что не любят, хотя в подвалах стояли кадушки с маслом.

Опять же к одной из дочерей был взят примак из другой деревни, из Купаихи. Михаил — будущий отец Василия Михайловича — был мастером по строительству мельниц. Купаиха вообще славилась такими мастерами, почти у каждого мужика имелась ветрянка. Михайло и привез в Тимониху идею строить мельницу. Говорят, что Голландия — страна ветряных мельниц. Глядя в музеях на пейзажи фландрийских мастеров, я часто ловил себя на чувстве скуки и обвинял себя в невежестве и непонимании искусства. Особенно нелепыми казались мне коричневые и ядовито-зеленые тона этих пейзажей, где топорщатся какие-то раскоряченные сучья деревьев и маячат жалкие шатровые мельничушки. Может быть, это недоверие к прославленным живописцам шло у меня от мощных детских впечатлений, связанных совсем с другими деревьями и другими мельницами.

Родные мельницы теперь вымерли. Но и до сих пор на Вологодчине нет-нет да и увидишь это чудо плотницкого искусства. Представьте себе большую квадратную избу с одним крохотным окошком, с шестью восьмиметровыми крыльями на толстом валу, с двумя длинными бревнами, идущими из углов и соединенными внизу в виде римской цифры пять. Восемь спаренных бревен, каждое в полтора обхвата, вкопанные наклонно в землю, подпирали главный толстенный и длиннющий столб, вокруг которого пирамидой рубилось основание. Если эту избу мысленно надеть на столб, то и получится вологодская ветрянка.

Миша Баров в союзе с двумя компаньонами и начал рубить такую мельницу. За первый год «компаньоны» нашли в тайге, вывезли и вкопали в землю этот столб высотой в трехэтажный дом, успели еще установить боковые спаренные столбы-подпорки.

По этому случаю Акиндин Суденков сочинил стихи, что-то насчет «вавилонских столпов». Баров обиделся на поэта.

— Я в ту пору молод был,— рассказывает Василий Михайлович,— говорю тятьке, мол, надо этого Суденкова проучить, чтобы больше не сочинял. Когда уж мельницу опробовали, всю Тимониху обмололи, привез и Суденков свое жито. Я ему говорю, что ежели вавилонские столпы, дак и вавилонь на Дружинино со своим житом. Там тебе и смелют, на водяной мельнице...

После того как столп установили, мужики начали рубить в лесу саму мельницу. Весь остов, крылья, вал, крыша были срублены и заготовлены прямо в лесу. Деревянные шестерни и большое, метра два с половиной в диаметре, зубчатое колесо, ковш для зерна, ступы и песты для устройства толчеи, а также множество других деталей были изготовлены уже в деревне. Вся мельница была деревянная. Лишь ось главной шестерни, на которую насаживали жернов, была металлическая, скованная в местной же кузнице, да гвозди. Остальное все из дерева, на клиньях, распорах. Мужики не спали целыми неделями, не давали и бабам. Когда все было готово: амбар собран на столпе, подняты жернова, обшиты тонким тесом широкие крылья,— Миша заставил баб крутить вал за крылья с земли, сам слушал, выстукивал, выверял, настраивал механизм. Когда при помощи воротов и рычагов развернули мельницу крыльями на ветер и когда ветер зашумел в лопастях, скопилась глядеть вся Тимониха. Шумели жернова, тяжко и утробно бухали в деревянном нутре тяжелые песты, где-то что-то надсадно повизгивало. Могучие крылья, казалось, не вращались, а шли, проплывали по небу, один за одним, несчетные и неустанные. Вся округа преобразилась, мельница была стройна и красива, она много лет придавала Тимонихе ощущение движения.

Миша Баров разделился с сыном: начались колхозы. Василий Михайлович, вспоминая это время, рассказывает:

— Идет, значит, председатель мне навстречу и говорит: «Подожди, Барович, мы еще покажем твоему старику». Я говорю: «Чево покажете-то?» Так сердце и екнуло. «А вот,— говорит,— покажем, в колхоз его не примем». Мой тятька пришел на собрание, шапчонку снял, коленки трясутся. «Есть,— говорят,— Баров, такое мненье, не принимать тебя в колхоз». Тятька заплакал: «Грех,— говорит,— вам, робята, меня, старика, губить. Ради Христа,— гово-

рит,— примите в колхоз, что я вам худого сделал?» Ну, посовещались, выходят: «Ладно, Баров, принимаем тебя в колхоз».

Я не совсем понимаю, почему старику Барову пришлось проситься в колхоз Христом-богом, и спрашиваю об этом Василия Михайловича. Оказывается, все было просто: того, кто не вступал в колхоз, объявляли кулаком или верхушкой, раскулачивали и высылали. Таким манером сверхушили Николая Ивановича Потехина, вахрунинского мужика. Но прежде чем рассказать об этом, Василий Михайлович рассказывает, как строили дом и как этот Николай Иванович учился притесывать оконные косяки:

— Распределили, значит, каждому по одному окну. И ему дали окошко. «Научите,— говорит,— робята, косяки прирубать».— «Иди,— говорят мужики,— за нами, делай, что мы делаем».— «Иду». Дошли до вершника. А ему вздумалось их обогнать, поскорей вершник сделать. Окоротил, все дело испортил. Мужики и давай его подсотанивать. Он слушал, слушал, да взял свою голову за ухо и давай ею о косяк стукать. Стукает да приговаривает: «На, дура, не сварила, дак на тебе, дура пустая!»

Дом Потехину сделали, но жить ему в нем долго не привелось, его обверхушили и в дому учинили контору колхоза. Николай Иванович обиделся, поехал в Москву к Михаилу Ивановичу Калинину. Неделю жил в Москве, ждал своей очереди. Михаил Иванович принял его и предупредил, что на весь разговор отпущено не больше пятнадцати минут. Николай Иванович как мог объяснил всесоюзному старосте свое горе и уехал. В деревню вскоре пришла бумага, предлагающая гражданина Потехина во всех правах восстановить и имущество вернуть. Но Потехин насладился победой, а жить дома все же не стал, бросил все и уехал.

Василий Михайлович гладит свою льняную бородку, глядит на меня своими бело-синими глазами и спрашивает насчет пенсии по инвалидности. Я говорю, что надо документы посмотреть, какие есть, и мы идем в избу. Пока старик роется в шкафу, я оглядываю серые, оклеенные газетами стены, смотрю на портреты двух его сыновей: Николая и Христофора. Я хорошо помню, как семилетним мальчишкой ходил к Баровым смотреть молодых. Николай только что вернулся с действительной. Бравый, серьезный, он сидел на широкой лавке рядом с только что привезенной невестой Ликахой Ухановой. Он то играл на гармони, то

обнимал свою белолицую Ликаху, а мы, ребятишки, восхищенно глядели на них от дверей. Помню, у них собирались гости, бабы вслух, откровенно, хвалили молодых, невеста с платочком в руке рдела и опускала глаза. После этого прошло совсем немного дней. В июне Николай вместе с другими ребятами и мужиками ушел из Тимонихи, и та же гармонь играла на проводах, а в сентябре жена Ликаха и мать Анна Агафоновна уже голосили по нем и катались по полу этой избы.

Наш — соседний с Баровым дом. В сентябре, только в другом сентябре, моя мать тоже получила бумажку из сельсовета, потом по очереди отголосили и другие дома. В обе деревни, в Вахруниху и Тимониху, не вернулось с войны ни одного мужика...

Василий Михайлович наконец достал сверток, завернутый в районную газету и перевязанный тряпицей. Развязывая документишки, говорит:

— Меня Вильгельм ранил в Карпатских горах, да еще и газом душил. Кольку Гитлер ухлопал, а под Хрестю кто подбирается?

Хрестя — это второй сын Василия Михайловича. Он служит в Новосибирске в звании майора. Остальные дети Барова — все дочери, все повыходили замуж и живут по городам. Впрочем, есть у Барова уже и замужние внучки, а нынче — уже в который раз — приедет в гости в деревню даже правнучка.

На белолицей Ликахе женился вернувшийся с войны и ушедший от неверной жены дядя убитого Николая — брат Анны Агафоновны. Ликаха за дочь, оставшуюся после Николая, получала какую-то пенсию. Когда дочь выросла, пенсию перевели на старика Барова. Пенсия невелика, и теперь Василий Михайлович ездит в район и в Вологду хлопотать о восстановлении пенсии по инвалидности.

— Уж я ходил, ходил по всем кабинетам, а двери все одинаковые. Один раз за рукав вывели, опять не к той мадаме попал. Зато в Вологде хоть пива попил. Две бутылки за день решил.

Пример Потехина, ездившего к Калинину, не дает старику покоя, и он второй год собирается съездить в Москву.

— Не я буду, ежели не съезжу!

Я стараюсь отговорить его от этой поездки, растолковываю, что если есть все документы, то дело решат и в Вологде. Василий Михайлович бережно разворачивает сверток. В нем оказались зачитанная брошюра закона о пен-

сиях, несколько ответов из райсобеса, свежая справка медицинской комиссии, свидетельство об увольнении из царской армии вчистую и документ о выданных рядовому такому-то такого-то полка двух пар шерстяных портянок, папахи и прочее.

— Он, сотона, с левого фланга как начал нас молотить, да еще газом нас ошунуло. А вшей было до того людно, что хуже предательства. Я этому суке, Вильгельму, вперед ногами понесут — и то не забуду.

Как-то так выходит, что о драке с Вильгельмом Баров рассказывает так же, с теми же интонациями, что и о своих деревенских драках. Словно не было в этих драках никакой разницы.

— Только я выпил рюмку, гармонью взял, а он на меня быком. В успенье дело было, ночь темная, народу в избе напихано как дров. Я говорю, гляди, Никонор, лучше со мной не связывайся.

Рассказ Барова прерывает Мишка Кошелев, который издали здоровается:

— Баров, здорово!

— Михайлу батьковичу, господину пекарю,— отвечает Василий Михайлович.

Мишка подрядился в сельпо печь хлеб на время декретного отпуска пекарихи. Уже много недель хлеб с Мишкиной лопаты выходил тяжелый, глинистый, и Баров не без юмора называет Мишку «господином пекарем». Разговоров в деревнях о Мишкином хлебе не меньше, чем о замужестве старухи Сугревушки. Мужики шутливо обещают отколотить Мишку за брак в работе. «По темечку бы буханкой, по темечку его»,— ругали Мишку и бабы.

Сегодня у Мишки свободный день, он что-то плотничает и привел из Дружинина помощника — Федора Соколова.

— Друга я тебе привел,— говорит Мишка Барову.— Иди поближе-то.

— Да я к Феде, хоть каменья с неба,— в любое время.

Пока Баров идет двадцать метров, я успеваю сходить домой и покурить с Федором Соколовым.

— Забыл ведь твое отчество-то,— честно признаюсь я.

— Павлович был с первого дня. Вот вишь, парень простой, спросил, да и все. А другой идет — и рыло в сторону.

Федор Павлович морщит щетинистое горбоносое лицо, щурит глаз, по уровню прилаживая подоконник:

— Сикни-ко, Мишка, в какую сторону побежит!

Сдерживая смех, я иду домой, беру в подвале старинный плотницкий уровень:

— На вот, этот вернее. Все равно зря валяется.

— Ну, парень, спасибо ежели.

— Спасибовать нечего, бери. У меня еще один есть. А помнишь, как ведра у Дворцовых гнул, самовары паял?

— Как не помнить. Ты тогда без порток бегал али в портках?

— В портках.

— Вот ты парень толковой. Скажи, что там большие-то мужики маленьким припасли? Будет аль нет война, мне это важнее всего. Мы тут вроде темных телят, ничего не знаем. Ну, выпьем иной раз по мерзавчику, вроде она, душа-то, и поотмякнет, вроде все и ладно. А я вон с войны пришел весь как решето. Теперича хоть дырочки и заросли, а настроеньё все равно дыроватоё. Оне у меня эти капарули-то льну-то никак не дерьгают,— он показал мне кривые руки.— Ну, топором еще тюкают, а бригадир говорит, иди в лен. Я и сам знаю, что работать в колхозе некому, осталось две с половиной бабы...

Федор Павлович рассказывает, как недавно было у него «настроеньё» вовсе худое — болел зуб. «Такой был зловредный зуб, что гонял по деревне из конца в конец». И не знал Федор, что делать. До первой медицинской девчушки больше десяти верст, до районной больницы шестьдесят, а зуб, будь он трижды проклят, не унимался. Пошел Федор к сыну Мишке, у которого были сапожные клещи, хотел своими же руками выдрать. Мишка предложил отцу собственные услуги и выдрал зуб сапожными клещами. «Теперь,— говорит Федор Павлович,— теперь я как молоденький стал, все подряд жую. Настроеньё сразу вверх качнулось».

V

Дома я еще долго сижу у окна. Вечер или ночь течет по травам? Все время отбивают косы. И когда прерывается это успокаивающее ритмическое постукивание, возникает безотчетное чувство неловкости. Оно похоже на то чувство, что испытываешь, когда в давно обжитой комнате останавливается тиканье будильника.

Ночью за Вахрунихой пашут пары, потому что ночью мотор не перегревается. Веня Хватков на колеснике, с ведром на глушителе, катит по Тимонихе, и грохот машины, отраженный в постройках, двоится и заполняет все вокруг.

Над Вахрунихой, розовые от неясной сизой поволоки, застыли облачные клубы. Рядом на горе присмирели сосны, издали ночью виден каждый сучок.

Хорошо тут, воздух хоть ножом режь, как масло. Он густ, но не тяжел в своей целебной щедрости. С ним даже не тянет на курево. Я ложусь на шуршащий соломой матрас, гляжу на гирлянду веников, подвешенную мамой на лосиные рога, вделанные в стену. Недоуменно и словно украдкой касается ветхой крыши наша старая береза. Ночь плывет над крышей без грома и страхов. Пробормочет что-то спящая под карнизом касатка, гуркнет голубь, и опять еле слышно коснется тесин ветка березы. Сознание обволакивается сладким, как в детстве, покоем родины и материнского очага. Словно и не было неуютных дорог юности, ни слез, ни горького дыма...

Засыпая, я чувствую, что вот сейчас, в эту минуту, увижу, заставлю его прийти, тот сон, первый сон детства. Я должен наконец снова его увидеть, этот легкий, радостный, неуловимый и необъяснимый сон счастья. Что это было? Тогда, давно? Полет на руках над зеленой теплой травой... Река с горячими камнями... Или было всесветное золотое солнце, или дрожащее марево, и стога в золотой пыли, и полевые цветы над речкой. Тогда мир шумел и раздвигался в моих глазах, я сам был этим светлым и ласковым миром, и все люди были как мать, они не делились на врагов и друзей.

Но этот сон не пришел.

Утром вновь было солнечно, тепло, радостно. После самовара я полез на крышу, чтобы прибить несколько сорванных ветром тесин, и чуть не выронил из рук топор.

Кругом вздыхало жаркое, отрешенное от всего лето. Белые облака, не двигаясь по отношению друг к другу, широко и степенно шли на Вахруниху. Леса, так явственно видневшиеся вчера вечером, были ярки, но неясны, расплывчаты в солнечном блеске. Они, наверно, шумели от ровного ветра. Остро и сине блестела невидимая обычным днем середина лесного озера. В дальних клеверах посапывал трактор и стучала косилка. Бабы в лугах белели платками и сарафанами, тень от облака бежала по травам. Рыжий петух, потерявший куриц, по-хулигански выскочил на дорогу, остановился, долго пел и оглядывался. Голос чистый, без единой трещинки. Еще кукарекнул, побежал, но куры не отзывались. Визжали и брызгались в реке ребятишки. Саш-

ка Агафонов с провизгом орет что-то, не вылезает из воды. Бабка гонит его из реки:

— Вылезай!

— Не вылезу!

— Вылезай, лукавый прохвост, сейчас крапивы нарву!

Сашка брызжет в бабку водой, хватает штанишки и убегает, а белая его попка мелькает в травах. Бабка Надежда тщетно кричит вслед:

— Воротись!

— Не воротюсь!

— Вот приди только домой, прохвост пустоглазый!

Убежал Сашка.

Я приколачиваю тяжелые дорожёные тесины, спускаюсь через пожарный люк на чердак, затем на сарай. Втыкаю в скобу коромысло и направляюсь к Раисе. Все у меня идет по плану... Сегодня к Раисе, завтра визит на лесное озеро, послезавтра — в контору колхоза.

Однако, прежде чем увидеть бабку, мне пришлось зайти к Николаю Андреевичу Федотову, дом которого стоит рядом с домом Агафоновых.

Пока он ходит за луком в огород, я оглядываю оклеенные газетой стены, и вдруг... Я чувствую, как наливаются жаром мои уши: на потолке приклеена газета с моим рассказом. Как раз у самой матицы. Впрочем, я тут же успокаиваюсь и даже слегка злорадствую: рассказ весьма маститого писателя тоже заполнил немалую часть простенка. По крайней мере, соседство со знаменитостью, а не с какой-нибудь там мелкой сошкой...

Когда возвращается Николай Андреевич, спрашиваю, выписывает ли он сейчас эту газету. Оказывается, эту нынче не выписывает, выписывает другую. Мишка Кошелев — тимонихинский новоженя — внес новизну в выписку газет — выписал «Красную звезду». По примеру Мишки все в Тимонихе тоже выписали «Красную звезду», в том числе и Николай Андреевич.

Я спрашиваю его, ловится ли рыба на лесном озере, как здоровье и где у него сыновья и хозяйка Людмила.

Оказалось, что Людмила на покосе, она у него лучшая работница в бригаде. Младшего сына Сашку (ему десять лет) бригадир уговорил поокучивать картошку, старший, Иван, здоровый, молчаливый парень (недавно ему купили гармонь), ушел в сельсовет за справкой, хочет уехать куда-нибудь учиться. Дочь же Николая Андреевича отправ-

лена в няньки, в Котлас, и теперь, когда ей исполнилось шестнадцать, уже получила там паспорт.

— Не надо бы отпускать в чужие люди,— говорит Николай Андреевич про сына.

— Что ж, если ему учиться хочется.

— Работать надо, а не учиться.

Николай Андреевич рассказывает, как он учился.

— Без отца оравой остались. Худо, голодно. Двенадцати годов пошел с артелью в Питер, ладно, мужики пожалели, взяли плотничать.

Пожалуй, во всем колхозе нет лучше плотника, чем Николай Андреевич Федотов. Какое-то целомудренное, даже священное отношение к дереву, к тому, что он строит, выработалось в Федотове за те годы, пока ходил он с топором по градам и весям российского Северо-Запада. И теперь на родине, на много километров вокруг, стоят срубы, бани, крылечки Николая Андреевича.

Уходя от него, я взглянул на недостроенный, белеющий хлев у его дома. Срубленный в обло, он стоял как игрушечка, концы бревен были словно притерты друг к дружке, между ними не просунешь иголку...

Достроит ли Николай Андреевич этот хлев?

У меня в голове все время сказывается какая-то смутная мысль о взаимосвязи труда и народного искусства. А не одно ли это понятие: труд и народное искусство? Во всяком случае, раньше в крестьянском быту не было четкой грани между трудом и искусством. Пастух, играя на рожке, не думал о том, что это искусство, просто было приятно пасти коров с рожком, а не без рожка. Мастерство кружевницы или ткачихи было крепко связано с долгим трудом, и тяжесть этого труда не замечалась, она скрашивалась затейливостью узора или яркостью наподольницы. Плотники после тяжелой окатки сруба баловали себя затейливым коньком крыши, узорным наличником, успевая плести не менее затейливую словесную вязь. Ослепшие или ослабевшие старики нанимались в плотницкие и рыболовецкие артели «сказывать сказки и бывальщинки». Зря не хотелось есть хлеб, сочиняли на ходу.

Раньше у меня вызывали улыбку ретивые охотники за старыми иконами. Но однажды я случайно наткнулся на старую почерневшую икону. Ничего нельзя было разобрать на ней, лишь узор резьбы, изображавший нимб. Я поставил икону так, чтобы свет падал на нее косвенно, а не прямо. И вдруг на меня глянули большие, неодинаковые, печально-

умные глаза Спаса — икона ожила. В бородатом лике чуялось что-то непостижимо близкое, но непонятное, что-то свое, земное, но одухотворенное какой-то тайной. Я поставил икону опять под прямой свет и был поражен новым открытием. Под слоем краски рельефно и выразительно обозначались узко поставленные глаза другого лица. Они находились как раз на усах того, более позднего изображения. Нос пришелся на подбородок, маленький обросший рот обозначился совсем внизу, и таким странным казался большой выпуклый лоб. Два лица на одной иконе. Помню, в Москве, я подарил икону Василию Шукшину. Он долго глядел на икону, пораженный печальной тайной человеческих глаз, изображенных более поздним художником. Но тайна тех замалеванных глаз была еще глубже. Теперь искать старые иконы в наших деревнях тщетно. Великое искусство безвестных живописцев погибло, гибнут и его жалкие остатки, вывозимые сотнями энтузиастов и прощелыг, путешествующих по области.

Во время войны, мальчишкой, я видел, как бабы кололи иконы на дрова, растопляли ими колхозную водогрейку. Другие соскабливали изображение и приспосабливали доски для хозяйственных нужд. Жечь иконы считалось грехом, продавать тоже, да и покупателей на этот товар не находилось. Поэтому весной, когда талые воды подходили к самым баням, бабы опускали иконы в реку: «Пусть несет по белому свету». Совсем недавно Афанасья Петрова, наша соседка, отправила по вешней воде полдюжины старых икон.

Насколько мне известно, Раиса Капитоновна Пудова — последний по-настоящему религиозный человек в наших краях.

Живет она в Вахрунихе, как раз в доме, купленном у Николая Ивановича Потехина, ездившего когда-то к Калинину за правдой. Самого старика Пудова в живых нету давно. Раиса Капитоновна жила вдовой еще до войны. У Пудова была приговорка: «Дело выходится». «Дело выходится, все плутни на белом свете»,— говаривал он. Мужик был бедноватый и во времена продразверстки вздумал как-то обжулить зоркие власти, привез сдавать льносемя с красиком[1], не очень очищенное. (Но стоит бросить горсть такого льносемени на холстину, как оно легко стекает с

---

[1] Красик — сорняк, спутник льна, семена его на глаз трудно отличить от семян льна.

нее, а семена красика цепляются.) Пудова позорно разоблачили, а поэт Акиндин Суденков тут же сочинил стихи. Сохранилось всего две строчки из пространного описания пудовского подвоха:

Не шути над старичком,
Прими семя с красичком,—

убеждает Пудов приемщика. Такие же неудачи постигли Пудова и с картошкой. Он спрятал картошку на чердаке около трубы, но картоху нашли, а Суденков и тут успел сочинить:

Все выходится не так,
Сделал погреб на чердак...

Дальше стихи никто не запомнил.

С Раисой Капитоновной мы старинные друзья. Она искренне радуется моему приходу, ставит самовар.

Говорит она без остановки, слушать ее как-то очень легко, не нужно ни поддакивать, ни направлять разговор.

— Поговорить-то я любительница,— хвалит она сама себя.— Вон бабы иной раз соберутся, вот я и давай говорить. Одинова городских пробирали, которые юбки-то выше коленок носят. Ой, говорю, бабы, сколько мод-то прошло за мой век. То, бывало, длинное, то широкое носят, то узкое длинное, то узкое коротенькое, все способы прошли. Только, говорю, любая мода от глупых идет. Иная неряха станет кроить — да и обмеряется, ошибется, дурочка. А другая поглядит у нее — да тоже так и сошьет, вот и пошло шире-дале.

Раиса Капитоновна легко переходит на тему о войне, а война для нее связана с другими, сплошь печальными образами. Я не успеваю перерабатывать в своем сознании все сказанное ею.

Она рассказывает и рассказывает. Все слова ее теперь о сыне Сереженьке, его портрет, увеличенный с маленькой документальной фотокарточки, висит на тесаной неоклеенной стенке. Я помню Серегу Пудова — ядреного, коренастого, доброго и работящего парня. Он был единственным сыном у Раисы Капитоновны. Ушел на войну, как она говорит, «сразу же, в самый огошек». Теперь, когда прошло двадцать три года, Раиса Капитоновна рассказывает о той поре так, словно бы все это было только вчера, словно Сереженька только что вышел из избы и словно бы он вот-вот зайдет опять. Она рассказывает, как он лазил на спортив-

ный шест, как одной рукой держался за маковку, как ходил к девкам, как переобувался после пашни...

Реветь хочется от этих рассказов. У Раисы хоть один сын, а у многих по пять-шесть да в придачу и сам (то есть муж, хозяин) сложили головы на чужой стороне. И я думаю о великой трагедии матерей, переживших собственных сыновей и словно бы стыдящихся того, что сынки сгинули, похоронены, а они, матери, все еще поверх этой земли...

* * *

Все уже узнано за две недели, все обойдено, переговорено почти со всеми. И только на свой родной дом я стараюсь не глядеть и обхожу его стороной. Я думаю: зачем бередить прошлое? Для чего вспоминать то, что забыто даже моими земляками? Все ушло навсегда — хорошее и плохое,— плохое не жалко, а хорошего не вернешь. Я вытравлю из сердца это прошлое, никогда больше не вернусь к нему.

Надо быть современным.

Надо быть безжалостным к прошлому.

Довольно ходить по пепелищам Тимонихи, сидеть на опечках. Надо помнить о том, что день и ночь на земле — как говорил Хикмет — работают реакторы и фазотроны. Что одна счетная машина действует быстрее миллиона колхозных счетоводов, что...

В общем, не надо глядеть на родной дом, не надо заходить туда, ничего не надо.

Уходят дожди, плывут облачные флотилии. Каждое утро над Тимонихой гудит турбовинтовой самолет. Каждое утро грохочет гусеничный трактор, от этого сотрясаются углы и дребезжат, как от грозы, оконные стекла. Очень хорошо, что из-за дома Василия Дворцова не видно ни утром, ни вечером отцовского дома.

Очень хорошо.

Но однажды я комкаю в кулаке свою писанину и бросаю в угол. Бегу по лестнице. В заулке озираюсь по сторонам. Никого нет. Мама ушла за морошкой, все на покосе.

Дом выдался из посада вниз, к реке. Как во сне подхожу к нашей березе. Здравствуй. Не узнала меня? Высокая стала. Кора лопнула во многих местах. Муравьи бегают по стволу. Нижние ветки обрублены, чтобы не заслонять окошки зимней избы. Вершина стала выше трубы. Не бе-

ли, пожалуйста, пиджак. Когда я тебя искал с братом Юркой, ты была хилая, тоненькая. Помню, была весна и твои листочки уже проклюнулись. Их можно было сосчитать, так мала ты тогда была. Мы с братом нашли тебя в поскотине на вахрунинской горе. Помню, кукушка куковала. Оборвали мы у тебя два больших корня. Несли через лавы, а брат говорил, что ты засохнешь, не приживешься под зимним окном. Посадили, вылили два ведра воды. Правда ведь, ты еле выжила, два лета листочки были мелкие, бледные. Брата уже не было дома, когда ты окрепла и набрала силу. А где ты взяла эту силу под зимним окном? Надо же так вымахать! Уже выше отцовского дома.

Надо быть современным. И я отталкиваюсь от березы, как от ядовитого дерева.

...Всю ночь в нашей дырявой крыше тоскливо шумел ветер. Я засыпал и вновь просыпался. Утром же наши часы тикали так же четко, умиротворенно, спокойно. Словно после долгой болезни я вышел в загороду, к бане, съел горькую травинку лука.

Флюгер в виде птицы на длинном шесте, поставленный у бани, глядел на Тимониху. Эта птица, вырубленная еще дедком Михайлом, всегда глядела навстречу ветру. А ветер и сегодня был южный, грозовой: за Пичихой опять копились темные облака, и опять небо, там, вдали, глухо ворчало, наливалось дождевой тяжестью.

Мама принесла из лесу корзину сизой крупной черники, поставила самовар, подмела сени свежим березовым веником. А я ушел с Марьей и с ее теткой Афанасьей в поле метать стог. Мы быстро огребли бывшее на валах сено, стаскали на носилках копны. Стожар был сделан Дворцовым еще заранее. Марья окидала вокруг него одну копну, встала на стог, я взял трехрогие деревянные вилы. За Пичихой погромыхивало все громче и настойчивей. Пласты в копнах сначала не нащупывались, и я кусал губы, но женщины тактично делали вид, что не замечают моих неумелых движений. Но вот я приноровился, начал выкидывать сено ловчей и быстрей, обходя стог кругом, беря сено по очереди с каждой копны.

Жара была непомерная. За шировот валилась сенная зудящая труха, пришлось скинуть рубаху и майку. Женщины нахваливали мою работу. Они и в самом деле были довольны, потому что стог со старухой Афанасьей было бы Марье не сметать, а из-за Пичихи шел дождь. Но вдруг, когда Марья только-только начала суживать стог, я почув-

ствовал предательскую дрожь в мускулах. С ужасом оглядел копны: они убыли каждая лишь наполовину. «Все, выдохся. Ненамного же тебя хватило». Марья, кажется, ничего не замечала, хотя ей и приходилось иногда поджидать очередной навильник.

Я сказал, что хочу пить, спустился к речке. Пока пил и поднимался обратно, дрожь в мускулах вроде прошла, но стоило поднять одну ношу, как руки и колени снова ослабли...

Собрал последние силенки, переменил руку. Марье пришлось тоже переменить руку, так как теперь я пошел вокруг стога не по солнышку. Афанасья загребала остатки сена и не видела меня, а Марья, наверно, почувствовала, что я выдыхаюсь. С ненавистью к самому себе, я натужно выбросил большой навильник и вдруг почувствовал, как приходит второе дыхание, как исчезает слабость в коленях.

Стог вырастал, я вновь ощущал силу в руках, не ту, прежнюю, а новую, и теперь было уже обидно, что сено кончалось, что Марья начинала вершинить. Она притопнула предпоследний навильник, мы с Афанасьей обдергали и причесали стог. Я выломал у речки два ивовых прута и связал их вершинами. Марья надела их на стожар и по ним спустилась на землю. Тут же, без конца «спасибуя», побежала на ферму.

Я выкупался в Чистом омуте, смыл пот и сенную труху и, словно рожденный заново, пошел над речкой.

Скоро надо уезжать из Тимонихи. Но пока я здесь, пока я такой же, как все тут, на родной земле, потомок ушкуйников, и жизнь нигде не кончается, а апостольская голова Барова белеет в загороде, и хочется есть, и самозабвенно поет петух. И так хорош этот неоглядный зеленый мир моей родины!

Всюду окрест стояли стога. Там и тут, опустелые, словно подстриженные, зеленели скошенные пустовины, а по ним в живописном и необходимом беспорядке стояли стога. В тех, что были сметаны вчера и сегодня, еще сквозила травяная зелень, а самые первые уже побелели от грозы.

Стога, кругом стога...

И жизнь никогда не кончается, я про себя повторяю эти слова. Прошла по дороге Августа Корзинкина с ягненочком на руках, только что окотившаяся в поле овца бежит за ней, и у овцы еще трясется сзади тесемка последа.

С фермы гонит новую корову Парфений Степанович Лукичев,— значит, выручили из беды, продали корову...

А берегом, низом, идет Серафима, жена Агафонова — моего сверстника, несет на руках новорожденную дочку, проехала с ней полсотни километров на машине и семь километров шла пешком. Сашка, Надька издалека увидели мать, ринулись с криком встречать. Сашка сбегал к матери, бегом пустился обратно, орет от восторга и прыгает то на одной, то на двух ногах.

Моя мать плачет.

— Мама, она тебя догнала, у ней тоже стало пять,— говорю я, и ей не верится, что мы у нее тоже когда-то были такими же.

Гроза идет с той же стороны, откуда идет Серафима. Подул ветер, заворочался гром, хотя половина неба затоплена солнцем.

В Тимонихе стало одним человеком больше. Я радуюсь прибыли, в носоглотке тоже щекочутся слезы: как-то назовут девочку?

Все ладно, все к месту, пусть растет новый, еще безымянный человек. Я постарел за три эти недели, а она только родилась...

Гром бьет прямо в громоотвод.

В старом просторном доме тикают наши часы, и уже не видно в углу мою «Сикстинскую мадонну».

Прожит еще один день.

Пройдут другие дни, кончится сенокос, бабы выдергают лен, комбайн сожнет рожь у Вахрунихи. А завтра я заколочу окошки дома и уеду в Москву. И снова будет сниться то сенокос, то широкий разлив вешней реки, опять послышится дальний окающий голос причетчицы:

Ты послушай-ко, млада-милая,
Что я буду тебе сказывать.
Тебя станут звать, да млада-милая,
Станут звать да за Забыть-реку,
Ты не езди за Забыть-реку,
Ты не пей-ко забытной воды,
Ты забудешь, млада-милая,
Да свою родную сторону.

Москва — это моя Забыть-река...

VI

Прошло десять лет.

...Уж десять лет прошло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,
Переменился я, — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо...

У Пушкина есть стихи буквально на все случаи жизни. Но к нему привыкаешь, как к воздуху, еще в раннем детстве и потом долго как бы не замечаешь его. Да и кто замечал чистый целебный воздух до того, пока не дыхнул вонючей и тяжкой горечи? Лишь в зрелые годы приходит осознанное восприятие родного, ничем не заменимого пушкинского слова. И тогда, если ты преодолел собственную самонадеянность, если нашел время вновь спокойно полистать Пушкина, приходят тысячи запоздалых открытий. Ты вдруг начинаешь замечать такие, к примеру, мелочи, что у Пушкина были даже стихи о «красавице, которая нюхала табак», что в сказке о попе и работнике «попенок зовет Балду тятей».

А то вдруг звонко, словно пощечина, прозвучит какое-нибудь случайное пушкинское высказывание, и ты покраснеешь от этой пощечины: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим».

Оказывается, ты впервые читаешь и эти строчки:

Дай, Никита, мне одеться,
В митрополии звонят...

Да мало ли чего «оказывается» с годами? Того, о чем ты и не подозревал, не только у Пушкина, но и у Толстого, и у Достоевского. Давно прошла мода носить ромбики академических знаков. Но мода на дипломы отнюдь не прошла. Мещанское тщеславие отнюдь не страдает от убогой культуры и поверхностных знаний. Оно вполне удовлетворяется дипломом — этим формальным подтверждением так называемого высшего образования...

Вот и у меня есть теперь этот ромбик. Он лежит в шкафу в коробочке из-под блесен, вместе с рыболовными крючками, лезвиями и монетами. Мне тоже можно гордиться высшим образованием.

Ромбик лежит с крючками с той поры, когда я закончил институт. Тогда, в горячке, я не обратил внимания на одно примечательное обстоятельство: в наших местах я был вторым по счету человеком, закончившим институт. После Толи Мартьянова, сына нашего сельского учителя Николая Ефимовича, женатого на моей сестре Шуре. Он закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта и

стал первым во всей нашей округе обладателем диплома. Второй — я. Что же, тоже не плохо, но кто же третий? И я вспоминаю, что третий — Валя Архипов из Вахрунихи, закончивший физико-технический институт в Москве и работающий теперь в каком-то научном учреждении...

С такими размышлениями я беру ведра и иду за водой для последорожного самовара.

В омуте, повторяя мое детство, купаются ребятишки. Голопузые же, они удят окуньков и снова барахтаются в воде. Высокие травы пахнут солнцем и первозданной зеленью. На Вахрунинском берегу резвятся дурашливые мокрогубые телята, везде добрый покой затихающего сенокосного дня.

...и много
переменилось в жизни для меня.

А что же переменилось в жизни Тимонихи? Самое главное, это то, что принято правительственное Постановление о Нечерноземье...

Моя деревня много лет скромно ждала этого события. С чем же она пришла к этой новой поре?

Давай вскипятим самовар. Заварим хорошего индийского чая и поразмышляем, не торопясь. Оглядимся, посмотрим прежде всего вокруг себя.

Во-первых, дом уже не тот, что был десять лет назад, от него осталась всего половина. Задняя часть, стоявшая на столбах, давно отломана со всеми ее хлевами, сенниками и лесенками. Бревна мы испилили мотопилой и топим вот уже много лет. Дров как будто даже не убывает. Каждый раз, когда я беру топор, чтобы расколоть вместо зарядки чурку-другую, меня навещает легкое чувство стыда. Дедко Михайло Григорьевич ехидно глядит на меня из прошлого, трясет белой как лунь бородкой: «Лежни! Вишь, поняли барскую жизнь!»

Разве для того он рубил эти могучие, не поддающиеся гниению дерева́? Разве мало кругом в лесу сухостою и сорного лесу, чтобы не ломать и не топить в печках жилые дома? Эта странная мода (употреблять на топливо хозяйственные и жилые строения) пошла, насколько я помню, еще с середины тридцатых годов. Многие обобществленные амбары, а также лесные и полевые сараи для сена оказались тогда лишними, ненужными. Без присмотра их крыши быстро дряхлели, а если крыша течет, то постройка при нашем климате сразу начинает портиться. Зачем же пропадать такому добру? Сараи для сена начали ломать; пилить

и топить на овинах, во время сушки снопов. Дурная традиция укоренилась легко: вскоре в ход пошли и сами гумна с овинами, которые так старательно возводились стариками. (Ведь даже в самом захудалом хозяйстве было гумно с овином, без них ты никакой не крестьянин, а зимогор.) Еще до войны в Тимонихе исчезла половина сараев, амбаров и гумен: их частью сожгли, частью использовали для животноводческих построек, частью они сгнили сами. Затем дело дошло до самих домов. Брошенные на произвол судьбы или проданные за бесценок, они безжалостно разламывались и употреблялись на топливо. За последние четыре-пять десятилетий ни одного жилого дома в Тимонихе не было построено. Может, не было плотников? Отнюдь нет, плотники не переводились. В той же Тимонихе за эти годы были построены три скотных двора, две большие конюшни, два телятника и множество вспомогательных животноводческих построек. Жилых же домов не только не строили, но разламывали и оставшиеся. Просто они были никому не нужны. В те годы многие уехали в города и на стройки пятилетки: началась индустриализация страны. Особенно много уезжало холостяков, которые при обычных условиях обзавелись бы семьями и которым в свое время понадобились бы и жилые дома.

Война совсем доконала мою родную деревню[1]. (Я уже говорил, что с войны в Тимониху не вернулось ни одного мужчины, а Тимониха типична для здешних мест.)

Помню, как женщины, дети и старики, голодные и полураздетые, то тут, то там пилили свои же *сени,* чтобы истопить печь. Не важно, что будет завтра, выжить бы только сегодня. И так ежедневно, много лет подряд, ведь еще и в сорок пятом и сорок шестом голод в наших местах был не меньше, чем в военное время. Тогда для больных, ослабевших, для детей, стариков и женщин дрова были действительно проблемой.

Но проблема ли они сейчас, в наше время? Каждому здравомыслящему понятно, что срубить новый дом в деревне — дело нешуточное. Небольшой одноэтажный дом, построенный колхозом, купил живший до этого в нашем (отцовском) доме Михаил Кошелев. Он решил переехать на центральную усадьбу и купил колхозный дом по его балансовой стоимости, то есть за шесть тысяч рублей. Коше-

---

[1] Всего в нашем колхозе «Родина» погибло только на фронтах 316 мужчин.

лев залез в такую кабалу, что много лет не может рассчитаться с долгами. В то же время вовсе не худшие дома продаются за бесценок на дрова, поскольку колхоз их не строил. Так, сельский Совет (вместо того, чтобы самому содействовать сохранению жилого фонда) заведомо на дрова купил превосходный бывший поповский дом в нашей бригаде.

Как прочно и много строили наши предки! Ведь мы не только целое столетие жили в их домах, но теперь еще и отапливаемся, выходит, тоже за их счет. Вот почему мне стыдно колоть эти ядреные звенящие чурки...

Итак, десяти, нет, почти одиннадцати лет как не бывало. Я боюсь пройти по родной деревне, потому что многих, очень многих не стало за эти годы. Умер Федор Евгеньевич Агафонов и его жена Надежда Васильевна. Не стало и стариков Баровых. Помнится, Василий Михайлович, умерший зимой, говорил, что если уж умирать, то умирать надо летом, поскольку летом народу легче копать могилу. Вместе с Федором Соколовым из Дружинина они подробно высчитывали, сколько надо гвоздей на гроб и нельзя ли *оттуда* хоть ненадолго сбегать домой.

Не стало и Федора Соколова, как не стало в Вахрунихе Раисы Капитоновны Пудовой. В Лобанихе умерла Марья Цветкова, обладавшая потрясающей художественной силой устной своей речи. Уже никто в нашей волости не скажет так умно, образно и кратко, как она... Наталья Самсонова, последняя кружевница, сказочница и песенница, тоже умерла.

Не стало моего сверстника Василия Дворцова.

Умер и Николай Андреевич Федотов — последний в Тимонихе плотник и лодочник. Ах, не такой еще был и старый Николай Андреевич, еще бы жить да жить. Его надорвала, по-видимому, смерть старшего сына Ивана, который утонул в озере вместе со своим сверстником из Лобанихи, внуком Марьи Цветковой, которая тоже недолго нажила после этой трагедии. Я не могу спокойно вспоминать об этом случае, мне кажется, что это из-за меня их нет в живых...

Помнится, двое ребят пришли ко мне (они только что закончили восьмой класс). Иван, стесняясь и краснея, долго не мог начать разговор. Я наконец сообразил, что им что-то нужно от меня, и прямо спросил, что у них за просьба.

Просьба же была несколько странной, во всяком случае

для меня. Они просили помочь достать паспорт, чтобы уехать из деревни. Я спросил Ивана, куда он хочет уехать. Он сказал, что все равно куда, лишь бы получить паспорт. Он, волнуясь и горячась, начал доказывать, что он нисколько не хуже тех городских парней, кому торжественно вручают паспорта во время шестнадцатилетия. Я был согласен с ним, но ничего не пообещал. Что я мог сделать? Как можно было помочь им? Они понуро ушли от меня, я вскоре уехал в Вологду, а когда через несколько недель возвращался в Тимониху, то еще в Харовске услышал жуткую весть. Иван утонул в озере, спасая своего товарища. Вода была настолько холодна, что они, выпав из узкой долбленки, видимо, замерзли, не смогли выплыть. Их нашли метрах в двухстах от берега, Иван и мертвый судорожно сжимал нос перевернутой долбленки. Видимо, толкал ее вперед, когда спасал более слабого товарища. Тот лежал поперек днища. Нет теперь в деревне не только Ивана, но и Васи Дворцова, моего сверстника, с которым играли когда-то в рюхи и бабки.

Он погиб, попав зимой под тракторные сани, похоронен у нашей Никольской церкви.

Церковь все так же белеет на зеленом бугре. Когда-то в ней была начальная школа, я ж ходил сюда в первый класс. Нас было так много тогда! Теперь зимний придел изломан, сломана и высокая колокольня. Школа находится в деревне Алферовской, напротив, и учится в ней всего шесть маленьких мальчиков. Грохочущий ДТ-54 зачем-то въезжает в церковь. Из озорства, что ли? А может быть, там склад какой? Пока я поднимаюсь на бугор, трактор ушел. Никакого склада в церкви не было. Гулкий храм, с вывороченными балками, с метровыми стенами, встречает меня отрешенной тишиной.

Белые когда-то стены облупились. И с высоты кое-где глядят на меня загадочные, едва угадываемые лики. Кто же писал эти фрески? Кто возводил эти мощные стены, выводил под небо широкий купол, что и как думали эти строители?

Рядом — зеленое, обнесенное заборчиком кладбище. Наверное, надо почтить память умерших. Вот где-то здесь лежит бабка Фоминишна. Бабка Наталья, Ермошиха, божатка Евдоша... Кладбище-то, по сути дела, женское, здесь почти нет моих предков-мужчин, о чем я уже писал в какой-то из своих книг.

Я долго сижу на могиле Васи Дворцова, смотрю на си-

нее озеро, на эти родимые реденькие дома, бани и изгороди. Они поглощают горечь моих печальных встреч, я возвращаюсь домой и, не зная что делать, иду на Лесное озеро. Поле до самых болотистых подозерок цветет синим, желтым, розовым и белым. Солнце шпарит немилосердно, и в воздухе стоит гуд миллиона насекомых. В чистом омуте купается пожилая супружеская чета, они оба голые, стыдиться им некого. По очереди, старательно трут спины друг дружке, окунаются, смывая с себя сенокосный пот, и оводы, наверно, гудят над ними. Кто это? Ладно, узнаю потом, когда оденутся.

В болоте оводов и мух еще больше. Запах влажной растительности до того силен, что кажется почти осязаемым. Все растет, прет из земли сломя голову.

Выхожу к реке, к зимнему выезду. Это сюда Фауст Степанович Цветков, купивший в Тимонихе дом старика Барова, выгоняет лодку. Вчера он рассказывал мне, где спрятано весло, где висят мережки. Осиновая долбленая лодка, которая погубила ребят, еле выдерживает одного человека. Она вертится, идет не туда, я долго приноравливаюсь к ней, пока она не начинает слушаться. Речка здесь узкая, особенно летом, вся завалена упавшими деревьями, забита тычами, перегорожена заездками, и ехать очень трудно. Оводы шпарят без пощады, мухи лезут в рот, и в уши, и в нос. Это меня, рыбака. А каково же сейчас коровам и лошадям на поле, в лесу? Уму непостижимо, сколько у нас этой кровожадной твари! Оводы желтые, полосатые, чуть не с воробьишку, укус их подобен уколу для прививки. Оводы поменьше, почти как пчелиные трутни, некоторые из них совсем зеленые от цветочной пыли — только что родились,— донимают своей многочисленностью и жалят тоже до крови. Тучами летают слепни, мелкие серые — третий сорт, как говаривал Аркадий Щеглев. Комарье всех сортов гудит и ночью, и днем. Лесные и полевые мухи — эти кровь не сосут, зато лезут, особенно потному человеку, прямо в глаза, назойливые и неутомимые. Мошка, мелкая, с булавочную головку, с серыми крохотными крылышками, та больше по ночам сосет кровь, но от нее тело только зудит, боли не ощущается. Наконец, клещи, разносчики энцефалита, по-нашему — кукушкины вошки. И все лезут, все хотят жрать, и некуда от них деться, особенно коровам и лошадям.

Я со злобой бью по ноге. В руке целая горсть оводов, ладонь в крови, один все же успел напиться, но тут же на-

летает еще больше. Черт, сколько этих заездков, ехать быстрее нельзя. Заездок — это самый древний и примитивный способ рыболовства. В узком месте река перегораживается кольями и досками, в окно ставится верша, и рыбе идти некуда, кроме этой верши. Речка течет из большого Лесного в малое озеро, озера эти разные по происхождению и глубине. В Лесном озере дно илистое, пятиметровая жердь легко уходит в этот ил. Когда зимой намерзает слой льда и доходит до самого дна, рыба задыхается, кидается в речку, чтобы пройти в то, более глубокое озеро, а тут ее и хватают за жабры. И вот периодически рыба в Лесном озере гибнет, нынешняя зима именно такая. Фауст Степанович Цветков рассказывал, что из-за этих заездков рыба не вышла из озера и вся подохла, на лывах валялись щуки, как поленья, хоть лопатой греби, многие тонны дохлых окуней и сорог склевали птицы.

Однако озеро очень рыбное, пройдет два-три года, и рыба опять расплодится, уже сейчас кишмя кишат в устье тысячи юрких мальков.

Я выезжаю на середину озера и наконец вижу, как редеет стая кровососов-оводов. Здесь на воде прохладнее, дышится легче, кругом одна вода. Выкидываю две мережки, стучу веслом. Десятка два хороших окуней цепляются в ячейках, а мне и не надо больше, еду в Бычьянский берег. Вдалеке звучно ныряют в воду гагары, озеро нестерпимо блестит на солнышке. Оно то золотисто-стальное, то густо-синее, то почти белое, в зависимости от силы ветерка. Вон там, около глуби, играет большая ятва сороги: рыба идет почти поверху и вода над ней не рябая. На середине озера, сколько ни греби, все кажется, что не двигаешься с места. Но берег все же подвигается, вот уже видать высокие хвощи — наступающие на глубь разведчики суши. Озеро быстро зарастает. Сначала идут хвощи, вслед за ними ряска и мох, по мху трава и лыва заволакивает озеро. Внизу под лывой еще гуляют рыбы, а вверху уже растет ивняк и вьют гнезда голенастые журавли. Северный берег интересен тем, что там твердое дно, вода подмывает сосны, ели, подсад жимолости и вереска. Эти обнаженные и высохшие корни — зрелище удивительное. Как будто какой-то лесной скульптор-волшебник ходил по этим берегам и творил свои нездешние образы. Фантазия его была свободна и не ограничивалась ничем, он делал эти скульптуры легко и непринужденно, словно из озорства. Ну и наделал не поймешь чего: уродливо-непонятных птиц-змей, таинст-

венных, каких-то деформированных балерин, спортсменов, зверей. Везде абстрактные заготовки и смещенные, разъятые и перемешанные детали каких-то удивительных, но не законченных образов. Я вырезаю с десяток этих причудливых корней и под отрешенные шлепки воды о лодку долго кручу их и переставляю, стараясь уловить смысл, но образы ускользают, и я бросаю корни в корму...

Кругом остро блестит вода. Тихо, жарко. Лодка крадется вдоль берега. Помнится, здесь, в лесу, между бронзовых стволов болотных сосенок я видел сказочную избушку, срубленную покойным Николаем Андреевичем. Двухскатная крыша, окошечко, углы и мох в пазах — все было настоящее и крохотное, точь-в-точь как в сказке. Сейчас ее нет здесь. Бревна по воде сплавили в деревню. Но в этом болоте, среди бронзовых сосенок все как-то по-прежнему сказочно. Кажется, что сейчас выйдет ко мне согбенная баба-яга, прошамкает заклинанья, и лес оживет и расступится: ухнет и захохочет кашлюн-водяной, голоса болотных кикимор заглушат его кашель, запоет в воздухе чья-то стрела либо тяжко протопает белый богатырский конь.

Но все тихо, только глухо рокочут верхи сосен. Вокруг синеет голубика, пеньки слезятся смолой.

И снова в душе роятся воспоминания, и никуда не уйти мне от самого себя, никакая природа не заглушит тревогу, и, наверное, природа вообще не глушит тревогу, а только углубляет и расширяет в сердце область этой тревоги, этой неудовлетворенности.

Здесь в лесу опять так явственна горечь моих встреч с родиной, так ярки всплывшие в памяти образы, так щемящи воспоминания.

В детстве мы срубили с Доськой Плетневым почти такую же избушку, какая была здесь. Она стояла в поскотине, за Вахрунихой, где Доська пас коров, зарабатывая свой недетский хлеб.

Ах, Доська, Доська...

Ты всегда был жестче меня, суровее, что ли, всегда я завидовал тебе, всегда не хватало мне твоей беззаботности и веселого недетского мужества. Помнишь, как мы пилили твою клетину? Изба у вас была громадная, с широкими лавками и полавошником. На стенах ничего не было, да и во всей избе ничего не было, был один котелок да две ложки. Помню, моя мать отдала тебе мою холщовую сумку, чтобы ходить в школу. В сумке ты носил задачник и хресто-

матию, которая начиналась со стихов о купающемся пионерском отряде.

Люди говорят:
Купается отряд...

Но сумка эта служила тебе больше не для книжек... Твой брат Панко был ленивей тебя, он редко ходил за милостыней, и ваша мать Вера, может, пожила бы подольше, если б он тоже ходил по деревням. Я помню, как она умерла от голода. Это было, кажется, еще в сорок втором. В вашей избе разломали перегородку и из этих досок сделали ей гроб. Панко уехал в ремесленное. Ты пас летом коров, а зимой жил у Дворцовых. Коров ты пас удивительно. Я дивился тому, как ты, приложив ухо к земле, мог определить, в какую сторону ушло стадо. Еще я помню, как зимой, в школе, ты сочинил стихи про Граньку Короткову. Гранька унесла в подоле из гумна несколько фунтов непровеянного зерна, и когда ее поймал председатель, удавилась от стыда. Дело было в какой-то праздник, в стихах говорилось сперва об этом празднике. Но я запомнил только две твои последние строчки:

...Но вот беда случилась,
И Гранька задавилась.

Ты декламировал эти стихи в классе, а мы, помню, смеялись, пока не пришел учитель Николай Ефимович.

Тебя отправили в детдом, но ты убежал обратно в Тимониху и вновь подрядился пасти коров. Помнишь, как мы втроем с Васькой Агафоновым поймали глухаря? Глухарь подпарил крылья, летал плохо, и мы заарканили его в Рямбе. Мы с Агафоновым по-рыцарски уступили глухаря тебе, но в деревне он куда-то исчез с повети, где мы его спрятали. А помнишь ли ты, как здорово ты плясал под мою игру? Частушек ты знал бездну, с картинками и без картинок. А как воровали и пекли колхозную картошку? А наши костры под Лобанихой, а пойманный филин, которого мы потчевали капустой?

Доська, Доська... Я много лет искал тебя и никак не мог найти. Писал в Ленинград, в Архангельск — нигде тебя не было. Но вот прошлым летом я наконец заполучил твой адрес в Ленинграде. Тотчас же пошел к тебе, нашел твою дверь. Но дверь оказалась запертой, газеты за несколько дней торчали из почтового ящика. Бабки, сидевшие во дворе, обещали передать тебе мою записку. Я уехал домой в

Вологду. Я долго ждал ответ на мою записку, но, может, бабки не передали ее тебе? Нынче зимой мне сообщили, что ты умер от рака.

...Лес, словно бы недовольный, шумит надо мной. Синеет небо, блестит озеро, и камыши шелестят в устье. Виденья военной поры мелькают перед моими глазами, виденья моего детства. Вот мы, ребятишки, сидим в розовом разливе лугов и щиплем клеверные маковки. Всего обиднее было то, что нащиплешь корзину, умнешь, а когда мать высушит их и истолчет в ступе, то получалась всего пригоршня коричневой муки. Ели и мох, и репейники, и толченую солому. Но клеверная мука была самая лучшая, лепешки хоть и не держались во ставу, зато не так обдирали горло.

...То ли звон в ушах, то ли и впрямь поют скрипучие зимние снега? Вспоминается собрание в конторе, где бабы слушают уполномоченных по хлебу, по займу, по лесу. С опухшими толстыми ногами, то с хохотом, то со слезами решают дела, ругаются бабы, а утром идут молотить зерно. Те, что похитрее, надевали валенки с широкими голенищами, подшивали к передникам внутренние карманы. Весна приходила... Лошади, на которых раньше пахали, сдохли, некоторые съедены, и бабы сами впряглись в оглобли. Двенадцать баб на веревках без оглобель волокут плуг, тринадцатая идет за плугом. А ночью, сложив в узелок барахлишко, уходили менять его в более хлебные места. Смех, слезы. Одна променяла атласовку за простоквашу. Другая выменяла пол-литра щей и несет эти щи в бутылке домой ребятишкам. А дома ворота не закрываются, ползут и ползут нищие. Целыми семьями, в одиночку, от дома к дому, дальние и свои, русские и цыгане, калеки и просто полуживые от голода, дети и старики. Цыганка раскидывала богатые карты в какой-нибудь теплой избе, и бабы шли туда со всех деревень, несли последнюю сметану, выходили то радостные, то падали у крыльца без чувств. По вечерам нищие рассказывали о чудесах. В какой-то деревне было знамение. Там-то и там-то провалилась под землю изба с игрищем...

Но больше всего запомнился мне нищий-пацаненок безродный Витька. Он весело пел вечером у Дворцовых:

Ой, конь вороной,
Белые копыта,
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Витька жил в Тимонихе часто, его любили за серые веселые глаза, за сказки и частушки. Он не хотел Христа ради есть наши клеверные лепешки. По вечерам, нащепав ворох еловой трескучей лучины, бабы садились прясть, старики дергали мох из пазов, курили и слушали Витьку. Он и сплясать мог не хуже Доськи Плетнева. Усевшись на пол, сложив ноги калачом, Витька смешил людей, глотал горячие угли, но всегда знал меру и перемежал свой концерт сказками и бывальщинками:

«Жили два брата Пестерь да Долгорожий. У Пестеря была рубаха, у Долгорожего портки. Сидят на печке, ходить было некуда. Вдруг у ворот стук. Люди кричат: Пестерь и Долгорожий, отворите! Долгорожий говорит: поди, Пестерь, отвори, у тебя рубаха, а у меня нету. Нет, ты, Долгорожий, поди, у тебя портки есть, а у меня порток нету. Ни один не слез с печи. А у них изба горела, так оба и погибли».

Витаху укладывали спать куда-нибудь на полатях, а утром он опять уходил. Куда — неизвестно...

Солнце скатилось в сосновые кроны, и лес горит бесшумным пожаром, озеро стихло.

Мне вспоминаются и те далекие дни, когда стоял сухой и чуть свежий август, когда ржаные суслоны, каждый выше любого мужика, сотнями обступали деревню. Было это перед самой войной, народу дома жило еще много, обиды коллективизации затянуло временем, и многие мужики, хватив неуютной барачной жизни, воротились к родной земле.

Я знаю, тогда было настоящее счастье, пусть непрочное, обрубленное, но счастье. Наплевать на все, лишь бы стояли суслоны, лишь бы тек горячий пот и собиралась разноголосая трудовая артель, лишь бы и ты был на людях, в этой артели, и чтобы пахло везде восковым зерном и чтоб телеги скрипели, груженные золотыми снопами!

Это было последнее счастливое лето древней Тимонихи. Все взрослые с утра до вечера трудились в поле, старухи нянчили молочных детей, а ребятишки постарше возили снопы, грызли зоревую морковку, жгли костры и кидались кепками. Я помню теплую сухую землю, колючую от ржаной стерни. Она была широка и ласкова, от ее дыхания плавали в воздухе тончайшие ниточки паутины. Возы со снопами ковчегами плыли к гумну, где шумела молотилка, за возами бежали потешные жеребята, и кобылы на ходу

с рокочущим ржаньем оглядывались на них. Воз со снопами с напряженной поспешностью вкатывался в ворота, и горький позор ездоку, который задел осью за косяк и сломал чеку! Снопы в бешеном темпе рядами складывались на перевал, подводу в галоп гнали за новыми снопами, а молотилка захлебывалась зерном. Разъяренный работой бригадир-подавальщик беспрестанно орал: «Давай! Давай!» Он совал и совал в барабан распотрошенные снопы, бабы не успевали относить солому и сгребать вороха, хлебная пыль клубилась в гумне, все это сдабривалось бабьим визгом, басистым мужским хохотом, веселой ругней, шуточками.

И вдруг по окрику бригадира привод останавливался. Затихал гул барабана, и последние зерна стукались в молотилке. Погонщики бросали лошадям по толстому овсяному снопу, мужики шли курить на лужок, бабы и девки трясли платки и садились в солому, но ненадолго. Тут же парни и мужики наскакивали сзади и мяли визжащую половину рода человеческого, зато и женщинам в руки иному здоровенному верзиле попадаться было нельзя. Свалят, сомнут, под общий хохот сдерут штаны, насыплют мякины.

И снова шумит молотилка. Снова крики погонщиков, скрип одрецов, гул барабана, шорох зерна и все более учащающийся, в чем-то языческий, первобытный, самозабвенный голос: «Давай! Давай!»

А мы, ребятишки, весь день потешались в громадных скирдах соломы, прыгали с гуменной крыши, делали в скирдах жуткие лабиринты соломенных нор, и взрослые относились к нам как к равным. И даже Доська Плетнев был в ту осень счастливым и сытым...

Куда все девалось?

Я выехал к зимнему выезду, сложил в корзину окуней и долго, устало шел до деревни.

VII

Древние новгородцы больше всего на свете любили вольную волю. Еще задолго до того, как потух звон вечевого колокола и северная республика склонила перед Москвой свои колена, они начали осваивать обширные и богатые земли Севера. Но ростовцы и суздальцы тоже не терпели обид — ни своих, ни чужих. В страшные и позорные времена усобиц, махнув рукой на дикость кочевников, а заодно и на строптивость своих вконец перессорившихся князей,

многие тоже устремлялись на Север. Наточив топоры, тесали брюхатые ладьи, бросали без жалости дымные салотопки и кузни. Песни и крики ватаг будили медвежьи леса, оглашали плесы великих северных рек. Веселые бородачи рубили на берегах бревенчатые станки, оседали, жгли подсеки, рыбачили, сеяли хлеб, курили смолу и били зверя. А самые забубенные головы плыли все дальше и дальше...

У них не было даже фамилий, одни прозвища: Бессоня, Петуня, Дейко, Суетко, Дружина, Пинай, Малюта, Гостюня, Поздей, Кручина, Баженко, Первуня, Надейко, Останя, Перша, Завьял, Насонко, Девятко, Неустройко с сыном Озорнячком, Мина, Поспелко, Жданко, Богдан, Неупокой, Корепан, Нестерко.

Север, безбрежный, бескрайний, шумел голубыми лесами, манил, будоражил глубинной своей тревогой. Ладьи все плыли и плыли, оставляя за собой седые, в полнеба, дымы. С такой же неспешной уверенностью плыли над здешней землей века, и в необъятных лесах роились деревни. Сотни, тысячи деревень. Правда, их быстро прибирали к рукам боярские дети и царские вояки, зачастую иноземного происхождения: бедные выходцы из соседних государств, изгнанники и проштрафившиеся у себя на родине авантюристы.

Давно когда-то во время студенческой пирушки пьяный хлыщ читал нам как-то свои сатирические стихи. В деревне он век не бывал, но в стихах рьяно обличал индивидуализм крестьянина, его приверженность к приусадебному участку. Я спросил, сколько соток земли у этого индивидуалиста и сколько дают на трудодень в колхозе. Тогда же на семинаре один бодрый поэт, у которого я учился уму-разуму, весьма прозрачно намекнул на мое «кулацкое мировоззрение». О том, что я не кулак, пришлось доказывать не только словами. Я долго и горько думал о случившемся. Может быть, я и в самом деле *кулак*? А если кулак, то что такое кулак? И вот, позднее, встретившись с матерью и бабкой Прасковьей, ее теткой, я, как заправский следователь, начал копаться в своей родословной по отцовской линии. После многих экскурсов в темную глубину времени ясно обрисовалось мое родословное древо...

Примерно в конце семнадцатого века в Тимонихе жил крестьянин Петр. Надо думать, в детстве он еще захватил «смутное время» и разор наших деревень отрядами пана Песоцкого в 1612 году. То, что Тимониха существовала уже

в шестнадцатом веке,— несомненно, но с какого времени — неизвестно. О своем предке Петре я не знал ничего. Петр и Петр, даже без фамилии, поскольку фамилии тогда были не нужны. А вот об Иване сыне Петрове уже известно больше, хотя я так и не смог установить, крепостным он был или черносошным.

«Вологодские Губернские ведомости» в 1737 году сообщают: «...Церковь Николая Чудотворца что на Сохте. У попа Павла Александрова в девяти деревнях... обретается 226 человек. Поместья Михаила Александровича Протасьева деревни Лобанихи 40 человек, деревни Тимонихи 51 человек, деревни Гриденской 11 человек». Далее сообщалось, сколько крестьян в поместьях Михаила Бахметова (деревни Вахруниха и Гриденская), Федора Малечкина (деревня Пичиха), Ивана Никитина и Петра Яковлева Самариных (деревни Алферовская и Помазовская). В Сохотской волости числилось 9 священнослужителей, «крестьян причастившихся 138, крестьян не причастившихся 149». Непонятно, что это были за поместья и почему жители одной деревни могли принадлежать разным поместьям. Вероятно, это шло еще от начала семнадцатого века, когда зачастую одна деревня принадлежала по жребью двум поместным владельцам. По-видимому, в той же деревне могли жить и черносошные крестьяне. О поместном владельце Протасьеве, сколько я ни допытывался, никто в Тимонихе ничего не знал и не помнил. Что за Протасьев? Почему Тимониха числилась в его поместье?

Крестьянин Иван Петров дал начало моей фамилии. У него было три сына: Василий Иванович, Лаврентий Иванович и Савелий Иванович — все Петровы. У Василия Ивановича родился сын Мишка по прозвищу Пилигрим, дочь Сашка-Васиха и Марютка. У Савелия был один сын — Степан, у Лаврентия же Ивановича дочь Наталья и сын Федор Лаврентьевич, то есть мой дед. Лаврентий Иванович — прадед — имел черную избу, срубленную из толстых в два обхвата бревен... Моя мать хорошо помнит ее. Широкие, чуть не в аршин, тесаные лавки опоясывали стены, глинобитная печь дымила прямо в потолок, дым выпускали в большое отверстие в стене, называвшееся челисником[1]. У самой избы стоял колодец, в котором уже я, чтобы не бегать на речку, испытывал удочки на грузило. К избе был пристроен большой хлев. Лаврентий Иванович имел

[1] От слова чело.

какой-то надел земли, лошадь и корову, потому что не иметь всего этого было нельзя — уж пусть простит эту вольность прадеду тот, кто обвинил меня в кулацкой идеологии.

Все наши мужики были хорошими плотниками. Считалось великим позором, если ты не умеешь рубить угол в лапу и в коровку, делать дровни, насаживать топорища, гнуть черемуховые дуги и т. д. Это мастерство пригодилось русским и нерусским промышленникам: мой дед Федор Лаврентьевич еще мальчишкой ходил «в работу», плотничал, чтобы заплатить хоть часть податей, завести сапоги, купить косы и серпы, сатину на ворот к рубахе. Потому что и в более справных семьях рубахи шили холщовые, только передок, что на виду, вшивался сатиновый. Сапоги же многие носили только по праздникам. И то, если весной шли в церковь, то топали босиком, несли сапоги на плече и надевали их лишь у церковной ограды.

Федор Лаврентьевич, женившись на Александре Фоминишне — моей бабке, наточил топор, долото, сложил в мешок сухари и пешком ушел строить Северную дорогу. Фоминишна осталась одна с двумя детьми, в том числе с моим будущим отцом. Она одна пахала надел, одна рубила лес, доила корову, косила траву, молотила — всего не перескажешь. (Я хорошо помню бабушку Фоминишну, она умерла во время войны.) Моего деда Федора Лаврентьевича убили грабители на строительстве железной дороги в 1905 году, когда моему отцу было год с небольшим. Отец, Иван Федорович Петров, начал свою карьеру с того, что сменил фамилию. Была и такая мода. За светлые волосы его прозвали зайцем. Заяц белый, белов, Ванька Фоминишнин, Белов. Так его называли в деревне. У Фоминишны здоровье было железное, даже при белых мухах бегала босиком. Будучи вдовою, вырастила-таки троих деток. Ваньку Белова так и записали в приходской школе,— не Петров, а Белов. Он с великим трудом проходил в школу три весны, надо было пахать и сеять. Годам к тринадцати научился владеть топором и тоже частенько ходил «в работу», то есть бурлачить. Молодым парнем он начал рубить дом. Потом они с матерью дорубили дом и срубили еще амбар и баню. Потолок, окна и пол летней избы доделывали уже мы со старшим братом Юрием, но так и не доделали, разъехались... Мать продала дом Наталье Самсоновой за 30 рублей новыми.

Отец женился в двадцать седьмом, когда вместе с баб-

кой они только что поставили зимнюю избу заместо дымной клетины Лаврентия. А уже в двадцать девятом вступил в колхоз. Тимонихинцы в одну кучу свалили хомуты, куриц, вожжи, ярушек, супони, одни лишь коты остались в частном пользовании. Это было нелепо, смех стоял на всю волость, перемежаясь с мужицкими матюгами и бабьим ревом. Но что было, то было, из песни слова не выкинешь.

Фоминишна отдала в колхоз корову, лошадь Карюху, хомут, дровни, седелку, дугу и шлею. В нашем хлеву сделали четверы ясли (по количеству углов) и добавили еще трех колхозных коров. Фоминишна ходила доить коров, но не в свой хлев, а в чужой, в другую деревню. В свою очередь, из другой деревни со своими ведрами приходила в наш хлев другая обряжуха...

Когда вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», колхоз распался, кур, овец, коров и лошадей начали хватать и тащить по домам. Было и еще много смешных и трагических эпизодов в жизни Тимонихи. Когда-нибудь я опишу их подробно. Смех смехом, а годы шли. Коровы доились, цвела рожь, рождались ребятишки, играли по праздникам гармони, а по будням люди трудились самозабвенно.

Однако нужда, как и раньше, гоняла моего отца с топором на заработки. Мы его не ждали, рождались по очереди, и ему приходилось самосильно лупить топором, рубить бараки для строителей, зарабатывать нам на ситчик и на налог государству.

Проработав месяца три где-нибудь на Судострое, в Соломбале, в Москве или в Печоре, отец вновь приезжал в колхоз, поскольку не мог долго без родины.

Однажды весной он твердо решил никуда больше не ездить. Бригадир закрепил за ним на время сева хорошую крепкую лошадь. Отец радовался этой лошади, но перед самым выездом в поле ему нарочно, назло, дали какого-то одра. Отец выехал в поле, попробовал пахать, но пахать было нельзя, и он напился. Один еще холостяцкий его дружок, дорвавшийся до власти, завидуя отцовской независимости, кричал:

— Ты, Заяц, подожди, мы сдерем с тебя пыжиковую-то шапку!

Но ведь у Полярного круга, где отец плотничал, пыжиковая шапка вовсе не была роскошью в те времена!

Отец опять уехал. Уехал только из-за того, что на него кричали, потому что не любил, когда на него кричали.

Между тем в Тимонихе старые хомуты износились, а новых почти не делали. С часу на час ждали железных гнедух и обещанной мировой революции. Железные же лошади рождались туго: лишь в тридцать девятом году я бегал глядеть первый колесник, пришедший молотить в Пичиху. Примерно около этого времени отец вновь приехал домой, работал бригадиром. Я помню, как, вернувшись как-то с улицы, жевал горбушку. Пришел какой-то дядька и спросил, дома ли отец.

— Он на дворе, кожу делает,— простодушно сказал я. И вдруг Юрка, старший брат, повел меня в куть и дал мне сильную тюму в бок. Я ревел не от боли, а от обиды, не зная, за что была дана эта «тюма». Уже потом узнал, что за длинный язык. Нас к тому времени было четверо, не считая взрослых. Имелась корова и теленок. Чтобы сшить восемь пар сапог, нужен был не один теленок, а по крайней мере четыре. Теленка отец зарезал, а шкуру тайком выделывал на сапоги. Шкуры, даже овечьи, в ту пору надо было все без исключения сдавать государству, их реквизировали. Я помню и сейчас, как мы носили сапоги по очереди. Но выделанная отцом кожа исчезла из предбанника. Ее унес тот же упомянутый тип. Он *тайно* унес эту кожу и присвоил ее. Какое странное сочетание! Одно и то же лицо порой владело и хапающей и карающей рукою. Обычное воровство он с полной искренностью считал исполнением законности. Вскоре отец снова решил уехать, но поднялась война. (Помнится, после ранения он приезжал домой на несколько дней, и тогда, мальчишкой, я впервые услышал от него о «Тихом Доне», который он прочел в госпитале, и о «Теркине», который печатался тогда в военной газете.)

Он метался между городом и деревней всю жизнь, пока не сложил голову на Духовщине в сентябре сорок третьего. Вернулся-таки к земле, не к родной вологодской, а к смоленской (одна стать!), пусть будет она ему лебяжьим пухом. Речь не о том. До самой великой войны он жил, раздираемый противоречивыми чувствами. Из деревни бежал в город, из города тянуло обратно. Ни там, ни тут не был хозяином собственной судьбы, потому, наверно, и пил водочку. Он плотничал в Сокольниках, когда в голодный тридцать шестой в нему в Москву приехала моя мать. По воскресеньям они ходили по громадному парку в Сокольниках, словно по родимой поскотине. Отец все говорил, что увезет нас всех жить в Москву.

Фашистская пуля поставила черную точку на всех от-

цовских противоречиях, и теперь мне приходится расхлебывать эти противоречия. Смогу ли, хватит ли у меня сил?

Об этом я думаю у своей березы. Она пока еще зелена и живет, как и мое родословное древо. Но дерево живет, пока у него есть корни. А корни моего родословного дерева подрублены, они ушли на шпалы железной дороги, сгорели в жестоком военном костре, и я теперь не крестьянин, как не крестьяне мои братья и племянники.

Вспомнилось, как после семилетней школы меня неожиданно сделали счетоводом. До сих пор почему-то краснеют уши, когда вспоминаю это время, эту контору, оклеенную плакатами.

Дело было в том, что прежний счетовод Саша Рябков уехал в Архангельск, ставить на эту «должность» было некого, и жребий пал на меня. Мне было пятнадцать лет, образование семь классов, и посему сделали меня счетоводом. Меня распирала гордость, впервые в жизни в сердце шевельнулся ядовитый червяк тщеславия. Начальство, как же!

Вся колхозная бухгалтерия была еще до меня безнадежно запутана. Я день за днем запутывал ее еще больше. Было приятно чувствовать себя начальством, но душу воротило от скучных лицевых счетов, ведомостей и квитанций.

Помню, Саша Рябков перед отъездом сдал мне штамп, ключ от шкапа, и весь вечер на игрище не сходил с пола, плясал под мою игру и пел:

Не ходи, машина, к лесу,
Не расстраивай меня.
Без тебя, машина, знаю,
Что чужая сторона.

«Машина» увезла его в Архангельск, а я остался. Особенно скучно было днем, когда все люди были на работе. Хозяйка, бобылка Вера, протопив печь, уходила в поле. Шуршали тараканы, в голове звенело от угара. Куры за тесовой перегородкой клевали хозяйскую простоквашу... Вместо того чтобы сводить дебет с кредитом, я писал какие-то стихи, чертил схемы ветряков и буеров, изводил колхозную бумагу. Вытирал из окурков махорку и учился курить... Приходил председатель, я чистосердечно подмахивал фальшивые документы, мне казалось тогда, что в мире не существует обмана. Естественным казалось и то, что за центнер сданного ячменя или ржи Государственный банк переводил на текущий счет колхоза по 70—90 копеек.

Все бабы были в долгу у колхоза, приходили просить

зерна, и мы выписывали им от полутора фунтов до пуда, смотря по обстоятельствам. Это был сорок девятый год — первый год моей юности. Я тогда искренне верил в мудрость плаката, висевшего на стене: «Уборка дело сезонное, и она не любит ждать. Убрал вовремя — выиграл, опоздал — проиграл». Странно, земледельцев с тысячелетним стажем учили тому, что «уборка дело сезонное».

Меня все время куда-то тянуло.

Однажды, увидав в газете объявление о приеме в ФЗО, я написал заявление, адресованное общему собранию колхоза. Многие были против, но проголосовали, к моей великой радости, «за». Контора опять осталась без начальства...

В Пичихе я брожу по тому месту, где она стояла, и думаю, почему бабы на собраниях в общем-то легко отпускали нас в города. Тужат, охают, кричат, а голосуют все-таки «за». Отпустили они и меня, а вот сын Николая Андреевича Иван так и погиб, не повидав белого света. Вновь, с горечью вспоминая последнего Ивана Тимонихи, я думаю об одной из причин так называемого сельского комплекса неполноценности. А существует ли вообще такой? Нынче модно болтать о комплексах. Но я сам испытал когда-то это нелепое чувство стыда за себя (с какой бы, кажется, стати?), эту неуверенность, замкнутость. Приехав впервые в районный центр, я, помнится, не знал, куда ступить, что сделать вначале, что после.

Для того чтобы получить паспорт, кроме справки по форме № 10, нужны были и «метрики», то есть свидетельство о рождении. В наших местах детей колхозников в тридцатые годы частенько вообще не регистрировали, юридически я как бы и не существовал. Когда я достиг того возраста, что мог делать подростковые работы, меня записали в колхозный отцовский лицевой счет, где велся учет заработанных нашей семьей трудодней. Только год рождения указали ошибочно, не 1932, а 1933-й. Месяц и день рождения я придумал себе сам, 23 октября, поскольку мама и бабка Ермошиха сказали, что я родился то ли за неделю до покрова, то ли неделей позже. Такую справку из колхоза я и представил в загс Харовского района Вологодской области. Дама, сидевшая за барьером, факту моего рождения не поверила и отправила меня обратно домой, но я был настойчив и пришел снова. Тогда она все-таки сделала запрос в Вологду в областной архив. Но наша Никольская церковь к тому времени, когда я родился, не действовала

(меня крестил подпольно какой-то странствующий священник), потому в приходской книге метрической записи о моем рождении не существовало. Дама обозвала меня колхозником и отправила опять домой (65 километров). Так началась моя эпопея с метриками. Но хроническую глупость просвещенных мещан, употребляющих слова «колхозник» и «деревня» лишь в ироническом смысле, я замечал и в шестидесятых годах, встречается она и теперь. Прибавим к этому, что многие родители твердят сельскому подростку: «Учись, а то будешь, как мы, всю жизнь навоз возить!» Припомним заодно и то, что в школах, в кино и по радио многие годы говорили больше о летчиках и геологах, чем о слесарях и доярках, да прибавим сюда традиционную северную крестьянскую стеснительность. И тогда вовсе неудивительным покажется существование упомянутого мною сельского комплекса неполноценности.

А кто не стремится избавиться от комплексов? Иван, который просил меня помочь уехать из Тимонихи, может, никуда бы и не поехал, а его младший брат Саша вернулся бы из армии домой, если б... Если б в деревнях так же торжественно вручали паспорта при исполнении шестнадцатилетия, как это делается в городах.

Мне вспоминаются курьезные случаи моей работы в комсомоле в городе Грязовце: девушка-колхозница, чтобы уехать к любимому человеку, выходит замуж за другого, уезжает из колхоза и разводится. Как отнесся к такому делу тот, первый,— неизвестно. Хорошо помню одного парня, который совершил хулиганство и был недоволен, что, взяв на поруки, мы уберегли его от тюрьмы. Он говорил: «Я бы год-два отсидел, мне бы паспорт дали, ехай куда хочу». Не удалось, до суда дело довести не позволили...

Мы почему-то в те годы забывали, что паспорт, воспетый В. Маяковским,— это не только документ, дающий право передвижения. Это еще и документ, где фиксируется подлинность национальности, даты рождения, имени и фамилии, подлинность места жительства. Чем он хуже, вологодский колхозник, своего же родного брата, который живет в Вологде?

VIII

Война обошлась вологодской земле слишком дорого. Можно насчитать сотни таких деревень, как моя Тимониха, куда не вернулось после победы ни одного солдата.

В тылу жены, матери и старики сделали все, что было в их силах, чтобы разгромить и выгнать врага. На собранные вологжанами средства были построены авиасоединение «Героическому Ленинграду» и танковая колонна «Вологодский колхозник». Вологжане день и ночь отправляли составы с продовольствием, хотя и сами ели не досыта... У меня на родине, в глубоком тылу, погибли от голода мать Доськи Плетнева, Алеша Енин (так звали Алексея Евгеньевича Агафонова), Енафья Федотова, мать Николая Андреевича. Моя бабка Фоминишна тоже умерла от болезни, связанной с недоеданием. Да разве перечислишь их всех!

Гитлер хотел снести с лица земли Ленинград и Москву, а оставшихся русских загнать в топи западносибирских болот.

Совсем недавно, читая военные мемуары, я узнал, что в ту самую весну, когда Доська Плетнев, оставшись сиротой, едва-едва удержался в живых, населению поверженного Берлина было выделено 105 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мясопродуктов, 4,5 тысячи тонн жиров, 6 тысяч тонн сахара, 50 тысяч тонн картофеля, 4 тысячи тонн соли и 5 тысяч дойных коров[1].

У Плетневых и у Федотовых коров не было даже и до войны, а соль, я помню, занимали в Тимонихе спичечными коробочками, в войну же вываривали рассол из деревянных кадок, в которых солили когда-то грибы...

Серега Пудов, мой отец Иван Федорович, Николай Баров и многие, очень многие другие мои земляки погибли с оружием в руках. Вероятно, они даже не представляли размера страданий, выпавших на долю их престарелых отцов-матерей, их сестер, наконец, жен и детей.

Константин Батюшков полтора века тому назад, предвосхищая мои сегодняшние чувства, писал:

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Рядом с куполами и башнями Прилуцкого монастыря, за стенами которого лежит прах поэта, расположена взлетная полоса Вологодского аэропорта. Странное чувство испытываешь при виде взлетающих в небо «ЯКов» на фоне монастырских стен. Около ста лет тому назад под Вологдой же, в маленькой усадьбе Котельниково, капитан первого ранга Александр Федорович Можайский вынашивал дерзкий замысел — создать летательный аппарат тяжелее

[1] Маринов А. Знамена свободы.— Знамя, 1975, № 1.

воздуха. Здесь он вычерчивал схемы первого в мире самолета... И вот в 1884 году, под Петербургом, впервые поднялись в воздух машина и человек, вместе.

Можно ли считать совпадением то, что всего через десять лет под Вологдой, в семье крестьянина родился будущий создатель мощных ИЛов?

Могучие крылья сегодня за самый короткий срок доставят тебя в любой район области. Старинные русские города встретят гостя по-здешнему хлебосольно: древний Великий Устюг, уроженцы которого осваивали сибирские, дальневосточные и североамериканские берега. Дохнет на тебя свежестью великих северных рек. Тихая Тотьма, окруженный лесами Никольск, Белозерск, озерная Вытегра, Устюжна...

Пространства стали доступней, дороги сократились во времени. Но становится ли от этого доступней человеческий мир? Однажды в течение одного дня мне пришлось побывать в столицах трех европейских государств, а вечером еще успел поглазеть на публику в Марсельском порту. Но за весь день, из-за утомления и спешки, почти ничего не осталось в моей памяти...

Поглощение пространства, «охота к перемене мест» стали нынче модой. Многим кажется, что чем больше он изъездит, тем культурней и шире станет его кругозор. Зачастую мы стремимся вдаль, не желая замечать того, что рядом. Считаем достойным внимания только то, что не свое. Но ведь доступность того, чужого, часто только мнимая, иллюзорная, подлинного узнавания не получается. «Ездил в Суздаль», «Был в Ферапонтове», «Собираюсь в Париж». Вот так же многие люди считают, что познали Льва Толстого и Федора Достоевского, посмотрев несколько кинофильмов, поставленных по произведениям величайших в мире писателей.

К сожалению, полуобразование и полукультура прекрасно уживаются с излишней самоуверенностью и недостаточной скромностью. Активность таких людей также бывает поразительна: не успеешь открыть рот, чтобы сказать слово, как тебе уже объяснили, что к чему и как ты должен думать, если не желаешь прослыть профаном. Такие люди знают почти все: в каком доме должен жить нынешний крестьянин, что ему носить по будням, а что по праздникам, стоит ли ему держать корову и сажать капусту.

Дискуссии о судьбе крестьянина идут одна за другой, спорят «до потери сознательности», как говаривала покой-

ница Раиса Пудова. Например, о той же, набившей оскомину проблеме сселения. Зуд прогрессивности не дает покоя таким спорщикам. Уверен, что, если бы им власть в руки, они бы тотчас поселили людей в палатках, снесли с лица земли тысячи деревень, а на больших дорожных перекрестках начали бы строить по одному-два небоскреба. И баста. Многих сверхактивных доброхотов и «знатоков» сельского хозяйства просто не устраивает естественный, нормальный ход событий. Им требуется немедленный «форсаж», иные же согласны только на срочный какой-то переворот, на ломку, и не иначе как на коренную. (Для этих важно сломать, уничтожить то, что есть, а то, что будет после, для них не так уж и важно.) Помню, с какой энергией обсуждался в прессе вопрос, в каком дому жить колхознику. С верандой или без, с русской печью или с котельной? Чего греха таить, я тоже сподобился участвовать в этой дискуссии. (Помнится, примерно в это же время и с тем же пафосом в «Литгазете» появилась статья о пользе дирижаблей. Газетчики и специалисты всерьез разглагольствовали о том, строить ли дирижабли или пока не строить, так сказать, подождать). Такие, чисто прикладного характера, разговоры и взгляды на деревню, не лишенные некоего, я бы сказал, спортивного азарта,— не редкость и до сих пор. Но можно бы оставить в покое журналистского доброхота, не знающего разницы между пшеном и просом, тренирующего свою социальную активность на сельских проблемах. Можно бы... Если бы он не находил себе поддержки снизу, из самой, как говорится, глубинки. Ведь для руководителя-бюрократа (будь он бригадиром, председателем и далее — вплоть до главка и министерства) просто клад такие, например, идеи, как *немедленное* сселение тысяч маленьких деревень. Я подчеркиваю: немедленное. Потому что медленное их никак не устраивает. В самом деле, разве не заманчиво? Сселить (то есть уничтожить) все мелкие деревни в районе, сделать два-три поселка городского типа. Ликвидировать все пекарни, бани, сельские школы, магазины, лавки, больницы и медпункты. Поставить на поток руководство, обслуживание, образование и здравоохранение. Не надо ездить ни в командировки, ни мотаться по району. Любой вопрос можно в полминуты решить по телефону. Собрать актив или собрание — тоже дело минутное: зачитал директиву, отзвонил и с колокольни долой, смотри себе телевизор. Да о такой системе только и мечтает бюрократ! То есть человек ленивый или глупый, тот,

кто не умеет или не хочет быть настоящим руководителем. Зачем строить сельские школы? Возиться со строителями, доставать шифер, цемент и трубы? Не лучше ли собрать детей со всего района в интернат да и учить? Лучше, конечно. Для бюрократа. И для ленивых родителей, которым высвобождается время для пьянки. Свез кучу детей в интернат — и всю зиму в ус не дуй: там их накормят, оденут и спать уложат вовремя. А то, что они уже потеряны для деревни,— не в счет.

Тут мне приходит на ум собственное воспоминание о раннем детстве. Помню, как страшно, как горько и тревожно было, когда мать уходила из дома на целый день. И как радостно, удивительно легко становилось на душе, когда она возвращалась!

Мир вновь становился счастливым и солнечным. А ведь дети, живущие в интернате, не видят родных по восемь-девять месяцев в году.

Не знаю, как чувствуют себя дети, с семи лет живущие в интернате. Может быть, они и впрямь счастливее вдали от семьи и родного дома. Но то, что это не идет на пользу родителям, в этом никто меня не разубедит.

Как сейчас помню Шурку Федотову — сверстницу моей сестры. Я был чуть постарше и уже стеснялся играть с ними. А они целыми днями пели и верещали то в нашем, то в другом доме, летом плескались в речке, ходили по ягоды, зимой после школы забирались на печку, декламировали стихи и опять пели. Откуда-то они узнавали уйму песен:

Гудела степь донская
От ветра и огня,
Казачка молодая
Садилась на коня.
Прощай, отец мой родный,
Прощай, старуха-мать,
Я еду за свободу,
За землю воевать.
Сказала и помчалась
По ветреной степи,
А ей вослед шумели
Степные ковыли.

Голоса девочек так ясно звучат у меня в ушах и до сих пор. Шурка Федотова, как и все мы, счастливо (хотя бедно и голодно) пережила войну и жуткие 45—46-й годы. Позднее ее мать, Марья, купила другой дом, в Алферовской, а Шурка вышла замуж в Дружинино. Она родила десятерых детей, стала матерью-героиней. Все дети, дос-

тигнув семи лет, отправлялись в Харовск в школу-интернат. Отец их Арсений Борисов работал лесником. Однажды в сентябре двух мальчиков он отвез в Харовск, одного в первый класс, другого — в третий. Через неделю они решили сбежать домой. От Харовска до Дружинина без мала семьдесят километров. И вот два маленьких существа, два пилигрима, идут домой, стараясь не ступать на большую дорогу. По тропкам, обходя деревни, чтобы их не увидели взрослые и не вернули обратно. Они прошли шестьдесят два километра! Не знаю, где и как ночевали. За один день и взрослый не смог бы столько пройти. До дома оставалось всего четыре километра, когда их нагнал «газик». Ребят посадили в машину и тут же увезли обратно, не заехав даже к отцу и матери в Дружинино.

Арсений Борисов из-за бездорожья не сумел однажды явиться вовремя в Харовск к лесному начальству и получил за это выговор. Позднее поссорился с лесничим из-за лесных посадок, и его уволили со службы, на которой он без замечаний провел двадцать лет. Он подал в суд, требуя восстановления на работе. Суд отказал. Лесник выпивал и раньше, но умеренно, а после суда пил много дней подряд и однажды в диком, пьяном безумии убил жену...

Теперь могилка Шурки уже обросла травой. Моя сестра посадила на ней какие-то цветы, а мне все почему-то кажется, что трагедии бы не произошло, если б дети Арсения и Шурки жили дома, то есть в семье, ходили бы в свою школу, которую нынче совсем закрыли.

Так или иначе, сельсовету теперь не нужно заботиться о дровах для школы. Роно тоже освободилось от этой обузы. Да и в Дружинине, кстати, еще один дом опустел — все ближе к ликвидации «бесперспективного населенного пункта».

Надо ли объяснять, сколько вреда приносят подобные «преобразователи» при определенно складывающихся обстоятельствах? Самое интересное в том, что люди, им возражающие, всегда находятся в невыгодном положении: их можно легко обвинить в сопротивлении новому, в отсталости, в патриархальности и т. д. О том, что новое вовсе не всегда бывает хорошим (так же, как и все старое вовсе не обязательно должно быть дурным), об этой истине мы подчас забываем. Я помню, как в наше сельхозпроизводство под маркой нового и передового внедряли то одно, то другое, за короткий срок намереваясь сделать в сельском хозяйстве революцию, не меньше. Но если мно-

гих людей можно как-то временно убедить (и зажечь!) ложной в своей основе идеей, то природу-то не обманешь, гони ее в двери — она влезет в окно.

У меня на родине уже и не вспоминают те периоды, когда, например, судьбу полеводства всерьез хотели решить при помощи торфоперегнойных горшочков, а в животноводстве — при помощи кроликов. А ведь всех, кто этому возражал в то время, называли отсталыми элементами: прикуси, мол, язык! Ты мыслишь устарелыми категориями, ты ретроград.

Опасность таких (и не только хозяйственных) ошибок, на мой взгляд, таится в максималистском способе мышления. Либо — либо, рассуждает нетерпеливый, горячий, нередко шумный поборник нового. Либо ты передовой человек, либо реакционер. Либо ты против клеверов, либо «за». Говори сразу. Такие люди очень хорошо начинают авралы, кампании, но они же первые и выдыхаются. На кропотливую, долгую и упорную работу у них не хватает терпения.

К счастью, времена авралов прошли. Мода на руководителей-крикунов тоже позади, хотя «силовые» приемы, администрирование и волюнтаризм в сельском хозяйстве еще далеко не изжиты. Интересно, что сухарь-администратор, вырождаясь в откровенного бюрократа, отнюдь не считает себя отсталым элементом, он искренне недоумевает, когда его в глаза называют таковым, снимают с должности и т. д. Вся новизна для бюрократа заключается в постоянной смене кампаний. Не закончив одну, он тут же радостно начинает другую. Радостно, потому что не надо доделывать! Взаимозаменяемость, суета, частая перестановка в должностях тоже являются выражением новизны для классических бюрократов. Для не умеющего (или не желающего) признать ошибки велико искушение начать все сначала! Начал, но не смог до конца довести дело, запутался, а то и просто нагрешил в одном месте, в другом снова, затем в третьем, четвертом. Так и идет дело до самой пенсии.

IX

Однажды я вздумал переписать всех председателей, которые работали в моем родном колхозе. Всех, с начала коллективизации. Тех, которых я хорошо знал или помнил, набралось двадцать четыре. Но мама и бабушка Афанасья

Озеркова добавили к моему списку еще семерых. Двоих из них я совсем не знал, пятерых знал, но не знал, что они тоже были председателями.

Ничего себе! Если учесть, что нынешний председатель Николай Павлович Пучин работает несколько лет, и если считать годом рождения колхоза тридцатый, то получается по председателю на год. Одно это уже говорит, что это за должность, что за работа. И если б это было в моих силах, я бы поставил памятник этой должности, этому *образу,* как в Испании поставили памятник бессмертному образу Дон-Кихота, созданному великим Сервантесом. И пусть бы стоял этот памятник где-нибудь на главной площади ВДНХ или на каком-нибудь холме у Московского автокольца! Когда-то в молодости, когда еще хотелось писать стихи, я пытался в рифму сказать об этом:

Суров и озабочен,
В болотных сапогах,
В ходу до полуночи,
С полночи на ногах,
Он ходит загорелый,
Как будто заводной,
Кивает поседелой,
Тяжелой головой.
Доярки и льноводы
К нему на первый суд
Несут свои невзгоды
И радости несут.
По той простой причине
Ему нельзя болеть...
В нелегком этом чине
Он ходит много лет.
И нет границ такому
Терпенью и уму.
Я памятник живому
Поставил бы ему.
Чтобы стоял всегда он,
Не умирал в веках,
В кепчонке полинялой,
В болотных сапогах.

Стихи получились не ахти какие, наивными они кажутся мне и сейчас. Да и приврано: мало было людей, которые ходили в «этом чине» много лет, и не ко всем ходили доярки со своими радостями и болями.

Почему они, председатели, так часто менялись? Как, впрочем, и бригадиры и секретари райкомов? Смотрю в свой список и угадываю странную закономерность. Тех, которые действительно болели за колхоз, которых и сей-

час вспоминают люди добром, почти не осталось в живых. Другие же, пропивавшие колхозное добро, сажавшие в тюрьму за охапку сена и руководившие хозяйством с помощью записок,— живут и здравствуют. Даже заправляют иногда народным контролем... Правда, большинство живет не в *тех* местах, где когда-то руководили, а в других.

Из всего этого — один вывод: бюрократу жить легче. Инфаркты редко посещают таких людей, у бюрократа даже болезни свои, особенные и далеко не смертельные. Я уже говорил (и готов повторять еще и еще), что бюрократ чувствует себя как рыба в воде там, где существует система обезлички, где кадры тасуются, словно колода карт, то есть в атмосфере неустойчивости. Дух постоянства и прочности, память, огласка и соблюдение добрых традиций для таких руководителей то же самое, что солнечный свет для филина. В условиях прочности и постоянства сразу обнаруживается несостоятельность и репетиловщина, становится невозможным дутый авторитет, уже нельзя пустить пыль в глаза, отделаться вымученной сводкой или бойкой речугой на районном активе. Ведь что значит год или несколько месяцев для колхозного председателя? Да ничего, всего один укос клеверов в сложном и длительном севообороте. Один отчет на общем собрании, где можно сослаться на дурную погоду и вновь надавать уйму всяческих обещаний.

Теперь совершенно отчетливо видна новая закономерность: чем талантливей и добросовестней председатель, тем дольше он руководит колхозом и тем надежнее экономика этого хозяйства. За примером не нужно уезжать далеко по области. Шапша, то есть колхоз «Большевик», соседствует с нами, я давно и хорошо знаю тамошнего председателя Бориса Николаевича Дмитриева. Это как раз тот (местный) человек, которому вовсе не требуется перемещение на другую должность или переезд в другое место, чтобы спасти собственный партийный и руководящий авторитет.

Ум и толковость вкупе с добросовестностью исключают администрирование в его работе. Бюрократизмом тут и не пахнет. В колхозе уже много лет с упрямой настойчивостью облагораживаются земли, повышается поголовье и продуктивность скота, внедряется механизация, ведется строительство. И никакой особой проблемы сселения для Дмитриева, насколько мне известно, не существует, коли-

чество деревень не мешает ни мелиорации, ни созданию крупных животноводческих комплексов...

И вот, чтобы завершить «бюрократическую» тему, я вспомню еще одного бывшего нашего председателя, ныне покойного Николая Павловича Шитова. По весенней распутице, пешком прибыл он с женой и детьми в наш колхоз из Кумзера — тоже соседней местности. Прибыл, как говорится, к разбитому корыту. Была тогда странная мода поднимать экономику за счет леса. Тысячи кубометров колхозного леса (который никто не выращивал, его веками создавала природа) были сплавлены на Украину. Взамен украинцы присылали нам кукурузу. На что легче! Руби вековые елки и сосны да отправляй, не надо ни сеять, ни пахать, ни коров доить. Один вагон кукурузы мог полгода кормить колхозных коров. Маховик раскручивался, с каждым годом лес продавали больше и больше.

Н. П. Шитов, конечно, не смог с маху остановить этот маховик, пришлось и ему приложить руку к лесной торговле. Но сколько лет можно жить за счет природных богатств? Надолго ли хватит елок и сосен? Что мы оставим вместо лесных боров нашим правнукам? Психология человеческая и тем более бюрократическая устроена так, что рука тянется к тому, что ближе лежит, что легче и быстрее взять. Думать о будущем? Наплевать, пусть в Москве о нем думают. Однако Николай Павлович думал. Уж он-то, потомок многих поколений крестьян, знал, как развращающе и постыдно лесное действо, как пагубны для хлебороба забвение земли и поиски легких, меркантильных путей. Люди и до сих пор добром вспоминают Шитова. Но он тоже не усидел в нашем колхозе. Когда началась очередная кампания, Николай Павлович, никого не желая обманывать, категорически заявил, что сеять кукурузу (опять она!) не будет. Он получил за это строгий выговор с занесением в учетную карточку. Обиделся и уехал из района... Однако смог заглушить обиду, перебороть себя, хоть такие вещи и не проходят бесследно.

Николай Павлович Шитов, директор совхоза «Красная Звезда», известен теперь всей области как один из лучших, грамотных и умелых руководителей сельского производства. Он редко надевает пиджак с многочисленными орденами. Скромен, почти застенчив этот человек, говорит негромко, лицо у него бурое от загара — признаки отнюдь не бюрократские.

Уже тысячелетиями исчисляется стаж работы в дерев-

не и у таких людей, как Леонид Николаевич Бурцев — директор совхоза «Коротыгино», а также Герман Александрович Пономарев — председатель грязовецкого колхоза «Заря». Обоих я знаю с 1957 года и всегда удивлялся поразительной их несхожести: в характерах, в языке, манере держаться. Взаимосвязь между устойчивой продолжительностью председательской деятельности и экономическим ростом хозяйства очевидна. Как не вспомнить Василия Сергеевича Басникова, председателя колхоза имени XXI партсъезда Бабаевского района? Или Михаила Григорьевича Лобытова, председателя колхоза «Родина» Вологодского района? Журналист Александр Сушинов рассказывал мне однажды, как в контору к Басникову пришла женщина из другого, соседнего, колхоза. По какой-то причине она лишилась коровы, а свой, доморощенный бюрократ и не подумал позаботиться о судьбе колхозницы. И вот она идет в другой колхоз, а Басников тут же берет трубку и звонит соседу: «Слушай, у тебя что, молодняка нету? Я ведь дам ей, телку-то. У нас есть». Конечно же, молодняк имелся и у соседа, у него не было просто души. Или было слишком много лени, не захотелось возиться. Но если человек равнодушен к судьбе колхозницы, может ли он быть неравнодушным к судьбе колхозной земли? Хватит ли у него терпения годами возиться с мелиорацией, с удобрениями, терпеливо подбирать людей в полеводстве и животноводстве, вникать в каждую хозяйственную мелочь.

Разница между бюрократом и хорошим руководителем проста. Бюрократ очень охотно берет обязательства, но не выполняет, настоящий руководитель обязательства берет неохотно, зато выполняет их.

В колхозе «Родина» нынче весной засеяли 1414 гектаров и осенью с каждого из них сняли по 47,2 центнера. Эту цифру стоит переписать словами: сорок семь и две десятых! Четыре тысячи семьсот двадцать кило, без мала пять тонн или, сказать по-старому, почти по триста пудов хлеба с каждого гектара[1]. Если встать на полосе долгоногому мужику, отмерить по десять шагов туда да десять сюда, получится одна сотка, малый клочок. И если б рас-

[1] Совершенно неверен взгляд на русский Северо-Запад как на край малоперспективный для производства хлеба. Еще в XVII веке кокшеньгские, никольские и другие крестьяне производили товарный хлеб. Они сплавляли его через Устюг в Архангельск, торгуя с Норвегией. Поставляли зерно и на внутренний рынок.

ставить на полях «Родины» мешки с ее урожаем, то через каждые десять шагов стоял бы трехпудовый куль хлеба. А гектаров-то в «Родине» было засеяно чуть ли не полторы тысячи... Сейчас я спохватываюсь: не ошибся ли? Уж очень много.

Пересчитал вновь. Нет, все правильно.

X

Ответственность. Дважды, утром и глубокой ночью, под окнами моего дома с грохотом проходит оранжевый ДТ-54. Круглый год изо дня в день ездит на нем Африкан Иванович Миронов, веселый шутник, почти мой сверстник, мы вместе когда-то ходили по деревенским беседам. Сколько он с тех пор перепахал земли, сколько перевозил лесу, кормов, удобрений! Работает Миронов с такой истинно крестьянской легкостью, с наслаждением, что его не надо ни погонять, ни просить. Он активен, если говорить тем же бюрократическим языком. Ответственность? Да, она самая, но не та натужная, основанная на страхе или на самолюбии, а другая, идущая от человеческой совести, от человеческой сути. Не много надо от человека, если он начальства боится, а ты вот сам себя испугайся! Перед совестью своей ответь, сердце свое спроси... Другой тракторист (правда, он уже теперь не тракторист) пьяный заехал как-то в канаву, машина стояла дыбом, что-то сломалось. Трактор стоял в таком виде несколько дней. Я спросил хозяина, чего он не торопится выезжать. «А чего торопиться? Мне на ремонте больше платят...»

Вот так. Два человека, из одних мест, ходили на одни и те же беседы, а какая между ними жестокая пропасть!

И я вновь думаю о совести тракториста Африкана Ивановича Миронова. О председательской ответственности Михаила Григорьевича Лобытова и Бориса Николаевича Дмитриева, о своей собственной теперь уж писательской... Имею ли я право говорить о совести и ответственности других? Да и будет ли польза, если такое право у меня есть?

Не знаю... В таких раздумьях я частенько вспоминаю маленького пастушонка из гениального произведения Сервантеса. Пастушонок был привязан хозяином к дубу за то, что пропас овец. Как мог поступить рыцарь Печального Образа при виде такой картины? Конечно же, он немедля бросился на выручку пастушонка, разрубил путы и на-

казал хозяина. Если б на этом и кончилась история с пастушонком, было бы легче. Но она не на этом кончается, а пересказывать и цитировать классиков ума надо не много...

Я вспоминаю, как во время войны тоже не раз бывал пастушонком, как не любил это дело и как однажды тоже пропас коров. Их загнали в сарай соседнего колхоза, и моя мать должна была отвечать за потраву.

А сколько времени прошло после войны? Для многих из нас и этот вопрос звучит банально. Дескать, давно все ясно. Ясно, что после начала войны прошло тридцать пять лет, срок гигантский, и не только по нынешним временам. Выросли на земле города. Сместились понятия. Обуздана атомная энергия. Родились десятки новых государств и миллионы новых людей. Побеждены многие болезни, созданы грандиозные материальные ресурсы. К нашей чести, мы не только начали забывать войну, но и сделали довольно много, даже обстреляли Венеру.

Но вот гляжу я на свою родную деревню и вижу: война так наследила здесь, что еще и сейчас сжимается горло. Да, в Тимониху и другие наши деревни не вернулось с войны ни одного мужчины — вечная им память. Да, заросли кустами сотни гектаров великолепных лесных покосов, и в моей деревне из двадцати четырех домов осталось только шесть — все это, конечно, горько, но не о том теперь речь. Меня волнуют оставшиеся в живых и рожденные уже после великой народной трагедии. Инвалиды, у которых до сих пор болят старые раны; женщины, перенесшие страшные бедствия военной поры; дети, порой, зачатые на неспокойном ложе, во хмелю, ибо горькое зелье — нередкий спутник при народных потрясениях. Люди еще и теперь пережевывают горькую отрыжку войны, и мы не можем не замечать этого.

Я говорю главным образом о людях пожилых, поскольку молодежи в нашей округе нет, она у нас не задерживается. С кем бы ни говорил, все в один голос твердят, что жизнь пошла хорошая, только бы жить, а здоровья нет. Война в буквальном смысле сидит в печенках, многие старятся и умирают раньше срока.

Казалось бы, так ли уж велик возраст сорок пять — пятьдесят? Между тем в наших деревнях здоровая женщина такого возраста — явление редкое, у каждой то ревматизм, то болезнь сердца, то желудочное либо какое-нибудь другое заболевание. И мудреного тут ничего нет: я

помню, как женщина надрывалась на пашне, таская на себе плуги и бороны. Помню, как девчата тех лет целыми зимами мерзли на лесозаготовках, работали день и ночь без выходных и отпусков, голодные и холодные. Шесть, а иные и семь лет подряд ели они соломенные лепешки и всякую дрянь,— что тут мудреного?

Молча, без лишней поспешности надо бы снять перед ними шапку, земным поклоном почтить их канувший в Лету подвиг. А лучше всего послать на курорт или в санаторий. Но давайте, положа руку на сердце, спросим себя: много ли вологодских колхозников загорает на сочинских пляжах? Можно сказать с уверенностью, что немного. Вологодскую доярку на ялтинской набережной даже в январе надо искать с фонарем, в лучшем случае мы встретим там бухгалтера либо какого-нибудь работника сберкассы. Зато знатных и не знатных городских дам хоть отбавляй, ступить, как говорится, некуда. Я вовсе не за то, чтобы сделать Ялту для таких дам запретной зоной. Но разве не хватило бы места у Черного моря и нашим сельским труженицам?

Конечно, в деревне удивительно нелепо звучит по радио утренняя гимнастика. Ногу поднять, ногу опустить. Попрыгать, перейти на ходьбу. Тут давно уже все набегались.

Но по какому-то недоразумению, а может, по нелепой традиции мы привыкли думать, что деревенский воздух уже сам по себе целебен, что колхозник живет в общем-то на природе, а зубные кабинеты и санатории ему совсем ни к чему. Даже рассказы и стихи сочиняем о том, как некий Кузьмич, посланный колхозом в дом отдыха, не выдерживает там и дня, удирает со скуки обратно к своим лошадям и русской печке.

Оставим Черное море и его здравницы: это, так сказать, максимум желаемого. Поговорим о минимуме. Я имею в виду профилактику болезней, стационарное лечение хронических и профессиональных заболеваний, наконец — элементарную медицинскую помощь на селе.

Ежегодно я бываю в деревне Дружинино. Как раз здесь располагался когда-то медпункт для обслуживания населения десяти окрестных деревень. Чуть ли не в каждый год в медпункте появлялась новая фельдшерица, и каких только блондинок и брюнеток здесь не перебывало! Поработав год-полтора, девушка исчезала из Дружинина яко дым, и, естественно, пока не пришлют новую, медпункт был на замке. В эти довольно продолжительные периоды люди

лечились своими, подчас весьма оригинальными способами. Я знаю многих пожилых, да и не очень пожилых женщин, которые не спят по ночам, — так болят у них руки. Прежде чем идти на работу, они наливают горячей воды в таз и каким-то образом глушат боль в суставах. Если у ребенка появилась сыпь, бабка помажет его сметаной, и дело с концом. Вот с зубами труднее. Я уже говорил о том, как инвалид войны Федор Соколов, ныне покойный, лечил зубы, как «проклятый зуб гонял его по деревне взад-вперед», как сын его Мишка вытащил зуб сапожными клещами. Но ведь далеко не у каждого хватит мужества на такое испытание. И тут уж кто что придумает. Один шпарит зубы кислотой, другой лечится более доступным, магазинным способом. А местные юмористы рекомендуют лечить зубы дракой; мол, это средство и есть самое верное...

Однажды приехал в Дружинино Коля Лепехин — молодой, очень энергичный и способный фельдшер. Люди радовались, называли его по имени и отчеству, заботились, как могли. Я тоже радовался: наконец-то, думаю, приехал настоящий работник, теперь дело пойдет. И правда, Николай очень азартно взялся за работу. Он совмещал в одном лице терапевта и зубного врача, акушерку и фармацевта, санитара и патронажную сестру. Помню, прошло какое-то время, я зашел к Николаю за лекарством для своей маленькой племянницы. В тот день он делал ребятишкам прививки, был по-прежнему энергичен, но что-то появилось в нем новое, какая-то апатия или тоска таилась во взгляде. Я спросил его, как идет жизнь. Он шевельнул плечами, поморщился:

— Скучно!..

Крыша на медпункте провалилась. Коля работал и жил в избе одной старухи. Шприцы кипятил в сенях на керосинке, а небогатое оборудование хранил в бабкином комоде вместе с ее чайными чашками.

То, что в Дружинине скучно, я знал и до этого. Но я никак не ожидал той поспешности, с которой молодой специалист бросил все и сначала перебрался работать в ближний леспромхоз, а потом и вовсе уехал прямиком в Москву. С этих пор медпункт в Дружинине прикрыт. (Позднее его открыли в Тимонихе). От Дружинина до ближайшего медпункта в Азле — одиннадцать километров еле проходимыми проселками. Туда и здоровый-то добирается с трудом. Как-то у Анны К. заболели ноги. Женщина она одинокая, помогать ей некому, вся надежда на саму

себя. Надо работать. Но больные ноги не дают покоя. И она пошла в Азлу. Потратила день, пришла, а тамошняя фельдшерица была в Вологде — в отпуске. И вот женщина с больными ногами ничего не могла придумать лучше, взяла да и обратилась к колхозному ветеринару, который и дал ей какой-то мази.

От Дружинина до участковой больницы более тридцати, а до районной — без мала семьдесят. Теперь представим себе сенокосную страду, когда каждый час для колхозника дорог, а в семье вдруг заболел ребенок. И болезнь-то, может быть, пустяковая, а надо найти лошадь, отпроситься у бригадира и потратить на поездку день, а то и два. Подумают, поразмышляют, возьмут да и махнут рукой, авось и так выздоровеет. Да и вообще, здешний народ как-то равнодушно, порой наплевательски относится к собственному здоровью. Иные старики даже стесняются, что долго зажились и пропустили свою очередь умереть.

Помнится, встретил я в магазине покойную бабушку Юлию. Искренне стыдясь того, что она одна в таком возрасте зажилась на свете, бабка жаловалась, что вот, мол, умереть хочется, а смерти бог не дает: «Меня уж, батюшко, на том свете с собаками ищут, а я вот, дура, задержалася».

Но что говорить о бабке Юлии, если и более молодых, грамотных не тревожила судьба местного здравоохранения? Однажды, возвращаясь с партсобрания бригады, я намекнул коммунистам о медпункте, мол, ни в докладе, ни в прениях не было о нем ни слова. «А что,— сказал один из них,— нет медпункта, оно и лучше, хоть народ не избалуется. А то побредут все к фельдшеру, работать не будут».

Разумеется, при таком положении избаловаться трудно. И мне тут же припомнилась бешеная сирена машины «Скорой помощи», мчащейся по асфальту на выручку к пьяному, закатившему глаза шалопаю. Вспомнились знакомые городские тети, вызывающие врача на дом по случаю мигрени или легкого расстройства желудка. Вспомнились, и стало еще обидней за женщину с больными ногами. Почему же так получается?

Коля Лепихин уехал в столицу, его не докличешься. И вот, помнится, пошел я в деревню Когариху, где медпункт действовал. Молоденькая, очень милая Лариса Карымова рассказывала о своем житье-бытье, показывала новый,

только что выстроенный медпункт. Новый — еще не значит хороший. Кот, прижившийся здесь, открывает дверь в комнату собственноручно, если можно так сказать. Полы постланы плохо, в окна дует.

— Лариса, скажи откровенно, ты тоже уедешь? — спрашиваю я.

— Уеду.

— Почему?

— Весь наш выпуск живет в городе, ни одна девчонка в деревне не работает. Одна я.

— Да, но как же быть? Люди-то не виноваты.

— Другая приедет...

Другая приедет. Я знаю, что и другая не захочет здесь жить, а если и приедет, то поработает недолго, либо замуж выйдет, либо найдет работу в городе. Потому что даже и в городах медицинские работники среднего звена до сих пор дефицитны: фельдшера, акушерки, медсестры нужны в любой больнице. Таким образом, «другая», может, приедет, а может, и нет, что же остается сельским жителям? Ведь ветеринар далеко не всегда разбирается в человеческих болезнях...

Дружининский медпункт вовсе не одинок. По словам Вадима Евгеньевича Петрущенко — главврача районной больницы, в нашем Харовском районе закрыто немало медицинских пунктов. Не хватает фельдшеров, акушерок, медсестер. Медики же с высшим образованием не спешат ехать не только в сельскую местность, но не торопятся и в районные города и поселки. В разговоре с заместителем заведующего Вологодского облздравотдела я услышал новый для медицины термин: недоезд. Наверное, ни в одном медицинском справочнике нет пока этого слова. То есть недоезд или переезд, пожалуй, одно и то же. Суть в том, что некоторые врачи, выпускники медицинских вузов, просто не приезжали на работу, они самодеятельным путем устраивались там, где на улицах сплошной асфальт, а в квартирах теплые клозеты. Что же говорить о молоденьких девушках, выпускницах медицинских училищ и техникумов? Им также хочется и на танцы побегать, и замуж в свое время выйти. Никому неохота переться в лесную глушь, и, по-человечески рассуждая, их тоже можно понять. Написав эти строчки, я думаю: как все в мире относительно. Мы уступаем женщине место в автобусе, помогаем нести тяжелый чемодан. И одновременно восхищаемся дояркой, которая вручную выдоила пять тонн молока.

С душевным восторгом строчим очерки о бетонщиках, о девушках-врачах, которые в мороз и метель за десятки верст бредут на лыжах к тяжелобольному. Нет, восхищаться тут, в общем-то, нечем.

Лариса жила тут же на медпункте, вдвоем с учительницей. Работы у обеих по горло, а ведь надо еще и поесть сготовить, и печи истопить. В деревне пока нет центрального отопления. Однажды дожили, как говорится, до ручки — дров нет ни полена. Сельсовет не позаботился вовремя. Пришлось ехать ночью с саночками воровать дрова у школьного интерната. Но все это еще полбеды, беда же в том, что Лариса просто не успевала делать все как положено. Часто бывали одновременные вызовы, и тогда приходилось решать мучительную проблему: куда идти в первую очередь? Нередко бывают и такие случаи, когда нужно превысить компетенцию фельдшера, необходимы специальные знания, а до районной больницы шестьдесят километров. Однажды, когда больному нужна была срочная операция грыжи, Лариса хотела вызвать из Вологды вертолет. Побежала звонить. Но на промежуточной почте коммутатор уже не работал, рабочее время вышло. Хорошо еще, что больной выжил без операции.

Единственное, на что ей нельзя было обижаться,— это на отсутствие практики (Коля Лепихин очень многое потерял в этом смысле). Да, практика здесь богатая, не в пример финансовой смете, которую я, помнится, долго разглядывал. На два медпункта на весь год было отпущено, к примеру, для приобретения мягкого инвентаря всего десять рублей. Сильно не разбежишься...

С тех пор прошло более десяти лет, и кое-что, разумеется, изменилось. В Харовске выстроены новые корпуса районной больницы, поступило много первоклассного оборудования. Несколько упорядочена работа ВТЭК, больницы и медпункты более или менее укомплектованы кадрами. (Поневоле приходится говорить суконным языком: «укомплектованы кадрами». А как сказать иначе?) Но они, эти самые кадры, по-прежнему не останавливаются на одном месте, по-прежнему существует какая-то мания передвижения, желание куда-то уехать, исчезнуть и т. д. Стараниями главврача районной больницы Вадима Евгеньевича Петрущенко в Тимонихе также открыт медпункт. Валя-фельдшерица, улыбчивая, бойкая, усиленно лечит уколами старушек и пенсионерок. К сожалению, тоже собирается уехать. А мне так хочется, чтобы она оста-

лась на моей родине, вышла бы здесь замуж, чтобы ворота медпункта никогда больше не заколачивались. Но... мало ли чего хочется?

Вадим Евгеньевич Петрущенко показал мне одну директиву, подписанную Министром здравоохранения Петровским. Странная директива! По этой бумаге Петрущенко имеет право открывать медпункты только там, где живет от 700 до 900 человек. Лишь на такое количество населения разрешается иметь не врача, нет,— фельдшера. И... 0,5 санитарки. Так и написано: ноль целых и пять десятых. Но около Тимонихи во всех деревнях нашего куста едва ли наберется четыреста человек, и вот главврачу приходится прибегать к чичиковскому методу, чтобы оправдать законность существования тимонихинского медпункта.

Поистине поразительна сила бумаги — эта бюрократическая стихия! Кстати, Вадим Евгеньевич, превосходный хирург, просто иногда барахтается в этой стихии, выкраивая время для медицинских операций. Ему некогда заниматься своим прямым делом, столько надо писать и читать всевозможных бумажек. Действительно: можно ли в одной руке одновременно держать скальпель и карандаш?..

XI

Ответственность... Я убежден, что здесь прилагательное «коллективная» равносильно приставке «без». Ответственность может быть только личной. Если и бывает коллективной, то это всего лишь сумма личных ответственностей. Но вся беда-то в том, что так называемая коллективная ответственность зачастую сводит на нет понятие личной ответственности. Как-то после выхода Постановления ЦК КПСС о Нечерноземье я разговаривал с одним ответственным работником, спросил о финансировании и областных перспективах. Запомнилась одна его энергичная фраза: «Все до последнего рубля — освоим!»

«Освоение средств» — это новейший термин. Но в каких бюрократических коридорах он зародился? Ведь освоить, то есть израсходовать, можно того больше. Главное, чтоб не зря, не впустую были использованы средства.

В Вологде создана новая мелиоративная организация. Одна моя знакомая поступила туда на работу, я спросил

как-то ее, чем она занимается. Она смеется и говорит, что делать совершенно нечего, сотрудницы отбывают часы, скучают, ходят в рабочее время по магазинам. Каждая, конечно, получает зарплату... Может, это уже и есть освоение? Недалеко от моего дома в Вологде стоит обширное здание «Леспроект». Там же разместились еще несколько проектных организаций, в окна видны кульманы с чертежами. Кому из строителей не известно, как тяжело отзывается на работе задержка технической документации? И вот я, любопытства ради, частенько наблюдаю за работой этого проектного дома. Если пройти мимо главного подъезда ровно в 9 часов утра, можно увидеть многих служащих, которые отнюдь не спешат на работу. Пока они поднимутся на свой этаж, разденутся и развернут ватман, пройдет еще минут пятнадцать. Без четверти час начинается паломничество в столовую, десять минут третьего возвращаются на рабочее место, без пятнадцати шесть столы и кульманы вновь остаются в одиночестве. И это, не считая многочисленных индивидуальных уходов в поликлинику, в детский садик, а то и просто в соседний магазин...

И вот, например, дорога от Азлы до лесоучастка спроектирована, колхоз заплатил за этот проект солидные деньги. За моей баней как раз стоит столбик проектной трассы. Но сколько же лет он стоит? Деньги освоены, а дороги нет. Между тем в Лобанихе, метрах в пятистах от моего деревенского дома, я вижу целую армаду стоящих на приколе тракторов. Пять или шесть, судя по силуэтам — довольно мощных. Я вижу эту армаду много дней подряд, редко, очень редко и ненадолго выезжают машины в поле.

Машины принадлежат ПМК, это — мелиораторы.

Не сходить ли в Лобаниху?

Проехать этой деревней, а во многих местах даже пройти собственными ногами совершенно невозможно. Обширные, через всю улицу, ямы чернели зловещей жижей. Тут проходит не каждый и гусеничный, не только колесный трактор.

Дорога (та самая, спроектированная) от лесоучастка к центру сельсовета пройдет как раз через эти места. И ее строительство все же начато. Вот и сейчас два мощных трактора присланы из района, чтобы поднимать полотно. Но они стоят. Заправщик Саша Комлев говорит, что трактора не заправлялись ровно месяц. В чем дело? Неужели

в баках этих машин может умещаться месячный запас солярки? Нет, конечно. Заправка происходит ежедневно, но заправка известного свойства. Жена моего соседа Фауста Степановича — продавщица здешнего магазина. Она рассказывает, что, пока в магазине была водка, трактористы покупали водку. Когда она кончилась, попробовали брать алжирское вино, «со львом», как здесь говорят, но «со львом» не имело успеха, и они начали пить одеколон. Что такое простая вологодская водка, знают многие. Не будем говорить о ней. (Я знаю несколько случаев сивушного отравления.)

Кто создает и утверждает так называемые ГОСТы, то есть, государственные стандарты этого пойла? И кто отвечает за соблюдение хотя бы и этих сомнительных ГОСТов в промышленности?

Для трактористов, приехавших строить дорогу, вопрос решился в пользу одеколона. Но ведь и одеколон тоже стоит каких-то денег! Где они их берут? Пожалуй, вопросов лезет в голову слишком много. Иногда легче задать вопрос, чем на него ответить, чем и занимаются многие люди, вышедшие на пенсию. Но здесь-то все было ясно. На таких мощных машинах ничего не стоит прямо через болото привезти кому-нибудь сено или дров, бревна для ремонта и т. д. Кроме того, зарплата ведь тоже идет, пусть и без премиальных. Дорожники уехали на выходные домой в Харовск, бросив свои мощные тракторы. И никому до этого нет дела.

Машины стоят. Стоят в ряд и еще пять громадных машин ПМК. За много дней работы трактористы расчистили от камней и кустов крохотное поле, остальное время лишь пили и ремонтировались. Каждую пятницу за ними приходит транспорт и везет домой за шестьдесят пять километров по бездорожью. Ясно, что пятница у них нерабочий день. Возвращаются они в понедельник к середине дня, преимущественно с похмелья. Тоже день не рабочий. Суббота и воскресенье — выходные. Следовательно, рабочие дни у них — вторник, среда и четверг, но и эти дни они работают спустя рукава. Один-два трактора потарахтят в поле часа по три в день, остальные стоят. Однажды на самом могучем тракторе мелиоратор подъехал к дому продавца и потребовал ее в магазин. Продавщица никуда не пошла, поскольку было неурочное время. Но главная причина заключалась в другом: все спиртное как раз кончилось. Недолго думая, мелиоратор направил машину за

водкой через тайгу и болото на один из лесопунктов. Дороги здесь нет, он двинулся по трассе ЛЭП. Конечно же, сел в километре от Тимонихи, в болоте. Несколько других тракторов поехали его вытаскивать...

Я прикидываю в уме, сколько стоит один час простоя такой могучей машины, как С-100. Но я плохо знаком с экономикой, мне больше понятны другие цифры. На лесоучастке в Межурках за один год угодило в заключение около тридцати человек, все из-за пьянства. В моем колхозе «Родина» в течение лета задавлено насмерть тракторами и машинами несколько человек. Те, кто давил, живы, разумеется, но теперь отбывают срок. И я опять вспоминаю жестокость последней войны. Прошло сорок лет. Почему же люди гибнут теперь, когда вокруг Тимонихи гремят отнюдь не танки, а тракторы?

И вот я пытаюсь сам разобраться в том, что происходит. Без всяких ученых посредников, без туманных научных фраз. Хожу со своими раздумьями, завожу разговоры. В деревне Острецовской, куда я однажды забрел, меня окликнули и позвали в огород, на лужайку.

Инвалид Саша Смирнов, отстегнув протез, одной ягодицей сидел на траве. Рядом, на корточках, пристроился Рафаил Павлов — шофер. Я еще не успел поздороваться, как они всучили мне стакан водки и, перебивая друг друга, начали рассказывать о своей жизни.

— Василей, ты напиши про меня! — кричал Саша (У него уже внук, а его все еще зовут по-мальчишески: Саша.) — Нет, ты напиши книжку. Я тебе три дня буду рассказывать. Все, как бывало, из ремесленного с Урала убежал, как воевал, напиши.

— Ты лучше сиди! — Рафаил не давал говорить Саше. — Ты, Белов, про меня напиши, вот будет роман! Ты за этот роман, знаешь, — Государственную премию! С ходу! Нет, а будешь слушать? Будешь? Ты сам не знаешь, какой выйдет роман!

Я был готов слушать хоть неделю, но трезвых. Трезвые же они не сказали бы о себе ни одного слова.

— Давай в другой раз.

— Нет, ты слушай сейчас! Хошь с самого начала? Ты не знаешь, какая это книжка получится. Зачитаются, я тебе говорю!

— Ну, с чего бы ты начал?

— А вот с чего. Приезжаю со службы в Харовскую.

Ну, сам понимаешь, надо работать. На ж..е одни штаны хэбэ, а с девками до армии еще не гулял. Охота. Значит, так, прихожу в одну контору. В отделе кадров, гляжу, сидит... Эх, ты бы поглядел, кто сидит! Подаю ей трудовую книжку, а сам думаю: «Милая, да где ты раньше-то была?» Ну, как огнем по всему, чувствую, что все. Слушаешь? Нет, ты записывай, а то забудешь. Мне бы грамоты побольше, я бы и сам такую написал книгу. Эх...

— Ну? Дальше?

— Встречаю через день в городе, здороваюсь. Говорю: «Откуда у нас в Харовской такие красивые?» А она мне: «Откуда у нас все шофера пьяные?» Я говорю: «Все оттуда»... На работу пришел, чин чином, она говорит: «Шел пьяный, на работе оказался трезвый. Вот, поедешь за «Москвичом». — «А кто на нем будет ездить?» — «Кому дадим, тот и будет». — «Ну, — говорю, — ежели так, дак езжай за «Москвичом» сама». — «Ты почему со мной так разговариваешь?» Вот с чего все у нас началось!

— Дальше?

— Дальше меня на бортовую временно. Шофер в отпуск ушел. Один раз, в выходной, она просит меня: съездим за сеном. Приехали. Я лег на копну и лежу. Она стоит: «Чего?» — «А вот полежи со мной на копне, сразу и скидаем». — «Еще чего!» — «Ну, посидишь и без сена». Уехали. Порожняком. Ой, да ежели все рассказать, неделю надо.

— Привезли потом сено-то? — спросил Саша.

— Второй раз приезжаем, я опять на копну: «Полежим?» Молчит, отвернулась. Я на стартер хоп! Пускай гниет. Уехали. На другой день вечером идет с граблями. Я спрашиваю: «Грузчиков брать?» — «Ежели поможешь нагрузить, так не надо». — «Помогу, как не помочь». Приехали, я опять сел на копну. Уже не говорю, а думаю: «Вот полежим немного, живо скидаем». Она подошла поближе: «Чего развалился?» Сама меня граблями тычет. Я граблевище изловил, тяну к себе. Она к себе.

— Перетянул? — засмеялся Саша.

— Подтянул. Мы с ней на копне хорошо побарахтались. Сено опять не увезли. Наутро пораньше встал, съездил, один нагрузил. Привез, свалил под самые окошки. Нет, ты слушай! Это только начало...

— Женились?

— Конечно! Ох, хватил я с ней горя! Этого никому уж не описать. Ни у кого таланту не хватит! Упекла она меня. Я отсидел — опять к ней... Пей! За шиворот, что ли, выливать?

Он опять подал мне стакан.

...Саша тоже хлопал меня по спине и рассказывал, Рафаил не давал ему говорить, чтобы рассказать далее самому. Я еле от них ушел.

Пообещал, что приеду еще и тогда дослушаю все остальное.

Через некоторое время я действительно приехал, хотя и по другим делам. У конторы я случайно услышал, что Павлов утонул в озере. Поехал рыбачить выпивши и утонул. В тот день его как раз хоронили. Было жутко и горько от того, что мужчины о его гибели во хмелю говорили, как о чем-то вполне нормальном.

— А сам виноват! — сказал кто-то.

Я уехал домой, не выдержав.

Позже выяснилось, что утонул не Рафаил, а его однофамилец.

* * *

Я живу в Тимонихе вторую неделю, неприкаянный хожу в лес и на озеро. Вначале у меня было одно чувство, не чувство, а ощущение легкости и свободы. Оно приходит тогда, когда все далеко: город, бытовая возня, условности, нудная, как болотный гнус, забота о благополучии. Все то, что потихоньку съедает первородную радость жизни. Не надо тебе ни особых чемоданов, ни грамоток — ступай по земле куда хочется, никто не оберегает тебя от глупостей, никто не учит благоразумию.

Все сам.

По утрам я встаю с первым теплом солнца. Выгоняют коров, прогорают дрова в печках, сохнет роса, орут петухи. Омуток, что при слиянии двух речек, Сохты и Нодобицы, еще подернут сизоватой дымкой. Чтобы не раздумать купаться, раздеваюсь на ходу и прыгаю прямо в стаю прошлогодних плотичек, окунаюсь. И меня вдруг пронизывает беспричинный восторг, словно я окунулся не в омут, а в свое собственное детство... О-ооо! Какое это счастье — на минуту вернуть себя в прошлое по времени, стать снова двенадцатилетним! Как в детстве, мне лег-

ко. Мыслей нет — одно сплошное ощущение жизни, я растворен в этом зеленом солнечном мире. Откуда такая радость? Я не спрашиваю себя ни о чем и ничего не анализирую, как ошпаренный выскакиваю на берег. Солнце щурит свое золотое око, золото его бесшумно плавится в вышине, переходя по цвету в нежную синеву, и облака оттеняют безбрежность этой синевы, а я лежу на травяной земле, и колокольчик щекочет горячее от купания ухо. Вскакиваю на сделавшиеся вдруг упругими ноги, тело охватывает жажда движений, и весь день хожу по дорогам воскресшего детства. Лазаю на те сосны, что когда-то рвали своими сучьями мои штаны, мечу стог с бабами над рекой, кидаю камни в озеро, с хрустом жую щавель, от которого сводит скулу.

Один за другим сгорают дни, сменяясь белыми колдовскими ночами.

Так нет же, после поездки в Азлу тревога вновь возвращается в сердце. А можно ли оставаться спокойным, когда однажды солнечным утром выходишь из дома и видишь такую картину: пять коровьих туш лежат у подстанции? Электропровод оборвался еще с вечера. Никто не ударил палец о палец, чтобы устранить неисправность, а утром, когда стадо выпроваживали с фермы, коровы начали падать на провод одна за другой.

И... никто не ответил за этих коров, все оказались правы. Сами, мол, виноваты!

Приехали председатель, ветеринар, составили акт — и все. Я разговаривал с представителем «Ярэнерго»: кто же все-таки отвечает за случившееся?

— Видите ли, — задумчиво сказал он, — виновата несовместимость металлов. Провод оборвался на стыке.

— Ну и что?

— Медь не может соседствовать с алюминием.

Все уехали, увозя акт. Коров через несколько дней отвезли в поле. Их даже не зарыли как следует, никому не захотелось возиться.

* * *

С такими раздумьями я и брожу по тропкам моего детства. Как-то одна из них завела меня в чичиринскую поскотину, к Лесному озеру. Я тихо брел по ней, отбояриваясь от комаров и срывая красные капельки земляники.

Вдруг гул мощного двигателя заглушил шорох листьев и лесной ветреный шум. Я отскочил в сторону. Танк, что ли? Все как у танка, не было лишь пушки. Вездеход-амфибия шпарил, не разбирая болот. Широкий след «амфибии» я еще до этого видел за Лесным озером. Лесозаготовители? Но лес вокруг Тимонихи уже вырублен, хотя Кадниковский и другие лесопункты не собираются сворачивать производство, ежегодно оставляя за собой обширные пустыри. Ветка узкоколейной железной дороги, пришедшая с северо-востока, опоясала Тимониху уже и с запада, рубят теперь и лиственные и неспелые хвойные массивы. План есть план. Он никогда не идет на попятный, он может лишь увеличиваться. В лучшем случае, остаться таким же. На здании вокзальчика разъезда Кадниковский такой лозунг: «Дадим стране дополнительно пять тысяч кубометров леса!» В объединении «Вологдалеспром» за четыре года пятилетки вывезено и реализовано дополнительно к плану один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч кубических метров древесины[1]. Нет, лесозаготовителей нельзя обвинить в лени, они работают. Но думают ли они о будущем? Мне понятно, когда сверх плана выпускаются, например, пять тысяч тракторов. Или холодильников. Но если леспромхозы из года в год превышают расчетную лесосеку, если естественный прирост древесины не восполняет ее расходования, можно ли называть победой перевыполнение плана? Каждые десять минут через станцию Харовскую проходит состав с лесом. Каждый вагон такого состава — это лесной пустырь на много гектаров, оставленный за моей деревней. На моей памяти в Черной речке купались и ловили здоровенных щук, это было лет сорок тому назад. Теперь Черная речка исчезла. Исчезли и Пендусица, и Крутица, пересыхает и река Сохта, что течет под Тимонихой из Лесного озера. Понизился уровень и самого озера.

Течение воды издревле сравнивалось с течением времени, и я вновь припоминаю голос причетчицы:

Ты не езди за Забыть-реку,
Ты не пей-ко забытной воды...

Идут годы. В моем возрасте они уже не идут, а несутся сломя голову: давно ли я ходил на лесной сенокосный воскресник? Сидел в грозу с Валеркой Щегле-

[1] Красный Север, 1975, № 28.

вым? Десяти лет как и не было, Тимониха все еще держится, не хочет исчезать с лица земли. Зимой, когда разъедутся гости, в деревне останется всего десять человек.

Валерка уехал жить в колхоз «Большевик», в Шапшу. Увез мать, жену и детей. Напротив, у Вити Корзинкина — никого. Живут вдвоем с женой Густей. Витя говорит, что скоро умрет, что он чувствует это. Но когда врач в Шапше предложил лечь в больницу, полечиться хоть немного — отказался.

«Чего же ты,— спрашиваю,— не согласился?» — «А сенокос. Кто в сенокос лечится?» Все дети у Корзинкиных выросли и уехали, присылают лишь внуков на лето. Дом Василия Агафонова становится в конце августа тоже пустым: Ритка, Танька, Ванька, Сережка уезжают в интернат, в Харовск. Надька и Валя — в Вологде, одна в кооперативном училище, другая в ГПТУ, учится на маляра. Сашки тоже нет дома. У Фауста Степановича с Кией детей нет. Дом Федотовых тоже к осени опустеет, Людмила уедет. Ее дети дома не захотели остаться: сын живет в Риге, женился, дочка в Череповце. Мишка Кошелев переехал в Азлу, этого не надо агитировать на сселение. Работает дояром. Дочери Марьи Дворцовой тоже уехали: одна работает в Вологде, другая в Ярославле. Правда, приезжают довольно часто. Домой жутко хочется.

— Домой? Совсем? Что ты, дядя Вася! — это говорит Лида. — В доярки, что ли?

— А чем лучше твоя работа в Вологде?

Но говорить бесполезно. Нарядились, запели, пошли в Лобаниху, в клуб. Странная жизнь! Давно ли было так, что в деревне не хватало парней? Теперь они остаются дома с удовольствием. Но возникла «девичья» проблема, жениться не на ком. Зимой тут всего три девицы: Валя-медичка, бригадирка Шура и Надя — завклубом. Все трое, конечно же, «заняты», как здесь говорят. Что делать? Искать невест в городах? Не каждому-то это по силам. Христя Смирнов, сын Анны Фадеевой, закончил молочный институт, долго работал зоотехником в другом районе. Вернулся домой в Лобаниху к больной матери. Мать умерла после операции, Христя остался один. Работал бригадиром. Надо было жениться, но жениться оказалось не на ком. Парень стал попивать. Дальше — больше. Однажды глухой зимней ночью вся округа осветилась жутким заревом: большой дом Христи пылал в огне. Люди прибежали,

но было уже поздно, Христя сгорел заживо в собственном доме...

В Лобанихе тоже осталось совсем мало домов, в Чичирихе только два. Помазиха исчезла давно, деревня Бычья недавно. Вахруниха держится одним Володей Румянцевым, скоро и она исчезнет.

Сегодня ночью над моим домом, над старой березой и над чуланчиком, где я так бегло, так походя описал мою родину и дорогих для меня людей, ночью сегодня, опять долго полыхала гроза, пришедшая с юга. Она была такая же, какая случилась десять лет назад. Только ночная, и от этого более жуткая. Могучий гром сотрясал стены, летал грозно и широко, метаясь на много километров во все стороны. Желтые молнии далеко вокруг освещали землю. Я вывернул электропробки. Обрушился на мою ветхую крышу сплошной дождь, в наших старых чуланчиках все потекло. Мои бумаги и записи подмокли...

Я зажег свечу и пошел навестить жену и дочку. Моя мать тоже не спала...

Вдруг ударило так, что свеча погасла. Мне показалось, что молния впилась прямо в дом, я с бьющимся сердцем открыл дверь.

Дочь Анюта крепко спала под древней кровлей Михайлы Григорьевича. Мне показалось в эту минуту, что дом моего прадеда, которого я так хорошо помню, охраняет ее, такую маленькую и беззащитную, охраняет чутко и мужественно.

Гроза долго не могла уйти в поле и за леса. Наконец она выдохлась, вернее, ушла на север. Утром я увидел за нашей баней, совсем рядом, белые клубы дыма. Это догорал стог сена, сметанный днем Виталием Корзинкиным... И я вздрогнул, плечи передернуло.

Да, все изменится: дома и дороги, поля и речки. Я знаю об этом. И если новое будет лучше старого, я ни о чем не стану жалеть...

Но почему-то мне хочется, чтобы мой дом и деревня моя не исчезали совсем, чтобы они остались в этом бесконечно меняющемся мире.

ТИМОНИХА,
1965—1975

ТРЕБУЕТСЯ ДОЯРКА...

I

Заголовок этой статьи позаимствован из платного объявления в областной газете. Оно было заверстано между кинорекламой и сообщением о погоде. Вот так, не мудрствуя лукаво, администрация совхоза в отчаянии обращается ко всей читающей публике, сулит отдельную квартиру, неплохую зарплату. Только иди работай... В каждом районе Северо-Запада России, и в Калининской, и в Кировской, и в Архангельской областях доярок недостает десятками. А при учете того, что работа в одну смену уже никого не устраивает, то и сотнями. Руководители хозяйств сбиваются с ног в поисках подмены на время декретного отпуска. То же при выходе доярок на пенсию или замуж с отъездом. Нередки случаи, когда городским шефам приходится не только картошку копать или завязывать лен, но и садиться под коров. Какова при этом продуктивность этих коров, ясно без объяснений. Ведь далеко не каждая даже и сельская девица умеет доить корову. Потери на предприятиях, где приходится свертывать производство, при этом никто никогда не подсчитывал. А сколько недодается народному хозяйству, например, проектной документации, отчего срываются планы строительства, каких знаний недополучают студенты и школьники! Пора бы, давно пора нашим экономистам понять, как экономически невыгодно для страны шефство над сельским хозяйством. При всем том кое-где под видом концентрации по-прежнему ориентируются на сокращение числа населенных пунктов. На практике такое сокращение оборачивается сокращением валовых объемов сельхозпродукции.

Размышляя о хронической недостаче животноводческих кадров, многие считают, что стоит лишь построить жилье — и проблема снята. Увы, это далеко не так. То есть, конечно же, без жилья-то и совсем ее не решить! Но одного жилья, оказывается, мало. Недавно мне рассказывали о таком факте: благоустроенный совхозный дом, построенный под боком у горожан, пустует, желающих жить в нем и работать в совхозе не оказалось. И это несмотря на хорошие заработки.

Конечно, в глубине района новые дома не пустуют. Но это не значит, что задача кадрового обеспечения живот-

новодства да и вообще сельского хозяйства вдали от города, вдали от железной или асфальтовой дороги решается легче. Найти доярку в глубинке стало теперь так же трудно, как и вблизи асфальта. Может, даже труднее.

Выполнение Продовольственной программы вплотную соприкоснулось с последствиями общей демографической ситуации. Мой родной Харовский район более-менее типичен в этом смысле для всего Северо-Запада, для всего Нечерноземья. Перед войной в районе (при той же территории) проживало 51,2 тысячи человек, а сейчас только 27,7 тысячи. Из этого числа городское население составляло соответственно 7,4 тысячи и 13,1 тысячи. Таким образом, число сельских работников сократилось за этот период без мала на тридцать тысяч. Вместе с ним сократились и площади обрабатываемой земли, хотя процесс механизации производства шел достаточно интенсивно.

Две войны — финская и Великая Отечественная — унесли из района тысячи мужского, как говорят ученые, самодеятельного, населения. Только из моего родного нынешнего колхоза «Родина», на землях которого в сорока трех деревнях жило до войны около шестисот семидесяти семей, ушло на войну и погибло на фронтах триста сорок мужчин. (Я не считаю здесь умерших от фронтовых ран вскоре после войны.) Чуть ли не каждая семья принесла свою жертву, в некоторые деревни не вернулось с войны ни одного мужчины...

Но процесс обезлюдения продолжался и после войны. Так, по переписи 1959 года в деревнях проживало 30,5 тысячи человек, а в 1982 году, как уже говорилось, всего лишь 14,6 тысячи. С 1950 года по настоящее время в районе исчезло с лица земли около ста деревень. Решающую роль во всем этом сыграло, на мой взгляд, не столько низкое экономическое положение тогдашних хозяйств, сколько административное их объединение, не оправданное местными условиями.

Сейчас из четырехсот тридцати трех оставшихся деревень обитаемыми остались только триста семьдесят восемь, а пятьдесят пять деревень брошены из-за бездорожья и пустуют.

С тем, кто считает подобный процесс прогрессивным, необходимо спорить и спорить. Причем опять же при помощи цифр и фактов. А факты — упрямая вещь. Клич

на форсированную концентрацию производства уже не везде звучит так убедительно, как это было вначале. Многие хорошие руководители хозяйств убедились в его поспешности.

Я не зря говорю именно о хороших руководителях, так как дурные и восприняли разговор о концентрации по-дурному: для них «концентрация» явилась синонимом «ликвидации». Ведь нет ничего проще отключить свет от дальней деревни, закрыть магазин и пекарню, объединить медпункты, ликвидировать не только начальную школу, но и восьмилетку, а всех детей отправить в школу-интернат, расположенную, разумеется, в городе. Тот, у кого не болит душа за будущее,— сразу «убивает» несколько «зайцев»: ему не надо строить внутрихозяйственных дорог, отпадает лишняя забота о торговле и медобслуживании. Да и само руководство в таких случаях облегчается. Достаточно позвонить по телефону или объявить с вечера наряд на работу по местному радио. А то, что исчезают не только отдельные животноводческие фермы, но и целые производственные бригады, что поголовье скота не увеличивается, а покосы и пашни сокращаются, это как-то умалчивается, сходит с рук. Что значит ликвидировать хотя бы и мелкую ферму или отдельную бригаду? Это значит лишить работы остающихся колхозников и вынудить их к переселению на центральную усадьбу. Это во-первых. Во-вторых, сразу или постепенно исключить из хозяйственного пользования многие гектары пашни, окончательно забросить остатки лугов, лесных покосов и пастбищ. (Кстати, по самым скромным подсчетам пашенные земли в области за сорок лет сократились на 400 тысяч га. Только за последние 15 лет заросло лесом и кустарником либо заболочено около 250 тысяч гектаров покосов, которые испокон веку играли главную роль в заготовке кормов. Пастбища уменьшились, по данным ЦСУ, с 815 тысяч до 317 тысяч га.) Наверняка и в других областях дело обстоит не лучше, а в некоторых, может, и еще хуже. Ясно, что никакая мелиорация за такими темпами не угонится. Вот чем оборачивается односторонняя и бюрократически понятая концентрация производства!

Читатель должен понять меня правильно: я вовсе не призываю к сокращению капиталовложений в сельское хозяйство Нечерноземья. Я лишь за разумное использование средств, отпущенных государством. Ведь нередко случается так, что затраченные деньги не оправдывают себя. Что,

например, толку от нового комплекса, если поблизости нет жилья? Или: зачем начинать крупное строительство, если к стройплощадке не проехать даже на гусеничном ходу? Не лучше ли вначале построить дорогу, а уж после и начинать мелиорацию? Ведь и денег потребовалось бы меньше, и техники, и рабочих рук. Ведомственная реализация и освоение средств во имя собственно реализации, собственно освоения, без учета иных, пограничных нужд, дорого обходится государству.

Итак, по-прежнему требуется доярка. То, что нынче доярку называют оператором или мастером машинного доения, мало что изменило. Десятиклассники по-прежнему очень туго идут работать в животноводство. Дело дошло до того, что дети колхозников заключают краткосрочные договора на работу в колхозе. Поработав годика два, разъезжаются кто куда, правление заключает договора со следующим выпуском... Но где же ее взять, эту самую доярку? Или телятницу? Один мой знакомый председатель утверждает, что проблема доярок была бы сразу же решена, если б расформировать хотя бы по одному главку в каждом министерстве да и послать этих людей в колхозы. Шутки шутками, а дело серьезнее, чем кажется. Многочисленные специалисты в Госплане, в главках и министерствах, в областных управлениях и всевозможных районных организациях весьма далеки от нынешних забот председателя. Да и сами-то председатели нередко думают только о сегодняшних, даже сиюминутных заботах. Мало кто всерьез размышляет даже о ближайшем, не только отдаленном будущем. А ведь надо бы соображать, что доярка нужна не только для выполнения Продовольственной программы. И мне осталось сказать: выражение «требуется доярка» безнравственно и ограниченно по самой своей сути. Давайте говорить прямей и точней: требуется невеста. А еще точнее — жена...

* * *

Помнится, еще во время войны на наших деревенских гуляньях каждая средняя деревня была представлена одной, а то и двумя дюжинами ребят и девушек. Соотношение полов было примерно равным, поскольку невесты погибших по гуляньям уже не ходили. На рубеже 50-х и 60-х годов в

связи с укрупнением колхозов и другими неблагоприятными условиями картина резко меняется, многие деревни русского Северо-Запада полностью обезлюдели. Процесс этот продолжается и сейчас, он всего лишь слегка приостановлен. Приведу опять же пример с Харовским районом. С 50 года по настоящее время число деревень сократилось примерно на одну треть, более тысячи крестьянских дворов исчезло. Можно ли назвать все это прогрессивным явлением? Нет, нельзя. Если даже смотреть на это со стороны, например с точки зрения областного экономиста. Ведь несмотря на рост энерговооруженности, наши хозяйства не расширили, а сократили посевные площади. Из 24,5 тысячи га на пашни, имевшихся в Харовском районе в 40-м году, сейчас всего 18 тысяч га. Цифры сокращения лугов, пастбищ и лесных покосов вообще астрономические. Поголовье скота также сократилось. Исчезли не только десятки деревень, исчезли целые сельсоветы, например мой родной Дружининский и такие, как Низовский, Ильинский, Фроловский, Катромской. Интересно, что за последние годы отток мужской молодежи значительно сократился. Во всяком случае, многие ребята возвращаются из армии на родину, и демографическое равновесие лет эдак через 20—25 можно было бы восстановить. Если б... Если б не проблема невест. Помню, лет десять назад в нашем клубе деревни Лобаниха я насчитал десятка два ребят и всего... двух девушек. Уехали в город и эти две девушки. Ребята тоже частью уехали, остальные стремительно стареют, поскольку жениться не на ком, а в торговом обороте Шапшинского сельпо винно-водочные изделия занимают 25—30 процентов. Нельзя спокойно толковать о подъеме экономики, замалчивая факты социального «дискомфорта», как называют подобные ситуации ученые-демографы.

И впрямь, какой уж тут комфорт, если жениться не на ком, если ты обречен на вечное одиночество! Можно, конечно, поехать куда-нибудь на БАМ или на Самотлор, что и сделали те, кто поактивней. Но, во-первых, не каждый осмелится искать себе пару за тысячу верст в чужой стороне. Во-вторых, колхозу-то разве легче будет, если последние механизаторы уедут на Самотлор? Добавим, что и Самотлору от этого будет не легче, ведь из газа и нефти мы пока не научились делать ни сливок, ни мороженого.

Горькая судьба наших нечерноземных холостяков скрашивается, как уже говорилось, только работниками тор-

говли. А эти товарищи чем-чем, а уж бутылками-то сельские лавки снабжают в достатке. Приходит, однако, и такая пора, когда ликвидируется даже и сельская лавка, поскольку райпотребсоюзу невыгодно содержать ее в немноголюдных местах. Примерно так же рассуждает и роно: зачем, дескать, содержать малокомплектные школы на 15—20 человек, не лучше ли отправить детей в крупные интернаты? Лучше, конечно, но лучше для работников роно, а не для колхоза и даже не для самих детей. Начисто оторванные с семилетнего возраста от родителей, от дома, от родного колхоза, они вырастают чуждыми всему этому, в том числе и родителям... Вслед за школой закрывается медпункт. Делается это примерно с той же аргументацией, и тогда уж самые консервативные, самые устойчивые домоседы начинают подумывать о переезде на центральную усадьбу. Однако же если ты снялся с родного гнезда, то не все ли уж равно, куда уезжать? Можно и не задерживаться на центральной усадьбе, махнуть в другой колхоз, а то в леспромхоз либо в райцентр, а то и подальше. В райцентре десятки организаций, большинство из них призваны обслуживать так или иначе сельское хозяйство, и каждая испытывает недостаток рабочих рук. И вот, глядишь, вчерашний колхозник уже ездит ежедневно на казенном транспорте из города в родные места — поднимать сельское хозяйство. Ездит, однако ж, не дальше центральной усадьбы. А родные его дома, покосы и полосы заброшены — может быть, навсегда. Да, сокращение покосов и посевных площадей стоит в прямой зависимости от сокращения численности деревень и населения в этих деревнях. Явно поторопились планирующие органы, отнеся в свое время к разряду «неперспективных» тысячи таких деревень. И что вообще означает термин «неперспективно»? Однажды в Коктебеле мне случайно попала в руки книжка, где были собраны научные рекомендации для государственных, планирующих и партийных органов на ближайшие 10—15 лет. Признаюсь, я был ошарашен той беспардонностью, с которой сельскохозяйственные и другие НИИ оперируют судьбами целых регионов и миллионов людей. В этих «рекомендациях» было расписано все, вплоть до того, сколько должно остаться деревень в той или иной области к 1990 году, сколько бутылок должен будет выпивать в год мой сосед-холостяк и т. д. и т. п.

Я вовсе не против хорошего планирования. Но почему же обязательно надо планировать заведомое сокращение

населенных пунктов, то бишь нечерноземных деревень? Или водный дефицит на Волге? Может быть, все же лучше планировать сохранение, а не исчезновение этих деревень?

Немало надо труда, чтобы выключить из оборота участок веками окультуриваемой земли. За моей баней раскинулось древнейшее поле, гумусный черноземный слой его достигает в иных местах пятидесяти сантиметров, в других он не менее пятнадцати сантиметров (далее идет глина). Это поле, обрабатываемое когда-то двадцатью тремя семьями нашей деревни, теперь запущено, половина его глубоко взрыта тракторами и автомобилями. Сколько навозу было уложено моими предками в это поле! Чернозем этот был буквально создан руками здешних крестьян. Такие поля в дальних бригадах почему-то теперь заброшены и быстро зарастают ольхой, ивой, березняком. Наш колхоз «Северная деревня» еще в 1950 году имел шестьсот гектаров пашни и 1190 гектаров превосходных покосов. Нынче на этой же территории размещена одна четвертая бригада колхоза «Родина», и пашни у нее столько, что стыдно и говорить. Все остальное заросло кустарником, закочкарено, искорежено гусеницами. (На лугу, где дважды прошел гусеничный трактор, начисто разрушается дерновая структура, косить там становится либо нечего, либо просто нельзя из-за неровностей). Несомненно, что в ближайшие годы, если не принять срочных мер, выключатся из оборота и эти оставшиеся гектары, так как кое-кто уже подумывает о ликвидации не только четвертой, но и пятой бригады.

Чем же объяснить живучесть такого «подумывания»? Я долго, может уже несколько лет, пытаюсь разгадать эту загадку. Главная причина, разумеется, в бюрократизме, как известно всегда снижающем личную ответственность, позволяющем укрыться за инструкцию, за рекомендацию сверху и т. д. Бюрократу как воздух необходимы все эти перестройки, централизации и концентрации, без них он просто задыхается, без них ему просто нечего делать. Телефонное руководство всегда оставляет возможность положить трубку. По телефону тебя не будут держать за пуговицу, не смогут поглядеть тебе прямо в глаза, не заметят, если ты покраснеешь. Можно и в сенокос спать до восьми утра...

С другой стороны, хорошему творческому руководителю нет никакого смысла в сокращении населенных пунктов,

бригад, ферм и посевных площадей. Смысл его руководства как раз и состоит в том, чтобы деревень и колхозников было если не больше, то уж во всяком случае не меньше, ферм и коров прибавлялось ежегодно. Ведь если всего этого будет больше, то и пашен, и покосов, и пастбищ, и домов потребуется больше. Сокращать ему все это, даже во имя концентрации, не только совершенно ни к чему, но даже вредно. У бюрократа формула: «люди существуют для планов и посевных площадей», у творческого руководителя наоборот: планы и посевные площади существуют для людей. В этой разнице между бюрократом и творческим человеком заключены многие беды нашего сельского хозяйства.

Но бюрократическая формула «люди для планов» людей не всегда устраивает, они живут по своим житейским законам. Вот почему у бюрократа никогда ничего не получается. Он агитирует переезжать на центральную усадьбу, а уезжают вообще из колхоза; он стеной стоит за концентрацию, а получается одна ликвидация; он же обеими руками за химизацию, а выходит...

Поглядим, что у него выходит с той же химизацией сельского хозяйства. Если взять крупного бюрократа, планирующего внедрение химизации, то он никогда не признает себя виновным в плохой отдаче государственных средств, потраченных на строительство грандиозных азотно-туковых и прочих заводов. Ведомство всегда защитит своего работника от любых обвинений. «Мы вам построили завод, остальное не наше дело»,— говорят строители. «Мы вам даем удобрение, но за дальнейшее не ответчики», — говорят химики. «Мы вам доставили туки, чего ж еще требуется от нас?» — так заявляют железнодорожники.

И никто из них, ни один не возьмет на себя ответственность за урожай в 10—12 центнеров с гектара. Район приказывает колхозам в определенные сроки вывезти удобрения на сельские склады. А есть ли они, эти склады? Готов ли колхоз принять и использовать химические удобрения? Имеются ли у него химлаборатории и настоящие специалисты, составлены ли почвенные карты, какова контурность, припасены ли машины для внесения удобрений? Все эти вопросы не интересуют ведомственных руководителей, каждый отвечает только за свой определенный участок. Помню, я несколько лет ходил за грибами мимо шести мешков дорогостоящей нитрофоски, брошенных прямо

на дорогу. Они растаяли, выжигая вокруг себя все до последней былинки. Другие мешки растаяли на берегу речки. Многие тонны калийных удобрений уходят под колеса буксующих грузовиков, смываются вешними водами.

Самое, однако ж, интересное в том, что такая «химизация» начисто освободила руководителей от вывозки на поля местных удобрений. Содержание скота без подстилки привело к тому, что навоз либо выветривается, либо уносится дождевыми водами в речку, отравляя питьевые источники. Очевиден двойной вред — отравление вод и порча ценнейших органических удобрений. Вспомним, однако, что русский крестьянин испокон веку ценил «навозную» продуктивность коровы не меньше, чем ее молочную продуктивность. Коров держали в той же степени для получения навоза, как и для получения молока. Весной в Вологде и в наше время машина навоза стоит 20—25 рублей, а в деревнях у меня на родине не знают, куда его деть. Все вокруг завалено навозом: около бывшего телятника многолетние кучи уже обросли крапивой, около фермы тоже. В котлованах с жидкой консистенцией, которая отгребается от стойл и смывается шлангом, едва не утонули однажды двое отпускников... Быка однажды вытаскивали из навоза всем миром. Не знают, как быть с навозом и в личных хозяйствах. Одна из моих знакомых старушек решила избавиться от коровы, поскольку навоз ни от хлева, ни из хлева никто не вывозит. Соседи мои таскали навоз в заброшенную картофельную яму (как раз напротив моих окон), но яма наполнилась, и теперь над ней целая навозная гора. Весной вместе с водой ценнейшее удобрение потечет в речку и в озеро, откуда люди берут питьевую воду. Кишечные и прочие заболевания не волнуют ни районную, ни областную санэпидстанцию, куда я года два назад привез бутылку с такой водой. Увы, дело с навозом за два этих года не сдвинулось. Не лучше обращаются с навозом и на больших комплексах, как молочных, так и откормочных: их проектанты до сих пор не могут придумать надежную добротную систему для сбора и утилизации фекалиев. Хозяйства предпочитают сбрасывать навозную жижу в реки. Спрашивается, зачем тратить такие баснословные средства на строительство азотно-туковых и прочих заводов, на дорогостоящие перевозки, если мы не используем даже навоз — это самое легкодоступное и самое прекрасное удобрение? Ведь в соединении с торфом оно дает

возможность обходиться *вообще* без минеральных удобрений.

Ни один хлебороб ни в одной стране не будет сплавлять драгоценную жижу в реку, он подберет и использует каждый коровий шлепок. Как это ни парадоксально, из этих блинов-шлепков у хорошего хозяина и получаются блины уже другого сорта. Так уж устроено в природе, и для нормального нравственно здорового слуха в звуках этих шлепков нет ничего дурного. Наоборот, у бюрократа-пижона эти шлепки вызывают тошноту или раздражение. Голубая мечта бюрократа — вывести такую породу коров, которые производили бы одно молоко, без всяких шлепков...

Всем нам надо понять наконец, что сельскохозяйственное производство принципиально отличается от промышленного. Замкнутые, строго индивидуальные, до предела специализированные системы здесь либо совсем невозможны, либо дают малокачественную продукцию. Конвейером и потоком, разумеется, не стоит пренебрегать. Но как разумно, как архиосторожно надо ими пользоваться! Пример: стоило объединить несколько молочных стад в одно, как продуктивность сразу снизилась. Когда переходят на беспастбищное содержание (а большие комплексы предусматривают именно такое содержание), то немедленно увеличивается яловость, растет число выкидышей.

Примеров, связанных с неожиданными опасностями интенсификации, можно привести множество. Причем не только в животноводстве, но и в производстве зерна. Можно, конечно, поднять урожайность до 60—70 центнеров, как в Англии. Но, извините, я был в Англии и до сих пор чувствую вкус лондонского хлеба. Вернее было бы сказать, отсутствие всякого вкуса: жуешь, словно резину. Поэтому еще неизвестно, что лучше: 70 центнеров с гектара такого зерна или 20—30 другого, хлеб из которого имеет вкус, аромат, свои витамины и какие-то таинственные для меня микроэлементы. То же самое можно сказать о говядине, о капусте, о яйце, о свинине. Картофель, например, выращивают и продают очень крупный, но есть его можно лишь при очень хорошем аппетите.

Для классического бюрократа все эти тонкости, конечно же, ни к чему, ему важно перевыполнить план по валу, по весу, по количеству. Качественные признаки его мало интересуют. Но законы диалектики жестоко мстят за

такую односторонность. Позволю себе привести еще один пример.

В нашей стране, насколько мне известно, уже много лет держится самая низкая цена на печеный хлеб. Но давайте взглянем попристальней, чем оборачивается это, на первый взгляд, положительное явление. Если говорить о сельской местности, то по крестьянской здравой логике здесь явная нелепость, несуразица. Весной, ближе к выгону скота на пастбище, многие годы стоимость кило сена (то есть сушеной травы) держалась наравне (а иногда и выше) со стоимостью одного кило печеного хлеба. И это в тех условиях, когда тысячи гектаров лесных и прочих, еще не успевших подернуться ивняком покосов ежегодно уходят под снег! Со странным чувством смотрю я на то, как из магазинчика (куда хлеб возят за шестьдесят километров, поскольку пекарню закрыли) несут и несут мешки с буханками. Семья в 2—3 человека покупает по 20—30 буханок чуть ли не дважды в неделю. Ясно и дураку, что лишь малая доля идет в пищу людям. Почти все скармливается скоту — овцам, телятам и коровам. Еще интереснее наблюдать, как женщина покупает полмешка баранок... для теленка. Другая берет перловку для кормления овец.

Не лучше ли выкосить все эти тысячи гектаров лесных и прочих лугов? Ведь ко всему прочему и для коров и для овец полезней не хлеб и не крупа, а сено и солома, которая ежегодно сгнивает в скирдах. Корова — жвачное животное — не создана для хлеба, она создана для грубых (солома и сено) и сочных (турнепс, силос) кормов. Не будем уж говорить о нравственных и прочих потерях, связанных с низкой ценой на хлеб.

Сенной дефицит, подобно сенной лихорадке, то и дело трясет индивидуальных владельцев скота, особенно пожилых, пенсионеров, инвалидов и вдов. У хороших же руководителей (не бюрократов) его нет и не может быть. В колхозе «Родина», что под Вологдой (председатель М. Лобытов), сенокосные участки, недоступные механизированной уборке, уже десятки лет как закреплены за колхозниками, и они сами их облагораживают и даже расширяют. Чем хуже хозяйство, тем твердолобее бюрократ-председатель. И тем упрямее он не разрешает косить для своих коров вдовам и инвалидам. Коси за 15—20 процентов. Но чтобы обеспечить корову сеном, надо поставить десятка два стогов — откуда же старику или инвалиду

взять такие силы? Поплачет иная старуха, поплачет, да и погонит свою корову на мясозаготовку. И 800—900, а то и тысячи литров молока в год плюс 300—400 килограммов мяса в (живом весе) у государства как не бывало. Именно так и поступила моя двоюродная тетка: корову на мясо, а сама уехала в Череповец, в дом престарелых, за бесценок продав свой деревенский дом.

Кстати, домов таких в четвертой бригаде становится все больше и больше. Часть их сельсовет раскатывает и использует на дрова, остальные сиротливо пустуют. (Это в то время, когда ольха и березняк наступают со всех сторон.) Дождутся ли они новых жильцов?

Известно, что если в доме долго не живут — он погибает. Жилой дом не боится старости, он служит людям много десятилетий. Но стоит оставить его на 2—3 года, и он умирает... Есть в этом нечто символическое, на то же самое можно сказать и о земле. Правда, земля не умирает, она просто глохнет, дичает. И нужно потом немало усилий, чтобы вернуть ей живой и прекрасный облик.

В поле, опять же за моей баней, пролегли недавно две новые трассы — одна дорожная, другая высоковольтная ЛЭП. Они заняли многокилометровую полосу шириной примерно в триста метров. Нетрудно представить, сколько ежегодно отчуждается драгоценных земель, вырывается из сельскохозяйственного производства. Никто не считал убытков от подобного отчуждения и за пределами Нечерноземья. Например, в Курской области при добыче железной руды или при затоплении земель плотинами в поймах великих рек. Но если б кто и взялся считать эти убытки, у него ничего бы не вышло: в стране нет земельного и водного кадастра. Земля и вода — эти две жизненно необходимые человеку стихии — у нас ничего не стоят, их разбазаривают всякие ведомства, все, кому не лень. И никакая даже самая добросовестная компенсация не сможет нейтрализовать этих непоправимых убытков!

Мои соседи, знакомые ребята-холостяки (их уже и ребятами-то называть неловко, многим давно за тридцать), разумеется, видят всё это и всё понимают. А вот видит ли все это Госплан? И все-таки сейчас горестная судьба тысяч и тысяч нечерноземных холостяков зависит не столько от Госплана, сколько от... Гостелерадио. И от того же Комитета кинематографии.

II

Итак, прежде чем говорить, почему не хватает доярок, надо выяснить — почему не хватает невест. Требуется прежде всего невеста, а еще точнее — жена...

Руководитель экономически мощного колхоза разводит руками: выстроил современную ферму, даже с общежитием, купил стильную мебель, телевизор, а девушки поработали два года и снова разъехались. Директор крупного рентабельного совхоза жалуется: созданы все условия, а работать опять некому. В чем дело? Давайте наконец сообща разберемся, в чем же оно, это самое дело!

Лет тридцать тому назад можно было объяснить все это родительским влиянием. Доярка или телятница правдами и неправдами стремились к тому, чтобы дети не повторяли их судьбу. Но ведь работа за пустопорожние трудодни давно ушла в прошлое. Условия изменились. Нынче и в деревнях ежемесячно выдается зарплата, причем не маленькая. Да и с родительскими желаниями нынешняя молодежь считается, прямо скажем, не очень. Кто же и что тогда формирует иерархию ценностей деревенского подростка? Ответить на этот вопрос не сложно. Нынче родительскому авторитету весьма и весьма трудно конкурировать с телеприемником или другим электро- радиоустройством. Индустрия развлечений незаметно коснулась и самих родителей, самих воспитателей. И тут не помогут никакие заклинания, никакие демарши (15 января 1984 года программа «Время» на всю страну возвестила о том, что в ПТУ учиться намного интереснее, чем в средней школе).

Романтический ореол вокруг таких профессий, как работник угрозыска, каскадер, геолог, балерина, фигуристка, все время поддерживается стараниями нашей прессы и телевидения. Полистайте любую подшивку. Что ни страница, то и снимок балерины, фигуристки, лыжницы, циркачки. Что ни кино, то и детектив с прохвостом-уголовником и эдаким суперменом из угрозыска, который двумя ударами справляется с тремя нападающими. Но это чисто внешние признаки глубинной, более основательной индустрии развлечений. Теперь сельский подросток в той же мере, что и городской, живет в атмосфере весьма далекой от той, которая формирует стойкое *положительное* отношение к

земле и крестьянству вообще. Престижность городского образа жизни значительно превышает все остальное. Труд и жизнь на земле, несмотря на все наши публицистические восторги, мы превратили в нечто второсортное и нечто унижающее достоинство личности.

Ложноромантический взгляд на мир мы прививаем ребенку с первого класса. Дело поставлено так, что каждому восьмикласснику кажется, что даже любовь можно встретить только в городе, в крайнем случае где-нибудь на Самотлоре или на БАМе. Но ни в коем случае не там, где родился, не дома. Что у себя в селе, или в деревне, или в поселке ничего нет хорошего, интересного, что надо поскорее выбраться из-под родительской крыши.

Что же, на билет своему отроку даже на Дальний Восток всегда легко заработает нынче даже самый забулдыжный пьяница! Но миграция, полная материальная возможность передвижения, свобода смены профессий и мест работы никогда не шли на пользу нравственному состоянию личности. Наоборот, ранний отрыв от семьи, смена друзей и привязанностей, полная эмансипация от всего, что было в прошлом, делают человека безответственным и по отношению к обществу.

Очень хороша пионерская песенка о крылатых качелях. И мелодична, и звучит в замечательном исполнении.

Только небо,
Только ветер,
Только радость впереди, —

слушают дети еще в детском садике. А в десятом классе, незадолго до экзаменов, вдруг приходят в класс инструктор РК ВЛКСМ, председатель колхоза, два-три ветерана. Девочкам, мечтавшим стать геологами и балеринами, настойчиво предлагают стать доярками...

Трудно даже представить, сколько слов произносится нами о воспитании юного поколения. Но воспитывают не слова, не приказы по министерству, и даже не коренные реформы. Воспитывает человека то, что существует еще до его рождения: дом и семья, близкие и дальние родственники, старшие сверстники. Воспитывает вся жизнь, все окружающие. Во младенчестве воспитывают человека все звуки, все запахи и цвета, все поведение окружающих. Песни, природа, игры. Наконец, образование и школа. Чело-

век формируется, воспитывается, все время меняясь под влиянием окружающего, пока у него не появляется способность лепить самого себя. Эта способность самоусовершенствования явно связана с критическим отношением к окружающему, с различением добра и зла. Бывают люди, так и не пробудившие свою совесть, бывают и такие, как Лев Толстой, который воспитывал себя всю жизнь до самой смерти. Даже самая малая способность к самоусовершенствованию намного ценнее, чем нарочитое, так сказать силовое, голое воспитание. В молодом человеке нужно будить прежде всего эту способность. Дети инстинктивно, а позднее и осознанно сопротивляются и даже противопоставляют себя этому явному воспитанию, моральному авторитету, давлению авторитетов, особенно ложных и фальшивых. Но эта способность бессильна перед эстрадой, диско, порнографией, детективом, проникающим в кино или в телепередачу.

Вот я наугад беру с лавки номер местной газеты. Вся вторая полоса очень далека от интересующей нас темы. 3-я полоса — тематическая: «От ГТО к туристическому мастерству». В других заметках говорится об «Артеке» и «Орленке», и... вновь о туристском празднике: «Наше первое задание — начертить маршрут, определить азимуты пути. А на месте нас ждут новые задания: полоса препятствий с установлением палатки, разжиганием костра и ориентирование». Но ведь рядом с палатками косят сено родители, старики, инвалиды... На четвертой полосе большая заметка о туризме, теперь уже для взрослых. Не усложняется «полоса препятствий» для будущих доярок и в апээновском материале: «...героиням Евгении Симоновой присущи лиричность, женственность, обаяние», — говорит автор, упоминая «добрую, всепрощающую Катю из ленты «Афоня», отважную Тасю («Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка»), задорную принцессу из «Обыкновенного чуда» и пр. и пр. Областная газета приходит в деревню с запозданием, но ее юные читательницы в тот же день могли прочесть в ней обширную статью АПН под названием «Парфюмер — профессия редкая»: «Практически все, что мы подаем на стол, можно с успехом использовать как наружное средство», — сообщает АПН. «Для повседневного ухода за лицом рекомендуют пюре, овсяную кашу, салат из свежих овощей, фрукты».

Авторы из АПН всерьез толкуют об НТР, которая помогает косметике:

«Оригинальный аппарат — нечто вроде шлифовального станка, работающего со скоростью до 60 тысяч оборотов в секунду, снимает, словно стружку, поверхностный слой кожи лица и тела».

Та же тема волнует и писателя В. Поволяева (Советская Россия, 1984, № 9), а «Вологодский комсомолец» опять же с помощью АПН сообщает о том, как некто увлекался пантомимой, еще учась в Гамбургской академии: «Я переехал в Париж для занятий в школе Шарля Лекока, потом семь лет проработал в Канадском мимическом театре как актер и режиссер».

Вообще-то искусство — это неплохо, хотя канадский мим-театр и школа Шарля Лекока вряд ли помогут решить проблему доярок. Об искусстве говорится и в театральной афише. Она сообщает о спектаклях «Безобразная Эльза» и «Двенадцатая ночь». Филармония, в свою очередь, приглашает на «концерт джаз-рок-группы «Слайды» под управлением В. Зорина. Воспитателю будущих животноводов поживиться, увы, опять же нечем. Может быть, ему поможет кино?

Выпишем по порядку, что идет в Харовске и в Вологде в этот же день: «Волшебная лампа Алладина», «Неисправимая фантазерка», «Похищение по-американски», «4:0 в пользу Танечки», «Женатый холостяк», «Ларец Марии Медичи», «Гусарская баллада», «Инспектор-разиня» и т. д. и т. п. Я бы не стал приводить весь этот список, если б как раз под рекламой «Формулы света» опять не красовалось объявление о том, что совхоз «Аврора» Грязовецкого района приглашает на работу... работников животноводства. Парфюмеры, как и следовало ожидать, совхозу не требовались.

Что ж, оставим кинематограф и прессу. Может быть, телевидение выглядит лучше? Вот программа ТВ на 23 апреля: «14.45 — «Очевидное — невероятное». 15.45 — Играет народный артист СССР Д. Шафран (виолончель). 16.00 — «9-я студия». 17.00 — чемпионат мира по хоккею. Сборная СССР — сборная ЧССР. 19.30. — Мультипликационные фильмы. 20 00 — Премьера фильма-оперы «Дон Паскуале». 21.00 — «Время». 21.35 — Молодежный вечер в концертной студии Останкино. Встреча с молодыми работниками милиции. 23.50 — «Новости».

Как видим, речь на ТВ идет о чем угодно, только не о деревне и не о выполнении Продовольственной программы. Лишь в программе «Время», да и то вскользь, очень

поспешно, как бы по обязанности, покажут 1—2 сельскохозяйственных сюжета, возьмут торопливое интервью. О самом же главном, самом животрепещущем для земледелия — о погоде, сообщают обычно после шахмат, в самую последнюю очередь. Во всех передачах последних известий и Всесоюзного радио почему-то обязательное и довольно обширное место занимают шахматы (как будто нельзя рассказать о них в отдельных радиопередачах). Но в системе ценностей, которую выбрали наши радио и телевидение, спорт и туризм стали важнее не только лишь прогноза погоды, от которой зависит благополучие сельскохозяйственной экономики, а следовательно, и благополучие многомиллионной страны. Нет, не только.

Программы радио- и телепередач, содержание десятков (если не сотен) периодических изданий, которые выпускаются миллионами экземпляров, сотни художественных и документальных кинофильмов, миллионы грампластинок — все это формируется в основном теми людьми, которые, мягко говоря, довольно спокойно относятся и к Продовольственной программе, и к бедам «нечерноземного» жениха. Круг редакторских интересов зачастую ограничен специфическими, чисто городскими интеллектуальными условиями. Так, журнал «Наука и жизнь» пишет: «Во время игры блиц увлекшиеся шахматисты так энергично переключают шахматные часы, что они скоро выходят из строя». Предлагается «ставить под кнопки резиновые колечки, вырезанные из пробок от флакончиков из-под пенициллина. Это уменьшит стук при переключении, но продлит срок службы часов». Чего только нет на страницах журнала! Например, проблемы парфюмерии и кулинарии перемешиваются советами по содержанию аквариумов, зооуголка и т. д. Увы, для доярок, пахарей и косцов на страницах журнала почти ничего нет. Конечно, срок службы шахматных часов тоже дело важное. Но как бы продлить еще и срок службы транспортерной ленты на скотном дворе? Или ускорить затянувшееся создание легкой удобной бензокосилки? Или придумать простой и удобный способ удаления навоза при отрицательных температурах? Словно бы осознав долг перед сельскими тружениками, журнал (а вслед за ним и газета «Советская Россия», но уже без фотографий) печатает следующий шедевр: «Чем хорошо обыкновенное огородное пугало? Оно дешево и просто устроено: старые штаны и рубашка, набитые со-

ломой, вместо головы — битый горшок. Но что плохо — птицы совсем не боятся этого смешного человечка, и защитник садов и огородов не справляется со своими обязанностями. Английские специалисты решили создать принципиально новую модель пугала». Не оставила без внимания этот вопрос и «Комсомольская правда» (11.1.84). А вот весьма популярная «Неделя» сообщает читателям о судьбе двух тигрят из австралийского заповедника. Тут же сообщается о черепахе Тортилле из японского зоопарка: «Решение ветеринаров было неумолимо: посадить Тортиллу на строгую диету, заменив картофель на траву». Такие заметки сопровождаются снимками и даже чертежами, как в случае с шахматными часами. Вообще для многих газет, журналов, а также радио- и телепередач тема зоопарка стала излюбленной, как, впрочем, и тема цирка. Последнее время появился повышенный интерес к каскадерам. А в радиопередаче «Пионерская зорька» (25 декабря 1983 г.) тема зоопарка удачно объединилась со спортивной: слониха играет в футбол...

В тот же день, включив приемник, я случайно настроился на волну Мурманского областного радио. Шла передача для молодежи. Похвалив молодежную бригаду за хорошую работу, авторы передали для них «впервые вышедшую в эфир песню Морозова «Мотылек». Но лучше бы мне не упоминать эту песню вообще! Потому что самое сдержанное, самое доброжелательное отношение к подобным песням прозвучит нелепо, в лучшем случае иронически.

10 октября 1983 года. Череповецкое телевидение чуть ли не целиком посвятило себя странному, еще невиданному в наших краях искусству. На экране явился человек непонятно какого пола и долго изгибался перед зрителями, пуская в эфир звуки то «в стиле тяжелого рока», то еще в каком-то стиле. Другой человек, «музыковед», с видом профессора комментировал всю эту свистопляску, называемую современной музыкой. Областная же молодежная газета вторит «специалисту»: «Слушая напористую, очень современную игру группы «Автостоп» (ГПТУ № 8), скорее вспомнишь о нон-стопе. Ударник «Автостопа» Юрий Палигин — еще одно открытие фестиваля. И в целом обе группы работают свежо, не оставаясь в стороне от новых течений в музыке»... Но диапазон журналистов не ограничен ударником, газета пишет: «Фанк как стиль, дающий свободу басс- и ритм-группам — это канва, используемая сегодня. Но кото-

рая в будущем будет меняться. Ведущие джаз-музыканты — саксофонист Гроэр Вашингтон, гитарист Джон Скоффильд, басист Марус Миллер, барабанщик Стив Гадд идут в общем-то сходным путем».

«Что дальше?» — вопрошает пропагандист «тяжелого рока». А дальше вот что: молодых доярок везут за много километров в дискотеку слушать сверхшлягеры и «кошачьи концерты», учат их «современным» ритмам и «песням», исполняемым на английском языке. В дело включились все Дворцы и клубы, районные Дома культуры, солидные учреждения и профсоюзные работники. Никто не хочет выглядеть отстающим! Обвинение в непонимании «современных» ритмов, «современных» стилей ожидает каждого, кто не принимает и не понимает все эти ВИА и «рок-группы». А кому хочется выглядеть несовременным, отсталым?

Засомневался в своей правоте и автор этих строк. По этой причине звоню однажды директору Дворца культуры железнодорожников. «У нас сегодня ритм-балет,— сказал директор,— выступает группа «Сирин», приходите обязательно». Иду. Стоимость билета 80 копеек. В темном зале человек восемьсот слушают оглушительную белиберду. На сцене десятка два почти совсем обнаженных (в бикини) девушек. Голые вологжанки старательно имитируют испанский темперамент, двигают животами и бедрами. Где же я? В Вологде или в Париже на Плас-Пигаль? «Испанский» танец сменяется «танцем инопланетян». (Можно себе представить, сколько ухлопано профсоюзных денег на эти инопланетные костюмы.) Животы и бедра по-прежнему в полном ходу. В перерывах мелькают какие-то нелепые слайды заграничного происхождения, звучат глубокомысленные объяснения. Мои соседи — двое подростков из ПТУ связи № 30. «Нравится?» — спрашиваю. Оба неопределенно пожимают плечами. Не дожидаясь конца, выхожу в садик, но здесь господствует ВИА «Календарь». На танцплощадке старательно двигают бедрами несколько девушек. (Те же самые движения, только замедленные и как бы неотработанные.) Певец орет что-то на всю Вологду...

Нет, этих инопланетянок в бикини уже никто никогда не увидит с доильным аппаратом в руках! Рок-группе «Сирин» подражают эти городские девушки на танцплощадке, а вчерашние десятиклассницы из деревень и поселков учатся стилю тяжелого рока уже у них. И мне вспомнились

60-е годы, когда в этом же самом Дворце ежегодно собирались доярки со всей области, как всем им дарили дорогие подарки и как участницы народного хора пели в их честь величальную. Тогда еще существовала возможность найти подмену на два-три дня *для всех* доярок области с тем, чтобы они съездили на слет в Вологду. Теперь этой возможности уже нет. Слет доярок невозможен по той простой причине, что не на кого оставить коров. Подмены нет, и ждать неоткуда.

Вологодский стриптиз наводит на грустные мысли. Становится ясно, что существует вполне определенная и четкая взаимосвязь эстетического воспитания с нравственным обликом человека. Но ведь от нравственного облика, в свою очередь, полностью зависит отношение к семье и труду! Поэтому мне вовсе не все равно, в каком виде и как танцует девушка из группы «Сирин». Но ей даже и в голову не приходит, что все это просто неприлично. Ее безграничное, безоговорочное доверие к художественному руководителю, к тому, что показывают в кино и по телевидению, как бы освобождает ее от собственного критического отношения ко всему этому. Ей внушили, что все это современно, а то, что современно, по ее мнению, не может быть безнравственным. Так ей кажется. В результате: танец живота, в бикини перед всей Вологдой, на глазах у родных и знакомых. Более того, мамаша такой «герл» также не понимает почти ничего и защищает вологодский стриптиз: «Очень красиво». Я спрашиваю: «Скажите, существуют неприличные рисунки и слова?» — «Что за вопрос, конечно». — «Ну а неприличные звуки, музыкальные ноты?» Она слегка задумывается и теряет уверенность. «А движения могут быть неприличными,— продолжаю я,— например, в танцах, в балете на льду?» Она сердится: «В балете не может быть неприличных движений. Вы просто отстали, не чувствуете современности».

Итак — современно или не современно. Слово это эксплуатируется чаще всего. Может, я действительно отстал, закостенел в ретроградстве? Недавно, будучи в ФРГ, попросил переводчика сводить меня в одну из дискотек города Франкфурта. Зная, что такое вологодская группа «Сирин», я ожидал увидеть во Франкфурте по меньшей мере столпотворение, нечто невиданное и т. д. Каково же было мое удивление: я ничего этого не увидел! Франкфуртская молодежь, как говорится, в подметки не годилась вологодским любителям тяжелого рока...

В гостинице я каждый вечер включал телевизор. Старался уловить общее, то есть преобладающее музыкальное направление. Во франкфуртской гостинице один из каналов принадлежал американской программе. Зная пристрастие нашего телевидения к эстраде, цирку, рокам и т. д., я ожидал от западных программ тоже не иначе как столпотворения. Но за все двенадцать дней ни по американскому телевидению, ни по телевидению ФРГ я не услышал ни одного рок-ансамбля! (Реклама, заполонившая телевизионное время, оказалась не менее тошнотворной. Но это уже иная тема.) Зрелище, подобное выступлению вологодского рок-балета «Сирин», на Западе можно увидеть лишь в определенных местах, называемых там «злачными».

Почему же не ощущают этой злачности вологодские «артисты» и зрители? Все очень просто. Авторитет Центрального телевидения вологжане считают нерушимым, а Центральное телевидение...

Впрочем, поговорим теперь о Центральном радио. Лето 1983 года. 10 часов утра, третья программа. Передача радиостанции «Юность». «По вашим письмам»,— сообщается в начале. Но никому не известно, что из многих тысяч писем, поступающих на радио, можно всегда выбрать те, которые до зарезу нужны сидящим в редакции любителям «тяжелого рока». Для соблюдения видимой объективности зачитывается одно превосходное письмо о музыке. Затем второе — глупое и наивное об эстраде и легкой музыке. Чтобы примирить противоположности, используется авторитет композитора Саульского, но он говорит, что надо настойчиво воспитывать вкус к эстраде и рок-музыке... Неужели радиостанцию «Юность» больше ничего не заботит, как то, что пропаганда рок-музыки недостаточна? Назавтра в 10 часов снова усиленно заставляют слушателя понимать джаз. За словесной эквилибристикой с такими терминами, как «концептуальность» и пр., следует «музыка». Да такая, что Бетховен и Бах оба схватились бы за голову. Проводится мысль, что пока не освоишь рок, Баха тебе не постигнуть. Исполняется аллегро из «Маленькой ночной серенады» в джазовом исполнении. Интересно, что бы на это сказал Моцарт? Об этом авторы передачи не задумываются. Руководитель «Автографа» А. Ситковецкий жалуется на «недостаточную информацию» и «легкость восприятия», ссылается на музыкальные авторитеты, на какие-то совещания и т. д. И все ради музыкального «воспитания»,

«Музыкальное воспитание» последние годы так активизировалось, что это понимают даже глухие. Тысячи дискотек потчуют молодежь визгом и грохотом, стоит включить приемник — то же самое. Паузы в радиопередачах редко заполняются полноценной музыкой, сами передачи сопровождаются эстрадно-роковыми поделками, музыкальные заставки в серьезных передачах противоречат основному их тону. Даже реклама сберкасс и пожарников сопровождается творениями многочисленных ВИА. Прибавим сюда пластинки, выпускаемые космическими тиражами, звучащие на стадионах, катках, в клубах, на заводских дворах, а то и просто в квартирных окнах, вспомним о километрах магнитной ленты с записями той же оглушающей, отупляющей, зарубежной и доморощенной эстрады.

И все это маскируется многострадальным словом «современно». Современное, дескать, восприятие, современные ритмы и т. д. Все, кто протестует, кто борется с этой вакханалией, объявляются отставшими от века, ретроградами и чуть ли не реакционерами. Хорошо бы поговорить на досуге, что такое истинно современное, но досуга этого нет, диски крутятся без передышки, без остановки. Попробуем все-таки докричаться. Знают ли любители роков, как действует сия «музыка» на здоровье молодых людей? Исследования японских и европейских ученых показывают, что вреда от нее не меньше, чем от таких наркотиков, как алкоголь и табак, что поражаются при этом не только слух, но и вся нервная система.

...В тот же день, через несколько часов после упомянутой передачи «Юность», Виктор Татарский объявил об очередной передаче «Встреча с песней». Он процитировал письмо группы жителей Камчатки, которые жаловались на «несовременность», распустили у них народный хор. По их просьбе Всесоюзное радио исполнило русскую народную песню. И пусть «Коробушка» названа в передаче «Коробейниками», пусть исполнена она была неверно, с ритмическими и мелодическими искажениями, все равно это было неплохо. Эстрадное, но не безотрадное.

Итак, чтобы услышать по радио нечто свое, близкое сердцу, надо быть ветераном войны либо труда, надо написать В. Драгунскому, а потом много недель ждать передачи «Встреча с песней». Но за это время можно оглохнуть от всевозможных роков и битлзов. И речь здесь не только о том, что дефицитными стали русские песни. Дефицитны-

ми стали *все* вообще народные мелодии. Часто ли звучат по радио, например, прекрасные армянские народные песни? Или мелодии Литвы в хоровом исполнении? Время на радио и ТВ забито дешевой эстрадой. Классической музыке везет, правда, больше, но все равно Глинка на радио и телевидении более редкий гость, чем, например, Таривердиев, так же как Пушкин по сравнению с Р. Рождественским.

Сельские жители Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии страдают от засилья эстрадной безвкусицы наравне с русскими. Ведь авторы подобных передач живут в Москве, и вся их психология, все их интересы чужды интересам сельского жителя.

Только ли сельского? Оставим пока в стороне ответ на этот щепетильный вопрос (тема нашей статьи — сельская). Зададим другой: что можно и нужно предпринять практически?

Вот что пишет, например, ветеран войны и труда, москвич Борис Георгиевич Прозоров: «Деревня теряет не кадры. Это социалистическое Отечество теряет хозяина, умелого земледельца, трудолюбивого, многосемейного, безмерно преданного душой и телом Родине. Что необходимо сделать для возрождения деревни, исходя из существующего социалистического государственного устройства страны, многонационального нашего государства?

Постараюсь честно, как думаю, изложить свои мысли:

1. Все институты, занимающиеся проблемами сельского хозяйства, надо переместить в сельские региональные районы страны. Для всех научных сотрудников, за их счет, в рассрочку, построить индивидуальные благоустроенные дома с приусадебными участками. Грамотный культурный персонал институтов способствовал бы развитию деревни, благоустройству дорог, а самое главное, работал бы на земле, как научно творчески, так и физически творчески, понимал бы душой и телом жизнь на селе, его нюансы, природные условия того или иного региона.

2. Необходимо интенсивно возрождать все заброшенные деревни без исключения. Места проживания в деревнях наши предки выбирали с умом, а правильность выбора подтверждалась долгим проживанием дедов, отцов. Строить дома в заброшенных деревнях, отвечающие современным

требованиям, с приусадебными участками, с необходимыми пристройками. Дома строить и продавать в длительную рассрочку, продуманную с одной целью: закрепление земледельца на земле».

Нужно быть либо равнодушным, либо враждебно настроенным по отношению к Продовольственной программе, чтобы считать такие предложения не стоящими внимания. Я полностью присоединяюсь к этим предложениям, хотя и считаю их недостаточными. Чтобы выполнить Продовольственную программу, нужно еще очень многое. Например, если говорить об идеологии, почему бы Комитету по радио и телевидению не отдать одну из четырех телевизионных программ полностью сельской тематике? Не мешало бы и одну из радиостанций, причем самую мощную, такую, как «Маяк», отдать полностью для обслуживания многонациональной сельской среды. А разве так уж трудно специализировать в этом плане одну из киностудий страны? Ясно, что и Комитету по радио и телевидению, Комитету кинематографии сделать это вполне по силам. Было бы лишь желание...

Что касается названия этой статьи и закрепления десятиклассниц на фермах, то здесь я, вероятно, разочарую многих читателей. Дело в том, что пора бы уже всем нам понять, что силовые методы закрепления приводят к обратным, противоположным результатам. Это, как говорят, во-первых... А во-вторых, несмотря на механизацию, труд животновода женщине, увы, не подходит, он все-таки больше подходит мужчине. Может быть, на так называемых семейных фермах (по методу бригадного подряда) женщины и девушки работали бы намного охотней? Но теперь, когда слово дояр употребляется пока очень редко, рассчитывать на патриотизм десятиклассниц весьма рискованно.

В животноводство должны, наконец, прийти мужчины, может быть, из числа механизаторов. А пока... пока областная газета вынуждена по-прежнему помещать такие вот объявления: «Совхозу «Беловский» требуются доярки. Жилье предоставляется в двухэтажных коттеджах».

1984

ДОРОГИ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Ни о чем другом не сложено столько легенд и песен, как о дорогах. Во все века и, наверно, у всех народов образ «путь-дороги» стоял в центре поэтического самосознания. Не знаю, как у других, но у русских он почему-то вызывает и образ матери или родимого дома. О дороге пели и чумаки на знойном шляху, и ямщики под морозный звон колокольчика. В Азербайджане, провожая сына в путь, мать поливала дорогу водой из кувшина.

Народные обычаи тем и хороши, что они разные. Этот обычай жаркого юга выглядел бы не очень поэтично у нас, на холодном и мокром севере. Особенно ненастным летом, когда дожди льют с мая по ноябрь почти беспрерывно, когда в иных местах за все лето выдастся не более десятка сухих, погожих дней. Иногда за неделю выпадают многомесячные нормы осадков. Реки тогда выходят из берегов и грунтовые дороги еще весной становятся совсем непроезжими. Трудно представить, каких усилий стоит в такое лето калининцам, вологжанам, ярославцам, ленинградцам и другим северянам провести сенокос, убрать урожай, да и вообще сохранить экономическое равновесие!

Ненастье не устрашит шоферов и водителей лишь на асфальте. Об этом вряд ли помнят все желающие вырваться из многошумной Москвы на Золотое туристическое кольцо или дальше на север. Распирая пояс окружной дороги, город кое-где в нетерпении разрывает его. И долго еще Москва не выпускает путника из своих объятий. Но вот, наконец, мы на пути к Загорску, можно одуматься, многое вспомнить. Асфальтовая лента государственного шоссе Москва — Архангельск разматывается все дальше и дальше на север. В скором времени к Белому морю люди поедут на «Жигулях». Трасса словно бы разрезает всю нечерноземную зону на две неравные части. По бокам дороги влево и вправо раскинулись на тысячи километров пространства, обжитые еще древними новоградцами и суздальцами. Моя маленькая деревушка Тимониха находится в середине этой необъятной зоны, в ста километрах к западу от строящейся трассы. И чем ближе мои родные места, тем труднее преодолеваются километры. От Вологды мой путь идет по дорогам областного подчинения, затем районного и, наконец, колхозного. Такая ступенчатость позволяет дорожникам постепенно снижать меру ответственности, в

конце пути за дорогу уже никто не отвечает, и она совсем исчезает, хотя в Автомобильном атласе обозначена очень четко.

Но ведь судьба Нечерноземья решается теперь как раз в глубине районов, то есть в условиях или абсолютного, или относительного бездорожья.

Вот десятикилометровый дорожный участок Козлихи — Шапша. Он соединяет с миром совхоз, одно солидное лесопромышленное предприятие и два довольно обширных колхоза. Прямо скажем, не об этой дороге поется в прекрасных песнях советских композиторов! Но словно в насмешку, торчит на дороге ограничительный знак: скорость не должна превышать 45 километров. Я попытался представить, сколько тысяч машин буксуют одновременно по обширному Нечерноземью и сколько тысяч тонн бензину сжигается ежедневно впустую на просторах Северо-Запада. Чтобы не обвинили меня в субъективности, процитирую письмо электросварщика И. Беляева (газета «Красный Север», 1977, № 301.). Такие письма отнюдь не редкость в редакциях районных и областных газет северо-западных областей.

«Когда смотришь на дорогу, ведущую от поселка Плоское к станции Нефедово, невольно начинаешь сомневаться в возможностях прогресса. Посудите сами. Когда-то наши отцы построили ее своими руками: на лошадях возили песок и камни, лопатами рыли кюветы, подсыпали полотно. И содержалась эта дорога всегда в хорошем состоянии.

А сейчас на ней в распутицу вездеходы вязнут. Сколько техники загублено! Если бы средства, угробленные здесь, пустить в дело, до Нефедова пролегла бы автострада с фруктовыми деревьями на обочинах. На ветвях пташки бы свистели... А пока свистят колеса застрявших машин. Но совхоз «Плоское», лесотарный комбинат и спиртзавод, пользующиеся этой дорогой,— все кивают друг на друга да на дорожную службу и никак не догадаются взяться за дело сообща».

Прочитав это письмо, а особенно после того, как поездил сам, я решил выяснить, кто же отвечает за состояние районных дорог? Но мне ничего не удалось выяснить. Колхоз, отвечающий за состояние внутриколхозных дорог, ими не занимается. В районе дорожники хитро разделились на два обособленных лагеря: на строителей и эксплуатационников. Ни те, ни другие не имеют достаточно техники и людей для обслуживания этой техники. Подчинены они

областному дорожному управлению, которое в свою очередь подчиняется Министерству строительства и эксплуатации дорог РСФСР. Параллельно в Москве действует на правах республиканского министерства Росколхоздоробъединение, которому подчинены областные организации «Межколхозстроя». Эти организации также жалуются на нехватку кадров и техники. И что же, выходит, все дело уперлось в нехватку техники? Но никогда еще не было в районах так много прекрасных и мощных машин, бульдозеров, кранов, как сейчас! В одних специализированных организациях по мелиорации, химизации, строительству, электрификации и т. д. столько техники, что в каждом районе можно бы ежегодно строить свой маленький БАМ. Но ведь есть еще и промышленные предприятия, и колхозы, в которых в связи с сезонностью работ техника зачастую простаивает.

Вот и вырисовывается довольно странная картина: все ждут, что дорогу наладят дорожники, а дорожники так маломощны, что сделать это не в силах.

Казалось бы, выход простой: надо выполнять принятые правительством решения, обязывающие все предприятия и организации участвовать в дорожном строительстве. Увы, на практике выполнение этого решения наталкивается на постоянные трудности. Ведь у каждого предприятия свой план, своя специализация и свои проблемы. Районные исполкомы просто иногда не могут преодолеть узковедомственную психологию руководителей. Ежегодно объявляются месячники, принимаются вроде бы толковые решения, а дорога мало-помалу становится непроезжей, просто исчезает. Дорогой становится все, ничем не ограниченное пространство. Добро бы корежились одни кусты да никуда не годные пустоши! Но ведь отчаявшийся шофер или тракторист готов ехать всюду, даже по тещиной капусте, лишь бы не буксовать. Поэтому трудно даже подсчитать, сколько в северо-западных областях погублено лугов и пастбищ, сколько ежегодно губится клеверов, льна и злаковых под колесами и гусеницами.

Нынешние остряки из газетного мира считают бездорожье синонимом Нечерноземья. Шутки-то шутками, а бездорожье действительно одна из самых главных проблем, без разрешения которой невозможно выполнение государственных задач по развитию Северо-Запада.

Вот у меня на родине в совхозе «Кумзерский», к при-

меру, намечено построить овцеводческий комплекс, призванный возродить на Вологодчине славу романовской овцы. (Когда-то над шубой издевались, теперь всем известно, что такое дубленка.) Строительство затянулось, главным образом, из-за бездорожья. Могут возразить, зачем, дескать, строить там, куда нет дорог? Но ведь при выборе места строительства должны учитываться многие социально-экономические условия. Нельзя сбрасывать со счета такие факторы, как демографическая обстановка, размещение земельных угодий и т. д. (Зависимость, к примеру, количества поголовья от покосов и выпасов очевидна.) Это одно. А другое то, что и при строительстве вблизи государственных трасс проблема не исчезает. Машины в условиях Северо-Запада начинают буксовать сразу, как только съезжают с бетонки или асфальта.

Вернемся к нашим баранам, то есть к Кумзерскому овцеводческому комплексу. Дело в том, что, когда начинали строительство, дорога, хоть и не ахти какая, но была. Вскоре она была разрушена. Во многих местах она исчезла было совсем. Причем произошло это с помощью тех же строителей. Чтобы доставить в Кумзеро обычные стройдетали, приходилось использовать самую мощную специальную технику (что само по себе обходится дорого). А после такой техники по дороге могут пройти лишь долговязые «Беларуси». Там же, где побуксовал «Беларусь», автомобилю нечего даже соваться. И вот автоколонну сопровождают уже не колесные, а гусеничные тракторы, то и дело вытаскивая засевших в грязи. Один-два таких рейса, и грунтовая дорога, на строительство которой было затрачено так много денег, нервов и времени, окончательно угроблена.

Эти подробности, надеюсь, уже подготовили читателя к тому, чтобы поразмышлять на несколько необычную тему. Может быть, все-таки существует экономическая целесообразность больше строить хороших дорог, а не машин-вездеходов? Сейчас наша автомобильная промышленность ориентирована в основном на улучшение проходимости автомобиля и на увеличение грузоподъемности. Мы гордимся нашей могучей техникой. Мало кто из капиталистов обладает такими мощными машинами, как КРАЗы и МАЗы, как трактор С-100 или «Кировец». Понятно, что без таких мощных механизмов не обойтись во многих отраслях нашего хозяйства. Но давайте зададим вопрос экономистам: всегда ли и везде ли выгоднее усиливать прохо-

димость машин, чем улучшать дорожные условия? Не лучше ли засыпать песком дорожную яму, чем лишний раз модернизировать, например, КРАЗ? Я уже говорил, что на грунтовых дорогах после мощных вездеходов нечего и соваться другим, более легким машинам. Создается своеобразный порочный круг: чем выше проходимость машин, тем больше вреда дороге, чем хуже дорога, тем большая должна быть проходимость и металлоемкость. Иногда этот самый КРАЗ или МАЗ (а то и трактор с тележкой), вместо того чтобы возить с делянок лес, шпарит в райцентр за пряниками для орса. Или везет отпускников к поезду, в то время как автобус простаивает из-за бездорожья. Даже и на сплошном асфальте, в городах, нередко эти тяжелые машины возят «галантерею и парфюмерию», поскольку более легких, более экономичных видов транспорта у той или другой организации под рукой не оказалось. Но разве для этого создавались эти машины-гиганты? Расходовались миллионы тонн дополнительного черного и цветного металла, резины и т. д.? А сколько напрасно в таких случаях расходуется бензина, дизельного топлива, смазочных материалов? Понятно, что мощные вездеходы незаменимы на строительстве гидростанций и разработке карьеров. Но в обычных условиях они вполне заменимы! Заменимы более легкими, более экономичными машинами, на строительстве которых экономится металл, а при эксплуатации — горючее. Я уже говорил, что чем выше проходимость машин, тем ниже становится проходимость грунтовой дороги. Если разорвать этот порочный круг, то вовсе не обязательно срочное строительство дорогостоящих бетонных трасс, то есть максималистское решение вопроса. Достаточно будет на первых порах обычных грунтовых дорог, с обычным дренажом и недорогим покрытием.

Что же, выходит, что одна дорога должна строиться для одного вида транспорта, а другая для другого? Именно так! Ведь в городе никто не позволит гусеничному трактору выехать на асфальт. Почему же на грунтовую, ограниченную в своих возможностях трассу разрешается выезжать любым, даже самым тяжелым видам техники? Ведь ясно, что из-за этого очень скоро дорога становится непроезжей уже для всех видов транспорта. А такое положение часто приводит к серьезным затруднениям не только в строительных и хозяйственных организациях, но и на промышленных предприятиях. Колхозы и совхозы задерживают поставку сельхозпродукции, не выполняют планы

заготовок. При бездорожье колхозам порой грозит полное экономическое омертвение. Из-за невозможности маневрировать техникой мы не успеваем вовремя посеять и убрать урожай. Не завозятся в достатке удобрения и горючее, плохо снабжаются магазины, страдает медицинское и культурное обслуживание.

На мой взгляд, не только экономическую, но и культурно-нравственную зрелость нынешнего районного руководителя можно вполне оценивать по его отношению к дорогам.

Бывает так: вместо того чтобы приложить усилия и построить либо отремонтировать дорогу, районные организации поощряют ликвидацию отдаленных ферм, бригад или участков. Таким образом, под видом концентрации производства происходит его свертывание. Ведь Харовскому райпотребсоюзу, например, ничего не стоило ликвидировать в колхозе «Родина» сначала пекарню, а затем и сельпо. Меньше, мол, стало возни. Но теперь люди вынуждены грызть черствый хлеб либо вообще питаться одними пряниками. Дурной пример заразителен. Если закрывают сельпо (под видом укрупнения), то почему бы не закрыть медпункт, затем начальную, а позднее и восьмилетнюю школу? Почему не ликвидировать и целую бригаду с ее отдаленными фермами? Само собой разумеется, что если закрыта начальная школа или же деревня специально отключена от электросети, люди будут вынуждены переезжать на центральную или опорную усадьбу хозяйства. Но ведь уехать-то можно и дальше, чем опорная усадьба. Об этом почему-то забывают сторонники административных мер. Снявшемуся с насиженного места ничего не стоит уехать из колхоза совсем.

* * *

По моему глубокому убеждению, минимум хороших дорог не только закрыл бы во многом искусственную проблему сселения мелких и средних деревень. Сегодня такой минимум практически уничтожил бы остатки социальных противоречий между городом и деревней.

Совсем не плохо было бы подумать и об эстетическом облике наших деревень и окружающих окрестностей. Коегде к фермам трудно подъехать даже на ДТ-54, а улицу в иной деревне не отважится переходить ни старый, ни малый.

Можно ли говорить хотя бы об эстетической удовлет-

воренности трудом, если к ферме надо добираться чуть ли не вплавь, по колено в грязи? Неудивительно поэтому, что многие вчерашние десятиклассницы не допускают даже и мысли остаться в деревне и работать в животноводстве.

Я уж не говорю о прямых экономических потерях. Например, ежегодно колхозы Северо-Запада терпят значительные убытки из-за низкой сортности молока, несвоевременной отправки продукции.

Наконец, нельзя забывать и о том, что хорошая дорога воспитывает и формирует хороших работников, дурная — дурных. Надо наконец расстаться с романтическим отношением к шоферскому героизму. Слов нет, шоферы герои. Но глубокая колея не столько воспитывает мастерство и мужество, сколько развращает шоферскую душу. Измаявшись и вымазавшись в грязи, шофер спешит не к цели своего маршрута, а в придорожный магазин... Для чего мыть под капотом, если завтра все равно там будет снова забрызгано? От этого недалеко и до такого вопроса: для чего делать своевременные ТО-1 или ТО-2? Опыт говорит прямо и непреложно: где бездорожье, машин не жалеют, технического ухода как следует не делают, а лишь меняют детали и узлы, вышедшие из строя. Отсюда вечный дефицит и анархия в снабжении запчастями. Отсюда же и прямое государственное преступление: разукомплектовывание на запчасти новых агрегатов, поступающих с машиностроительных заводов.

Так почему же многие из нас зачастую считают дорожную проблему всего лишь второстепенной?.. Мне хочется привлечь к этому делу и внимание экономистов, плановиков, проектировщиков. Особенно экономистов. От состояния дорог зависит все. В том числе целесообразность освоения средств, выделенных для подъема Нечерноземья, экономическая отдача. Наконец, просто материальное состояние людей и обороноспособность государства. Областные и районные дороги находятся сейчас не в одних руках. (Вернее, неизвестно, в каких руках они находятся.) Насыщенность же народного хозяйства техникой возрастает буквально не по дням, а по часам. Еще не так давно весь машинно-тракторный парк моего родного колхоза «Родина» состоял из нескольких тракторов, двух-трех автомашин и пары комбайнов. Нынче в колхозе количество автомашин и других самоходных агрегатов исчисляется уже десятками. Разве нельзя с такой техникой строить дороги хотя бы и своими силами, без специальных капитальных

вложений? Конечно же, можно. Особенно в межсезонье и в зимнее время, когда происходит свертывание основных сельхозработ. А сколько техники находится на предприятиях и в руках специализированных организаций! Если бы всю простаивающую технику хотя бы время от времени собирать в кулак, в дорожном строительстве можно бы многое сделать.

Вывод из всего сказанного напрашивается сам: необходимо покончить с распылением средств, выделяемых на дорожные дела. Такое распыление как во времени, так и по расстоянию обходится государству слишком дорого. Надо как можно быстрее объединить и укрепить дорожные строительные организации, дать им хорошие кадры, добрую технику, может быть за счет колхозов, совхозов, предприятий и специализированных государственных организаций. Это очень скоро обернется пользой для тех же организаций, не получивших лишний кран или бульдозер. Наконец, научные рекомендации, где они? Кто научит строителей быстрее, дешевле и добротнее строить ту или иную дорогу? Проектные дорожные организации зачастую относятся к нуждам дорожным формально. Иногда они лишь огребают деньги, взамен на свои скороспелые контурные проекты (не буду приводить примеров из-за недостатка места).

* * *

...Об этом и многом другом рождаются мысли, когда мчишься с холма на холм по Валдайской возвышенности, к Ростову и Ярославлю. И дальше, к Вологде. Дорога стремится к Белому морю на север, и климат меняется с каждым часом. В Вологодской области, к примеру, уже не встретишь московского краснолесья. Но о том, на что способна наша северная земля, можно узнать в таких деревнях, как Слобода Грязовецкого района или Огарково Вологодского. Крестьяне собирают здесь устойчивые урожаи в тридцать — сорок центнеров хлеба с гектара. Хотя здешняя земля шесть месяцев в году покрыта снегом и льдом.

Север? Да! Но еще в XVII веке, а может, и раньше северные крестьяне производили товарный хлеб. Они продавали зерно в Скандинавию. Северо-Запад России может стать зоной устойчивого земледелия. Не менее устойчивого, чем, скажем, Казахстан и Кубань.

1979

ПРОТИВ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

Надо иметь развитое воображение, чтобы представить тысячи развалившихся семей. Искалеченный быт. Горе детей, которых променяли на водку безответственные отцы, а иногда не менее безответственные матери. Производство, страдающее от оглушенных алкоголем, дряблых работников. Шоферские баранки, крутящиеся не в ту сторону. Прямые человеческие жертвы, потерянное здоровье. Курение, обычно в большой мере сопутствующее пьянству и уносящее с ним вкупе обычную радость жизни. Половые, моральные и прочие извращения. Наконец, тысячи физически ненормальных детей, зачатых на пьяном ложе и рожденных отнюдь не на радость обществу.

Можно ли забывать обо всем этом? Нет, все это у любого здравомыслящего человека не может вызвать восторга... Недавно, беседуя с председателем одного из народных судов, я услышал несколько любопытных цифр. Оказывается, в районе количество разбираемых дел по статье 206 (хулиганство) в общем объеме судебных дел занимает первое и главное место. Число осужденных по этой статье также самое высокое в общем объеме осужденных. Далее председатель суда сказал мне, что дела по этой статье на сто процентов связаны с пьянством...

И мне вспомнились многие кампании борьбы против пьянства, которые ничем не заканчивались. Что-то уж больно быстро выдыхались наши писатели, публицисты, социологи. Обменявшись мнениями, они опять успокаивались, словно бы ничего и не было, словно бы зло исчезло.

А зло, оно и не думало исчезать. Каких только причин мы не открыли, рассуждая об этом зле! Одни из нас утверждают, что пьем много потому, что стали богаче жить. Другие считают пьянство неким национальным атрибутом,— мол, всегда так было, что русский пьет перед едой, а прочие европейцы после. Третьи искренне думают, что виноваты «боевые сто грамм», которые выдавались во время войны,— это они, мол, наплодили алкоголиков... Четвертые говорят еще о чем-либо, пятые вообще ничего не говорят. И делают вид, что никакой проблемы не существует. Многие даже очень умные товарищи думают об этом с некоторой не то чтобы гордостью, а так, как-то любов-

но. Вот, мол, мы какие удалые, пьем больше всех, но и дело знаем. Они не прочь иной раз процитировать Бориса Корнилова, как сделал это журнал «Кругозор»:

Водка, что ли, еще? И водка!
Спирт горячий, зеленый, злой!
Нас качало в пирушках вот как,
С боку на бок и с ног долой!

Нашли чем гордиться! (Конечно, тут очень легко сбиться на демагогию, ведь стихотворение, в общем-то, не о водке, а о другом.) Все равно, примечательное стихотворение! Другой поэт, словно бы перед кем-то оправдываясь, с горечью пишет:

Был бы там,
Решился бы, спросил я,
Отчего был дед на зелье лют,
Почему сыны твои, Россия,
Больше всех на свете водку пьют?

Почему? В самом деле, почему?
Оказывается, что:

Не надо удивляться.
Наши деды по нужде, поверь,
Пили столько, что опохмеляться
Внукам их приходится теперь.

Вероятно, в строфах есть другой, переносный смысл: ничего нет вреднее прямолинейности в разговоре о поэзии. Но я пишу не критический разбор, а статью о пьянстве. Поэтому позволю себе еще одну выдержку. Послушаем же, что говорили сами наши деды, которые, если верить поэту, пили больше, чем мы, то есть их внуки:

«Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда — пьянство. Философы мысль растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели. Крепкие стали дряблые, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали.

...Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянство. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселит худую кобылу».

Слова эти подлинно народные. Они взяты замечательным писателем и фольклористом Борисом Шергиным из

рукописного «Устьянского правильника»— свода морских правил северных крестьян. А слова у наших дедов отнюдь не всегда расходились с их делами. Еще на моей памяти в предвоенное десятилетие годовое потребление водки на душу было во много раз меньше, чем теперь. И это совсем не из-за того, что тогда жизненный уровень колхозников был значительно ниже. Говорю это потому, что многие объясняют рост пьянства в послевоенные десятилетия ростом народного благосостояния.

Я хорошо помню тогдашние деревенские праздники. Не скажу, что их было меньше, чем теперь, совсем нет. Однако солидность праздника, мера веселья на нем совсем не зависели от количества опорожненных бутылок. Застолье в четверо мужчин обходилось за целый вечер самое большое двумя-тремя четвертинками. Пили крохотными рюмочками, а не стаканами. Причем хозяин вовсе не торопился их наполнять. Зато стаканы с пивом и суслом стояли все время наполненными. Пьянчужек, которые имелись, конечно, и в то время, выставляли из-за стола на волю либо заставляли «протрястись», то есть проплясаться. Промежутки между тостами мерились как этими плясками, так и длинными, протяжными грустными и веселыми быстрыми песнями. (Однажды я засек время: одну лишь песню «Эдакой ты Ваня» пели больше десяти минут. Таких песен наши крестьяне знали множество.) Прибавим еще обстоятельные, по-крестьянски неспешные разговоры, объяснения, ритуалы потчевания,— каковы же выходят промежутки между рюмками? Считались позором приприашивания, провокация на ускорение либо персональная внеочередная рюмка.

Все это я хорошо помню, это были 30-е годы. Если же взять еще более ранний период, то, как рассказывает моя мать, тогда холостая молодежь, а также и женщины вообще ничего не пили, кроме пива и сусла. Считалось вредным и неприличным. Народные обряды, крестины, поминки, сорокоусты обходились либо одной, довольно обильной едой, либо чисто символической выпивкой. Даже свадебный ритуал не представлял пьянке особого простора: каждое подношение перемежалось большим и весьма сложным действом с участием свах, дружек, девичьего хора, всевозможных божаток, тысяцких и т. д. Лишь последний, заключительный свадебный аккорд сочетался с выпивкой, причем жениху и невесте и тут положено было оставаться трезвыми. И стоит только пожалеть, что теперешние воло-

годские свадьбы свелись всего лишь к этому последнему аккорду, да и то в его оскопленном, урезанном виде...

Зачем же мы сваливаем вину на дедов? Нет, деды тут ни при чем, они не несут ответа за пьяных внуков.

* * *

Испокон веку народ в сказаниях и былинах самых жестоких своих врагов рисовал в фантастическом образе многоглавого змия, пожирающего людей. И, наверное, не случайно зло, связанное с пьянством, назвали в народе «зеленым змием». Ведь всем известно, что змий этот пожирает людей, иногда и самых талантливых. На мой взгляд, самое страшное — это то, что пьянство лишает человека главного в нем: его общественной активности. Человек становится ко всему равнодушным, даже к собственным страданиям.

У меня есть один знакомый колхозник — кузнец, хорошо знающий свое дело, имеющий великолепную семью. Добрый душой, трудолюбивый и уважаемый всеми человек. Но вот беда, его уже много лет боятся приглашать в гости. Выпив немного, он еще ничего, поет, замечательно пляшет. Но за одной стопкой обычно следует другая, потом третья, четвертая, и он понемногу преображается, становится просто нетерпимым, лезет в драку со всеми подряд. И тогда его стараются быстро-быстро споить, чтобы он поскорее свалился и уснул. Естественно, после этого он становится совсем безопасным как для хозяев, так и для гостей. Спит, и с ним можно делать все, что угодно и кому угодно...

Обычно мы говорим об алкоголизме как о болезни индивидуально-физической, а не как о массовой общественной болячке. Но ведь далеко не все пьющие — алкоголики, хотя не исключена для них и такая перспектива... И я говорю сейчас об алкоголизме не как о болезни физической, а как о болезни морально-общественной: эти понятия ни в коей мере нельзя объединять в одно.

Как-то в нашей Вологодской области прошла волна увлечений так называемыми молодежными кафе. Многие молодежные организации начали учреждать эти кафе в районных городках, больших селах и лесных поселках. Намерения были благие. Открылось множество всяких «Ромашек», «Аленок» и «Снежинок». Вначале в них проводились тематические вечера, встречи с художниками, поэтами, музыкантами и т. д. По примеру телевизионного «Огонька»

номера и выступления чинно сопровождались глотками черного кофе. Без алкоголя не обошлось и тут, но торговали только сухим либо красным крепленым вином. Странное дело! Все эти заведения оказались, как говорят, «нерентабельными», местные торговцы схватились за голову. С хитростью кошки, которая тянется за лакомством, закрывая глаза, буфетчицы начали торговать «Зубровкой», «Перцовкой» и «Зверобоем». Надо ли говорить, во что очень скоро превратились многие «Ромашки» с «Аленками»?

Тут-то и подходим мы вплотную к одному из удивительных общественных парадоксов. С одной стороны, общество борется с ненавистным ему пьянством, судит пьяниц, бичует на собраниях и в стенгазетах, разбирает на административных комиссиях. С другой стороны, то же общество производит бездну спиртных напитков и всеми силами старается их сбыть, продать, выпоить их своим же членам. Зачастую одни и те же руководители занимаются тем, что стремятся как можно больше продать спиртного, и одновременно они же воспитывают, бичуют пьяницу-покупателя... Где же логика?

В беседе с одним из руководящих товарищей я однажды услышал новое для себя выражение: дензнаки. «Видите ли,— сказал он,— дензнаки уходят из области по многим каналам. То тут, то там создается дефицит денежных знаков, приходится покрывать их недостаток продажей водки».

Я плохой экономист и не рискую пускаться в финансовые дебри. Но, товарищи экономисты и финансисты, почему же этот дефицит в «дензнаках» устраняется обязательно при помощи продажи водки? Конечно же, этот способ самый подручный и легкий. Не надо особо ни думать, ни беспокоиться. Но кто подсчитает убытки от снижения производительности труда? Убытки от прогулов, от простоев техники? Наконец, моральные, ни с чем не сравнимые потери общества?

Теперь в семьях, где имеются пьющие мужчины, далеко не всегда рады двум выходным. Также у многих матерей и жен замирает сердце, когда приближается какой-либо праздник. А праздников у нас довольно много. Каждый общенациональный праздник обычно длится два дня. Прибавим к ним общесоюзные праздники по профессиям, далее праздники локальные, связанные с жизнью одного предприятия или колхоза. В некоторых, особенно сельских, местах еще отмечаются православные праздники, хотя они давно потеряли свою религиозную окраску. Наконец, при-

бавим сюда личные и семейные праздники, а также воскресные и выходные дни. Что получается? Получается, так сказать, общественная реабилитация пьянства.

Но не слишком ли много развелось у нас праздников? Всевозможных банкетов, опустошающих профсоюзные и прочие кассы? Приемов? Встреч зарубежных и отечественных делегаций, сопровождаемых обильными возлияниями? И почему традиции праздновать обязательно с вином не только не исчезают, но даже совершенствуются? Любое общество обязано уберечься от такой страшной беды, как рост рождаемости умственно и физически неполноценных детей. И в этой связи нельзя говорить только о мужском алкоголизме. Пьющая женщина вызывает не меньшее, а большее омерзение. Хотя бы и потому, что никто кроме нее не может исполнить самое прекрасное и, может быть, самое священное назначение — назначение материнства. У многих наших женщин в результате дурно понятой эмансипации не то чтобы исчезла, но как-то притупилась материнская ответственность: они начали соревноваться с мужчинами не только на общественном и производственном поприще... В борьбе с таким страшным злом нельзя ограничиваться частными мерами, нельзя забывать о его социальных глубинных корнях. Определить, найти эти корни, а потом выкорчевать их — безотлагательная задача общества. И думать, действовать тут надо всем: и социологам, и экономистам, и людям искусства. Причем всем заодно. Обычно люди начинают пить просто от скуки. Отсутствие захватывающей жизненной цели, сильного жизненного увлечения, духовный вакуум постоянно и многих толкают к наркотику, то есть к рюмке. Легкое увлечение выпивкой понемногу переходит в зловещую привычку, а у безвольных и плохо информированных людей эта привычка не замедлит перейти в физическую зависимость от наркотика. Опасность маскируется, приобретает свойства мимикрии. Необходима обычная правдивая информация об алкоголе как о наркотике.

И в этом смысле значение нашей интеллигенции вообще неизмеримо, будь то писатели, экономисты, социологи или врачи. Но кто из врачей, выполняя хотя бы личный, профессиональный долг, спит неспокойно, зная, что увеличивается рождаемость ненормальных детей? Кто из них в отчаянии стучался в кабинет министра здравоохранения? Назовите хотя бы одного писателя, который бы шагнул на огонь из-за этого? Понятие «народ» никто пока не упразд-

нял, чеховские слова о том, что писатель-то ведь тоже народ, звучат в этом случае демагогично. Нет, эта фраза Антона Павловича сказана совсем по другому поводу, и она не снимает с интеллигентов великого долга перед народом[1]. И вся соль в степени гражданственности интеллигента, в пределе понимания этого долга, занижаемого нами на каждом шагу. Либеральное фамильярничание интеллигента с трагической стороной народной жизни, эдакое всепрощающее любование пьянством выглядят просто смешно. Смешно и отвратительно. Не менее отвратительно и язвительное хихиканье некоторых с позволения сказать интеллигентов, для которых любое общественное зло просто необходимо для их мещанского самоутверждения по обывательскому способу контраста.

1971

ЭПОХА НТР

«Эх, была бы у меня «Дружба»,— вскидывается Гаврилов.— Я бы и в ус не дул. Ты достань мне «Дружбу», а?» — «Нет, не достану. У меня такого блату нигде нет,— говорю я. — А чего она тебе? Прямо приспичило». — «Дружба» — это все...» — говорит он и задумчиво смотрит в сторону. Я вижу, что его интерес ко мне стремительно тает. Как дым. Хоть и любит меня Гаврилов, но не в такой степени, в какой бы хотелось мне. Его любопытство ко всяким технических новшествам иной раз намного выше интереса ко мне. Я ревную: «Гаврилов, ты мне друг или нет?» — «Друг». — «А чего ж ты клюквы мне опять не собрал?» И все снова упирается в «Дружбу».

Помнится, в 1955 году я работал в Перми, на заводе

[1] Кандидат философских наук Г. Г. Заиграев (Советская Россия, 21.X.84), выступая против свертывания производства наркотика, вновь предлагает не спешить и начать комплексное исследование. Такие социологи очень похожи на пожарников, которые, вместо того чтобы немедля и любыми средствами тушить огонь, предлагают «комплексное» изучение вопроса.

имени Дзержинского, столяром-ремонтником. Чинил окна и двери во всех цехах, а цехов было десятка два, не меньше. В одном из них собирали «Дружбу». Двадцать или тридцать штук за смену — не более. Название получила эта машина в честь нашей дружбы с Вьетнамом. Мне тогда и в голову не могло прийти, что моя дружба с Гавриловым упрется в нее же. Нынче Гаврилов опять сдал полтора десятка овец, денег у него много. За каждую овцу, если шерсть у нее достаточно длинна, но не переросла норму, государство платит около ста рублей. Мы долго судим с Гавриловым, куда идет мясо от сданных овец. Ну, полушубки, дубленки — дело ясное. Отправляют на БАМ. А кто, интересно, ест шашлыки из гавриловских чичек? (Так называют в наших местах баранов.)

Наконец, в один из приездов терпение мое иссякает, и за самоваром, в том особом состоянии, когда все кажется просто и доступно, я даю Гаврилову один секретный адрес и телефон. Как ни странно, телефон этот срабатывает. Гаврилов в восторге:

— Еду на участок! Завтра же еду!

За сколько и при каких обстоятельствах приобретается на участке «Дружба», мне неизвестно. Я знаю только о том, что там корпуса списанных пил бьют молотками, чтобы механики не тратили время на коммерцию. Гаврилов привез «Дружбу» в санях, словно жену, бережно укрывая ее тулупом и придерживая на крутых спусках колхозную лошадь. (По правде сказать, беречь-то надо было не пилу, а эту единственную в деревне лошадь.) В деревне он, еще не распрягши лошадь, решил опробовать покупку. Чихнув раза два, «Дружба» натужно взвыла, напустила синей вонючей гари и заглохла. Как ни старался Гаврилов — уж он и карбюратор отвинчивал, и масла в бензин добавил, и контакты зачистил,— пила безмолвствовала. На той же лошади, в ночь, он ринулся обратно на лесоучасток. Там он выпил с механиком две бутылки водки, пила опять завелась. Дома, однако ж, она снова забастовала...

Гаврилов наведывался на участок четырежды. Ну а сколько выпил водки, он даже не считал. Злополучная «Дружба» сожрала две, а может, и три романовских овцы — не надо никакого и волка. У Гаврилова даже открылась язва желудка из-за этих визитов к механикам.

Наконец новые бензопилы привезены были в сельпо, где Гаврилов давно стоял на очереди. Это были более мощные и более тяжелые «Уралы», в комплекте с насосами.

Гаврилов торжествовал. Начал с того, что дом соседки Евгении за полчаса распилил пополам. Осенью он едва ли не бесплатно испилил дрова у всех одиноких старух и пенсионеров. Он ходил по деревне гордо и независимо. Действительно, пила преобразила даже деревенский пейзаж: повсюду на белом снегу желтели березовые и осиновые опилки, пирамиды расколотых дров радовали глаза, быстро превращаясь в изящные ровные и высокие поленницы.

Пила сделала Гаврилова персоной № 1.

* * *

Евгении был ни к чему такой «вавилон», как она говорила. Жила одна, а домину имела на десятерых. Гаврилов за полчаса отпазгал своим «Уралом» всю заднюю часть этого «рейхстага», как он выразился. Потом разломал и за три дня пристроил небольшой коридорчик с маленьким закутком для поросенка. Евгения достала этого поросенка еще бело-розовым крохотным существом, взамен овцам и корове, которых уже не могла содержать. Все три ее дочки жили вдали, только сын не так далеко, в своем же остался колхозе, но на главной усадьбе. Евгения то и дело приходила звонить ему от Гаврилова: «Олё! Это хто? — кричала она в трубку, придерживая сивые волосы.— Олё...» Дозвонившись, она на весь вечер устраивалась глядеть телевизор. Особенно завлекали ее многосерийные детективные передачи, которые выводили из себя Гаврилова:

— Все наврано!

Было ясно, что Гаврилов злился не столько на то, что «все наврано», а на то, что эта техника была ему не по зубам. Он не осмеливался ее осваивать, на починку возил в райцентр. Иное дело «Урал» или мотоцикл! Этих двух он мог с завязанными глазами разобрать на мелкие косточки и тут же собрать. Не осталось бы ни одного винтика. Теперь мечтою Гаврилова был «Буран», который уже имелся у одного гавриловского знакомого: тот возил на «Буране» не только врачиху, чтобы сделать уколы своей жене, но и дрова из леса, и сено из поля. Гаврилов сначала ходил смотреть на это чудо прогресса. Но где вот его купишь? Знакомый покупал «Буран» тоже не сам, а его сын, работавший в Заполярье. Владелец «Бурана» жил на центральной усадьбе в типовом двухквартирном домишке из бруса. Соседями были как раз сын Евгении с женой и детьми.

Когда невестка болела или уезжала, Евгения была вынуждена ехать на центральную сидеть с внуками. Пока не было поросенка, это не вызывало у нее особенных нареканий. Но когда завелась животина, сразу же начались конфликты. Гаврилову перестало нравиться все это. Евгения не только часами торчала у телевизора, звонила родне через день, а в промежутках родня звонила Евгении, но и частенько уезжала, а тогда гавриловская жена была вынуждена брать у нее ключ от дома и кормить этого пресловутого поросенка. Опять же обида копилась, может, не столько из-за поросенка, сколько из-за «Бурана». Сосед евгениевской родни увозил старуху с таким дымом и треском, так демонстративно не замечал ни реки, ни дороги, что гавриловская душа щемила от зависти. По всем этим причинам Гаврилов совершенно безжалостно резал поросенка Евгении, она же тотчас покупала другого.

Гаврилов вычитал в каком-то календаре рецепт, как делать окорок. Никто раньше не делал в здешних местах окороков. Но Гаврилов сумел убедить Евгению в выгодности и удобстве этого дела. Зарезав в закутке поросенка, он на миг задумался. Что же дальше? Он связал поросячьи ноги, подвесил тушу на жердь и хотел уж было разводить под нею огонь. Но один — тоже знакомый — шофер, подвернувшийся на тот случай, неожиданно подал совет: «А паяльная-то для чего?»

Паяльную лампу заправили бензином, накачали давления, и синее пламя зашумело на всю деревню. Правда, шоферская мысль взыграла было еще дальше: зачем, мол, паяльная лампа? Взять прямиком облить тушу бензином да и подпалить. Но это была, конечно, шутка, Евгения зря испугалась. Свинью опалили, окорока разделали, хотя с непривычки никто этого сала не ел, даже колхозные шефы...

Не успел Гаврилов разделаться с этим поросенком, как в закутке у Евгении уже похрюкивал новый, и рос он, как говорится, не по дням, а по часам. Евгения скармливала ему не только десятки буханок сельповского хлеба, но и черствые баранки, предварительно их размочив.

— Готова в него с обоих концов пехать! — ругался Гаврилов.— Куда это только государство смотрит?

Сам же, однако, тоже грешил буханочками, хотя и не с поросенком,— «этих рыл не люблю»,— а с овцами. Но собственные грехи как-то меньше заметны.

Однажды Евгению потребовали на свадьбу. Где-то за Мурманском женился один из братьев невестки, но свадьбу

почему-то делали у отца в колхозе. Наехало гостей. Расколотили пустующий дом, поскольку отец обитал в двух. (Одного винегрету,— как рассказывала позднее Евгения,— четыре бадьи наделали. А сколько бутылок было, дак и не сосчитать».)

Итак, Евгению вытребовали на свадьбу. Поросенка же кормить было некому, жена Гаврилова как раз тоже уехала в гости. Самого его и просить было нечего. Евгения заявила по телефону, что поросенка не с кем оставить, что она на свадьбу не поедет. Ей, кстати, не очень-то и хотелось на эту свадьбу: «Напьются до вострия да и лявзают, и лявзают, ни писен не спить, ни разговору».

— Нет, матушка, не бывать,— кричала Евгения в трубку.— Мне дом-то не на кого оставить. Кто будет кормить поросенка-та...

— Мама, а ты и с поросенком едь! — слышался в трубке невесткин голос.— Машину пошлем, либо «уазика», либо на микроавтобусе. Нам без тебя никак...

Вначале мысль ехать на свадьбу с поросенком показалась неприемлемой, как Евгении так и Гаврилову. Но чем ближе становился свадебный день, тем больше такая мысль приобретала жизненную реальность. Евгению увезли вместе с поросенком на центральную, а через три дня оба благополучно вернулись домой.

* * *

Надо не забыть сказать, что Гаврилов был еще и гармонист, причем неплохой. Но с годами этот вид его деятельности все более отходил на задний план. Молодежь давно заменила гармонь всякими гитарами и магнитофонами, а пожилые собирались теперь очень редко. Разве только на Восьмое марта да на День колхозника. Зато летом, когда деревня забита отпускниками, когда старухи набивают сеном либо соломой все допотопные матрасы и когда народ спит не только на чердаках, а даже в тех же поросячьих застенках, когда с каждым новым автобусом — по словам Евгении, «один одного башше»,— появляются новые лица,— в такую пору Гаврилову нет отбоя от приглашений зайти, заглянуть, но только чтобы обязательно с хромкой.

Когда Гаврилов был помоложе, он ходил с удовольствием, играл часами, играл до мозолей. Теперь же начал стареть. Да и время этих сабантуев обычно падает на сенокос, когда надо косить, а не плясать и не орать на весь

белый свет какие-то дурацкие, совершенно бессмысленные слова.

Чего только нынче не поют, какой белиберды не наслушаешься из этих, по выражению Евгении, магнитофончиков! (Она говорила: «магнитофончики», «сосудики», «клубики» и т. д. «Сосудики-то у меня стали худые, узенькие, только уколами и спасаюсь».) Так вот, эти самые магнитофончики появлялись в деревне как комары в разгар сенокоса. Волосатые отроки ходят с ними везде, вплоть до морошкового болота, а их родители, все еще не забывшие прежней жизни и прежней пляски, то и дело по очереди устраивают «вечера», то есть пьянки.

Гаврилову надоело играть этим приезжим бабенкам пенсионного возраста, которые даже частушки начисто перезабыли и обычно пели каждая свою, но весь вечер одну и ту же. Хорошо еще, что местные, родственницы, пели частушки все разные, и отпускницы на ходу вспоминали тексты и пристраивались. Впрочем, большинство из приезжих Гаврилов знал еще с отрочества и юности. Не с одной и у горюнов сиживал, если не сказать больше.

И все-таки ходить чуть ли не через день на вечера, пить и играть часами под пляску — дело не из очень приятных. Тем более в сенокос. Как-то Гаврилов познакомился поближе с одним магнитофонщиком — отроком, сыном одной из своих запредельных сударушек. Тот случайно записал гавриловскую игру и материнскую — вкупе с другими — пляску с частушками. Гавриловская мысль работала четко и просто: он тут же прикрыл гармонь и сел за стол, говоря:

— Бабы, ну-ко попляшите под магнитофончик! Я хоть стопку допью да покурю.

Отрок включил магнитофончик, молодящиеся пенсионерки пошли плясать...

Механизация была полная, можно даже не петь, поскольку те же самые, то есть свои же, голоса вылетали из магнитофончика. Громкие и облагороженные современной транзисторной техникой, они вначале поражали своей слепящей зеркальностью. Топот пляски тоже был слышен, новый топот иногда просто сливался со старым, и тогда многим пришла простая мысль: петь те же частушки, то есть помогать самим же себе, только записанным. Успех этой затеи был так неожидан, так хорошо все это получилось, что Гаврилов уже к осени имел собственный магнитофончик. Правда, к осени «вечера» пошли на убыль.

Все равно, если компания не нравилась, Гаврилов даже не трогал из шкапа гармонь. Он вставлял в магнитофончик получасовую кассету и мог спокойно если не уйти домой, то не спеша беседовать о политике или о чем другом. Были случаи, когда бабенки пляшут, пленка кончится. Они перемотают (научит нужда калачи есть!) и по новой в пляс Гаврилов за банями тем временем стог сметал. Но никогда он не пользовался магнитофончиком у своей родни или в той компании, которая была ему дорога! В таких случаях неизменно шла в ход сама гармонь. Гаврилов знал разницу между суррогатом и натуральным продуктом...

— Ну, хорошо,— говорю я.— Вот ты косишь сено... Но косишь-то вручную? Сколько разов надо косой махнуть, чтобы насохло на такой стог? Наверно, тысячи.

Он соглашается со мной не сразу. Он всегда оставляет себе место для маневра, чтобы было куда отступить и не спеша оглядеться, чтобы не дать себя обдурить или оболванить. Но я и не собирался его оболванивать. Человек, приспособивший пылесос для растопки сырых дров и очистки от сажи печных поворотов, вызывал во мне чувство радости. За одну только мысль — приспособить стиральную машину для сбивания коровьего масла — я бы выдал Гаврилову любую медаль, не то что грамоту. Любую, какую бы он ни пожелал... Но медали его не интересовали, да и мои полномочия к выдаче их были совсем мизерными. Мои наезды в гавриловскую деревню были редкими.

Зимой Гаврилова поставили сторожем на ферму. В его обязанности входило отгребать в свою смену «жидкую фракцию», как выражаются ученые люди. (Умолчим, как эту «жидкую фракцию» обзывает Евгения.) После отгребания включается транспортерная цепь, другой транспортер, уже наклонный, только выплескивает жидкую фракцию за пределы коровника. В обязанности сторожа входит также накачивание воды в чердачный бак, топка парового котла и слежение за стельными коровами. В случае отела сторож обязан помочь корове родить.

Легко сказать, помогать родить! А если ты не хочешь даже смотреть такую картину? Это Максим Горький помогал однажды родиться — и не теленку, а человеку,— но то Горький. На то он и пролетарский писатель. Так или иначе, автор этих строк при одном виде окровавленного последа убежал недавно домой с поля, где только что без

всякой помощи отелилась корова. Такие случаи (без помощи) стали редкими, последние годы коровы почему-то не могут телиться без посторонней помощи. (Специалисты говорят, что виноваты корма: силос и концентраты, корове не хватает каких-то микроэлементов. Отсюда и яловость, и выкидыши, и невозможность родить без помощи человека.)

Глухой зимней ночью Гаврилова и настиг именно этот случай, когда корова, неспособная разродиться, измученная и готовая к смерти, жалобно стонала, помыркивала и уже закатывала большие плачущие глаза. Теленок шел правильно, то есть вперед головой и передними копытцами, но был такой здоровяк, такой лобастый, что застрял основательно и, как чувствовалось, безнадежно. Гаврилов долго изо всех сил тащил его то за уши, то за копытца, вытащил на одну четверть, но к этому времени силы кончились и у коровы, и у него, то есть у Гаврилова. Корова издыхала. И тут Гаврилов, не мудрствуя лукаво, сбегал за веревкой, одним концом он охватил ноги и телячью голову, а другим привязал к навозному транспортеру. И... включил рубильник. Уже через пять минут обреченная было корова облегченно вздохнула, а теленок то и дело вставал на задние ноги. Передние пока не держали его.

Увы, никто не дал Гаврилову ни медали, ни авторского свидетельства. Об этом даже не написали в районной газете.

— Это ты верно,— говорит Гаврилов,— насчет косьбы-то. Ведь вон для охотников и рыболовов чего только не придумала промышленность! Моторы всякие, палатки, примусы. Все для туриста. А косилку по сию пору не могут придумать...

— А ты сам. Возьми вон мотор от мотоцикла, передачи там, сцепление.

— Да я видел по телевизору. Не одни мы, другие и прочие тоже думают. А ты видел чехословацкую-то? Эх, была бы у меня такая косилка. Да я бы один накосил чуть не на все колхозное стадо! Я бы и в ус не дул! Нет, а ты помоги мне достать эту косилку, а?

— Нет, не помогу! — говорю я.— У меня такого блата нигде нет...

— Косилка — это все...— задумчиво говорит Гаврилов.

1983

ИЗДЕРЖКИ «СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»

Лев Николаевич Толстой, будучи графом, сам расчищал снег по месту жительства, в Хамовниках. Его жена Софья Андреевна не стыдилась исполнять обязанности парикмахера, она же сама шила блузы мужу и многочисленным детям. Физический труд был для великого писателя *ежедневной* потребностью, приятной необходимостью. В подобных условиях вовсе не чувствуется тяжесть общественного или нравственного долга. Скажут: «Но ведь Толстой был граф, помещик, полдела ему было шить сапоги и раскидывать снег». Может быть, в какой-то мере это справедливо. Но почему (хорошо это помню) даже у самых бедных избушек в деревне снег был всегда раскидан и подметен?

В наше хитрое время во множестве пишутся и публикуются статьи о биоритмах, о биоцикличности, защищаются целые диссертации о режимах сна и питания. Медики поголовно твердят о пользе водных процедур и произвольных телодвижений, то есть физкультуры. Они призывают ложиться и вставать в одно и то же время, убеждают в том, как полезно человеку не только ходить пешком, но и бегать. И все это частенько преподносится непросвещенным читателям уж ежели и не как новое, только что открытое, то обязательно как научно систематизированное.

Но вот моему прадеду по матери Михайле Григорьевичу, которого я очень хорошо помню, вовсе не требовалось выписывать журнал «Здоровье», чтобы ежедневно зимой расчищать снег и каждую субботу ходить в баню. Любителям этого вида водных процедур приходится нынче с пером в руках доказывать то, что для моего прадеда было самоочевидным[1].

И если добавить к этому, что мой прадед всю жизнь пил после бани не что иное, как чай либо хлебный квас, не рискую ли я тотчас же прослыть приверженцем так называемого квасного патриотизма? Ведь и теперь многие любители прогрессивных водных процедур при одном виде такого словосочетания, как «русская баня», тут же начинают ерзать на стульях, беспокоиться и выискивать в слова-

[1] Галицкий А. Щедрый жар. Очерки о русской бане и ее близких и дальних родичах. М.: Физкультура и спорт, 1974.

рях синонимы к слову патриархальщина. Вот если я напишу «финская баня» или сауна — это ничего, тут уж наверняка никто не обвинит меня ни в идеализации прошлого, ни в исторической ностальгии.

Отголоски, казалось бы, давно изжившего себя вульгарного социологизма еще до того сильны, что я, например, честно говоря, побаиваюсь писать правду о моем прадеде. Но ведь и клеветать на него я тоже не могу: кто виноват в том, что он *действительно* любил париться в бане и что после бани *действительно* пил квас, а никакой не самогон и не водку? Попробуй докажи иному ретивому критику-социологу, что было *действительно* так, а не иначе, если он, этот критик, убежден в обратном и тупо уверен в том, что знает моего прадеда лучше, чем я, его родной правнук!

Михайло Григорьевич всю жизнь вставал в три часа и до завтрака успевал изрубить полвоза хвои на подстилку скоту, или испилить полвоза дров, или сделать что-то другое, смотря по сезону. Если я скажу, что прадед рано вставал *для здоровья* и трудился до завтрака как бы для разминки, то есть тоже для удовольствия и для здоровья, критик-социолог опять же мне не поверит. Он будет с пеной у рта убеждать меня в том, что Михайло Григорьевич рано вставал совсем по другим причинам и что хвою он рубил до завтрака, преследуя личное обогащение. Но, во-первых, в суровой и далеко не всегда скучной борьбе за существование, в постоянном труде во имя будущих поколений, Михайло Григорьевич меньше всего думал о *личном* обогащении. Он думал обо мне, о своем правнуке, о моих братьях и сестрах, об их детях, внуках и правнуках. Иными словами, о тех, кто будет после него, о будущем. Кощунственно считать трудолюбие крестьянина следствием его неудержимой тяги к накопительству. Если б эта тяга и впрямь была неудержимой, прадед не сдал бы в колхоз гумно, соху, лошадь, двух коров, сбрую, то есть все то, без чего крестьянину да и всему государству грозила бы просто голодная смерть.

Во-вторых, мне как-то трудно представить Михайла Григорьевича делающим на повети утреннюю гимнастику или бегающим вокруг деревни на лыжах во имя разминки. Другое дело — изрубить до завтрака хвою, сходить проверить поставленные накануне заячьи капканы. Такая утренняя зарядка имела не только экономический, хозяйственный, но и эстетический смысл. Физический труд во имя одного только физического развития для моего прадеда,

как и для любого другого здравомыслящего человека, представлялся бы нелепостью, безнравственным и вредным времяпрепровождением. Общественное мнение, мир тотчас осудили бы и высмеяли подобное поведение.

Нельзя сказать, что современные исследователи все подряд не понимают таких особенностей крестьянского быта. Но одно дело понимать и принимать, другое — понимать и не принимать. В статье о русской общине «Мир русской деревни» («Знание — сила», 1975, № 9) справедливо замечается: «Эффективный контроль успешно пресекал всякое «отклоняющееся поведение». Именно поэтому,— говорит далее автор,— в сословии крестьян преступников было гораздо меньше, чем во всех других сословиях России». Непонятно только, почему закавычено отклоняющееся поведение и как автор статьи относится к тому факту, что преступников в среде крестьян было меньше?

«Поразительное единство во мнениях и взглядах создавала эта сила общественного мнения»,— говорится далее в статье, а я позволю себе спросить: во мнениях и взглядах на что? Если на воровство или убийство, то почему же единство таких «мнений и взглядов» поражает исследователя? В другом месте этой во многом противоречивой статьи говорится почти то же самое. «В крестьянской общине — в ее первозданном, не затронутом внешними влияниями виде — царит поразительное единообразие взглядов и убеждений». «Взглядов на что?» — повторяю я свой вопрос. Если на насилие или воровство, то очень неуместно поражаться единообразием таких взглядов. (Во все времена общество относилось к ворам и убийцам поразительно отрицательно.) Если же автор имеет в виду единообразие взглядов, к нравственности не относящихся, то тут он глубоко заблуждается. Не было такого единообразия. Как нет и, станем надеяться, никогда не будет одинаковых, словно инкубаторских цыплят, людей. Быть вместе с миром — не значило быть как внутренне, так и внешне похожим на всех. Ни физическое, ни духовно-эстетическое разнообразие членов русской крестьянской общины не противоречило ее внутреннему единству. Наоборот, такое разнообразие лишь содействовало ему и было главным условием этого единства. (Единство любой группы, как мне кажется, не может покоиться на единообразии составляющих ее членов. Группу цементирует не схожесть людей, а их различия, не достигающие антагонизма.)

После неверного утверждения о единообразии в русской

общине, автор статьи делает такие вот сногсшибательные выводы:

«Отсюда — полное единодушие в реакциях на события и поступки людей, столь высокая сплоченность, которые всегда поражали исследователей».

«...все действия крестьян-общинников поэтому отличало удивительное однообразие».

«...вот почему община производила поколение за поколением, похожие одно на другое как две капли воды».

Полемика с такого рода «исследователями» не только вполне надежно отвлекает от первоначально задуманного разговора, но и частенько прячет истину еще глубже под ворохом как научных, так и не очень научных фраз. И тут мне вновь вспоминаются сюрпризы снежной зимы, которая приносит не одни только ребячьи радости. Снежные завалы на Невском в Ленинграде и на улице Горького в Москве вызывают в каждом из нас искреннее возмущение: куда смотрит начальство? Где снегоуборочные машины? Но в снегоуборочном, как, впрочем, и в хлебоуборочном деле виновато — увы! — не одно только начальство... Перешагивая через полутораметровые сугробы на Невском, я вспомнил вначале блокадный снимок, потом фотографию Л. Н. Толстого, лопатой расчищающего снег у своего дома. И стало стыдно... Вспомнились и миллионы пенсионеров, играющих в карты и домино; вспомнились тысячи спортсменов, бегающих, плавающих, поднимающих тяжести... Вспомнились и худосочные интеллектуалы, которым так не хватает снежной свежести, кислорода, посильной физической нагрузки и которые так старательно занимаются радиогимнастикой. Ведь все они ждут, когда придет снегоуборочная машина. И сам ты тоже ждешь. Надо признать, что иной раз так и хочется подразмяться. Но... что-то мешает, какие-то странности. К тому же я не уверен, что если выйду с лопатой во двор, то на меня не будут показывать пальцем и не скажут примерно так: «Чего это он выдрючивается, будто больше всех надо».

Откуда, с чего начался такой снобизм, такая вера в то, что кто-то сделает все без нас? Мы не обязаны, для этого есть дворники и уборщицы. Будем перешагивать через завалы снега и мусора.

Да, специализация — это, конечно, хорошо. Интенсификация, концентрация, централизация... Но при всей многообещающей значимости этих терминов мы, будучи диалек-

тиками, обязаны видеть все стороны связанных с ними явлений, все последствия — как положительные, так и нейтральные и отрицательные. Само собой, куда денешься от специализации? Взять хотя бы нынешнюю городскую квартиру. Телевизор замигал или загудел — вызывай мастера. Телефон — имеет свою обслугу. Электропроводка — свою. Отопление и канализация свою. Газовая плита — свою. Пять *специализированных* организаций уже причастны к одной нашей квартире. А тут еще прачечные, парикмахерские, мастерские по всяким ремонтам и т. д. и т. п. Как же Лев Николаевич управлялся без всего этого? Да еще и романы писал, и письма диктовал десятками в день? Поразительно...

Но, вспомним, во-первых, что далеко не все люди живут в городах. Во-вторых, я знаю многих горожан, которые никого из специалистов на дом не вызывают. Иные даже телевизоры сами ремонтируют, не говоря о клозетном устройстве. В-третьих... В-третьих, чем больше так называемых удобств, связанных с техникой, тем больше неудобств с самой техникой. Для обслуживания того же автомобиля опять нужен специалист и деньги для оплаты этого специалиста. Но уж так устроен человек: надо не надо, а машину куплю. Вместо того чтобы пройтись две-три остановки — полезу в автобус,— наплевать, что опять придется пришивать пуговицы. Расчищать снег? Вот еще. А для чего дворники?

К сожалению, подобная психология свойственна не только отдельному человеку, но и целым общественным или государственным организациям. Потребительство, безответственность, иждивенчество тут и там в полной мере пользуются специализацией и спецификой. Кому не знакома такая картина? Здоровенный шофер грузовика дремлет или читает в кабине, не обращая внимания на грузчика (хорошо еще если не грузчицу), в одиночку либо вдвоем сгружающего тяжелющие ящики. Он шофер, он помогать не обязан.

Не обязан? Нет, не обязан. А совесть, а долг человеческий, а чувство взаимопомощи? Смешно говорить обо всем этом, если в министерстве кроме министра и его замов еще две-три, а то и четыре тысячи сотрудников, если у каждого подразделения свой план, свои проблемы и свои задачи. С какой стати министерство, например, горнодобывающей промышленности будет переживать за Министерство бумажной? Это все равно что от специалиста, пришед-

шего чинить, к примеру, водопровод, требовать еще и починки телевизора. Или наоборот.

Особенно явственно издержки специализации проступают в медицине: тут-то они заметны, пожалуй, каждому. Организм человеческий, как известно, есть нечто единое и нераздельное. Но, увы, врачи очень четко поделили его на «сферы влияния»... Они теперь заспециализировались так, что лечат каждый свое, отчего медицинская карточка превращается в подобие гроссбуха и бюрократическая писанина безжалостно пожирает основное время врача. Больного просто пасуют от одного специалиста к другому.

В науке подобная специализация облагорожена новейшими терминами вроде дифференциации. Но и здесь знаменитое «я не обязан» в полном ходу. Так, ученый-химик, придумавший новый способ «лесной прополки», не обязан думать, что происходит с какими-то белками и зайчатами, когда разведенный в солярке бутиловый эфир льется с неба. Гидролог, проектирующий очередное грандиозное сооружение, не обязан отвечать за подтопления целых земледельческих районов. Специалист горно-рудной промышленности не обязан отвечать за уничтожение бесценного курского чернозема. Нефтяник, изобретающий новый способ добычи нефти (с помощью закачивания в землю воды), не обязан думать о последствиях и т. д. и т. п.

Видя, как легко ученые-специалисты избегают ответственности за свои изобретения, административный руководитель тоже начинает задумываться: а чем я-то хуже? И если у него не хватает ни сил, ни таланта руководить творчески и с умом, тут-то он и ступает на бюрократическую, то есть ведомственную дорожку. «Я не обязан строить жилье, я обязан давать план»,— заявляет директор завода. «Я не обязан бороться с алкоголизмом, этим должна заниматься медицина». Не обязан то, не обязан это. Но, увы, не думая головой, план можно давать очень недолго. Очень скоро бюрократ, желающий спать спокойно, вылетает в трубу. Нет у предприятия жилья, уволены алкоголики — кадровая текучка тотчас дает о себе знать. Не хватает людей, станки простаивают, в конце каждого месяца — штурмовщина. Растет брак, план трещит, бюрократа снимают с выговором и переводят в другую область. Там начинается все сначала, круг замыкается.

Как видим, «специализация» и тут поворачивается самым неожиданным боком.

Я не случайно поставил сейчас это слово в кавычки, ведь истинная и полезная специализация действительно существует. Ведь ясно даже ребенку, что в колхозе выращивают скот и хлеб, а на заводе плавят металл, что если смешать все это вместе, то ни там, ни тут ничего не получится. Очень смешными, если б не были они вредными, представлялись бы мне попытки объединить, смешать два совершенно разных мира, сельский и городской, в одно целое,— попытки приравнять деревню к городу. Не материальный уровень повысить до городского, а именно сравнять деревню с городом, то есть лишить сельское хозяйство производственного, бытового и прочего своеобразия. Этот процесс культурно-бытовой и производственной уравниловки многими из нас почему-то считается великим благом и достижением. Всеми силами он поощряется, финансируется, одобряется плановыми органами — иными словами, насаждается сверху. Для чего? Неужели мир будет богаче от того, что совсем исчезнет деревня? Но это возможно только теоретически. На практике осуществить такие дурацкие планы, к счастью, никому не удастся, а если удастся, то это будет гибелью и для города. Лишая деревню бытового и производственного своеобразия, мы лишили бы ее главной своей сути, главного ее общественного предназначения. Общество подрубило бы сук, на котором сидит.

Интересно, что некоторые рады такому процессу и снизу...

Мой земляк, живущий в деревне, везет из города автобусом за шестьдесят километров несколько десятков яиц. Спрашиваю: «Ты чего, кур уже не держишь?» — «А на кой они мне, одна с ними морока». В Вологде в продовольственном магазине женщина, явно не городская, набрала целую ношу сметаны. Я не удержался, вежливо спросил, откуда она. Она чувствует что-то неладное, не скрывает раздражения, но все же отвечает, называя колхоз. Я тоже раздражен, но пытаюсь спрятаться за шутливый тон: «У вас что, коров-то уже не держат, что ли?» Она весело отбоярилась: «А чего их держать? У нас и колхозных много!» У себя на родине в магазине сельпо частенько наблюдаю такую картину: откуда-то за многие километры привозят свежие огурцы. Бросают дела, бегут занимать очередь. То же с капустой... Но я хорошо помню, как даже во время

войны, в самые тяжкие годы, в каждом огороде белела под осень своя капуста, а вместе с рыжиками стояли целые кадки своих соленых огурцов. Никому и в голову не приходило, что когда-нибудь придется покупать в магазине венгерские маринованные огурцы и украинский консервированный картофель.

Да, специализация специализации — рознь. Потребительское, иждивенческое отношение к миру давно стало для иных предколхозов нормальным явлением. Зачем заботиться о производительности труда, об урожае и продуктивности, если государство установило гарантированную оплату труда? Для чего думать о рентабельности, о доходности, об отдаче, если ссуды все равно рано или поздно спишут? Пример соседнего совхоза, где даже в сенокос работают как на фабрике, по часам, заразителен, и вот контора колхоза открывается даже в страдную пору не раньше девяти. Мои предки всю жизнь летом вставали в три. Надо ли говорить, что́ можно успеть за шесть часов во время уборки трав или хлебов?

Ныне во всем берется пример с промышленности, причем насаждается это подражание сверху, а низами оно с удовольствием подхватывается. Но колхозное поле нельзя приравнять к заводскому цеху. Тут уже действительно специализация (без кавычек) необходима, специфику сельского труда не отменить даже самыми хитроумными директивами. В цехе всегда все относительно, конечно, стабильно: температура, свет, материалы и чертежи. В поле все изменчиво, обстановка меняется порой в течение не часа, а одной минуты. В сенокос, когда идет дождь, можно часами спать в шалаше, а когда ведро, настоящий крестьянин спит по 3—4 часа в сутки. Годятся ли тут такие понятия, как график, поточный метод, смена, нормированный рабочий день и пр.? Полезна ли в сельском хозяйстве узкая специализация, если животноводство никак не может без полеводства, а полеводство до сих пор не могло обходиться без животноводства, то есть без органических удобрений?

Вот до каких вопросов я додумался, пока перешагивал через сугробы на Невском...

1982, 1984

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТЕМА В КИНО

В кино сила дурных традиций ничуть не слабее, чем в каком-либо другом виде искусства. Хуже того: здесь она — эта сила — как мне кажется, еще более консервативна, еще более застойна.

Однако специфика кино такова, что именно здесь упомянутый консерватизм меньше всего бросается в глаза. Разве не считают многие из нас, что кинематограф и есть самый передовой, самый прогрессивный вид искусства? По-видимому, это приятное заблуждение объясняется опять же прежде всего спецификой кино. Ведь по новизне и масштабности *непосредственного* эмоционального воздействия ни один вид искусства не может соперничать с кинематографом.

Бывает же так: искусство даже самого талантливого живописца известно порой лишь десяткам людей, менее талантливого театрального актера знают сотни, вполне заурядный писатель имеет дело с тысячами, тогда как иной даже бездарный кинематографист разговаривает с миллионами, заставляет людей улыбаться, вздыхать, а иногда и поплакать. И вот эту-то масштабность и новизну, обязанную всего лишь обычному техническому прогрессу, многие из нас нередко воспринимают как новизну и прогресс в искусстве...

Но, может быть, и в самом деле, кинематограф, безотносительно к его технической специфике, был и есть авангардным видом искусства? И обязан он этим вовсе не техническому прогрессу, а новизне выражаемых идей, своеобразию актерской игры, силе слуховых, зрительных и комбинированных образов?

Конечно же, и не без этого. Но говорить об исключительности кинематографа было бы делом рискованным: в ряду других видов искусства он явно занимает более скромное место, чем кажется зрителям, кинокритикам и самим кинематографистам.

Чтобы подтвердить эту мысль, достаточно обратиться хотя бы к одной, так называемой деревенской теме. За последние годы в литературе о деревне появились значительные произведения Федора Абрамова, Сергея Залыгина, Чингиза Айтматова. Кто будет спорить с тем, что ни один из

кинофильмов на аналогичную тему подобной значительностью не обладает? Спорить с этим трудно. Хуже того, создается впечатление, что наш кинематограф не то чтобы игнорирует деревню, но как-то несерьезен относительно ее.

В тоске по правдивому глубокому фильму о сельских людях (а их, как известно, половина в нашей стране), листаю подшивку «Советского экрана» за 1969 год. Десятки, может быть, сотни названий. Вышли на экраны либо ставятся фильмы обо всем на свете. О шпионах и кибернетиках, об афинских львах и подводном спорте, о Витусе Беринге и Франсиско Гойя... Стоп! Краткая аннотация с заголовком: «Бабы и их недолгое бабье счастье». Но увы, увы, как говорится, фильм А. Манасаровой «Главный свидетель» не имеет к колхозной деревне никакого отношения. И Чехов тут вовсе не виноват. Наконец, планы кинематографистов на 70-й год. Может быть, они чем-то порадуют? Читаю: Б. Яшин и Э. Захариас «Город первой любви» (на снимке актриса А. Константинова в роли продавщицы). Режиссер А. Салтыков ставит картину «Директор», Козинцев продолжает работу над «Королем Лиром». Илья Фрез ставит «Приключения желтого чемоданчика», Я. Стреч детектив «Стреляй вместо меня» и т. д. и т. п. Нет, к сожалению, на этот год тоже надежды плохи. Может быть, просто надо пойти в кинотеатр и посмотреть такие фильмы, как «Виринея», «Первая девушка», картину по повести «У себя дома» и фильм «Бабье царство»? Царство-то получается действительно бабье, но не в этом дело, а в том, что событиями настоящего искусства эти фильмы просто не стали. Не стали событиями и такие фильмы, как «Деревенский детектив», «Журавушка». Уже одни названия двух этих фильмов говорят сами за себя. «Журавушка» звучит удивительно сентиментально, а от слова «детектив» так и веет каким-то фамильярно-добродушным, несерьезным отношением к понятию «деревенский». Хотя авторы фильма, кажется, вовсе не претендуют на комедийный жанр. Ко всему прочему: с каких пор сельский милиционер стал главной фигурой в хлеборобской, в колхозной среде? (Я вынужден снова оговориться: советская милиция, как и А. П. Чехов, тут ни при чем.)

Как видим, наш кинематограф не может похвалиться более-менее значительными новинками, касающимися деревенской тематики.

Давно известно, что время — самый беспристрастный судья и ценитель всех явлений искусства. Сколько, благо-

даря времени, лопнуло объемистых радужных пузырей, растаяло прекрасных снежных дворцов, сколько небоскребов, построенных на песке, развалилось! Мы же зачастую помалкиваем, как говорится, в тряпочку, когда обнаруживаем, что радужного пузыря нет. Исчез, так сказать. Делаем вид, что ничего не произошло. И после бурных восторгов снисходит на нас эдакая тишина. И стыдливость. У нас не хватает мужества вспомнить, что искусство, жизнь которого ограничена даже не годами, а днями и месяцами, — такое искусство, видимо, вовсе и не искусство, но что-то другое. Недобросовестный заступник подобного киноискусства может сослаться на театр: мол, жизнь спектакля тоже ограничена во времени.

Вряд ли надо доказывать несостоятельность подобной ссылки. Как известно, кинопленка хранится в кассетах десятилетиями, а при необходимости ее можно и переснять. Поэтому ссылка на время в оценке произведения киноискусства вовсе не звучит демагогично.

Мысль об умалчивании и стыдливости можно было бы проиллюстрировать воспоминаниями о многих нашумевших фильмах. Но, не претендуя на универсальность, хочется поговорить лишь о некоторых фильмах, снятых на эту так называемую деревенскую тему. Давайте вспомним хотя бы фильм «Председатель». Он вызвал едва ли не самый сильный общественный резонанс, если говорить о фильмах, поставленных на деревенскую тему.

При всем уважении к таланту Михаила Ульянова, я позволю себе высказать несколько мыслей, не соответствующих давно и прочно сложившейся оценке этого фильма. На мой взгляд, это работа охарактеризована нашей печатью избирательно, в лучшем случае односторонне.

Фильм «Председатель», помимо создания образа энергичного, волевого деревенского вожака, претендует на правдивое образное воплощение жизни в послевоенной русской деревне. В той деревне, которая, как и город, с величайшим напряжением, с великими жертвами выдержала несметные испытания последней войны. К сожалению, прежде чем говорить о фильме, приходится напоминать читателю, как велика была трагедия народа, который потерял в этой войне миллионы людей, представлявших и в физическом и в духовном смысле лучшие его силы. Известно также, что эти потери сопровождались жестокими материальными и нравственными потерями. Мужья, отцы, сыновья и братья, штурмовавшие фашистские логовища, зачастую и не знали

о размерах тягот, навалившихся на их дряхлеющих родителей, взрослых сестер, а также на жен и детей. Потому что считалось, что там, на фронте, людям еще тяжелее. Но сила самопожертвования тех, кто был в тылу, была не меньше, чем у тех, кто проливал кровь на фронте...

Итак, голодный 1946 год, фронтовик Егор Трубников только что вернулся в деревню. Экспозиция киноповествования обнаруживает в авторах фильма как бы наивысшее стремление к правдивости, бескомпромиссное и яростное нежелание, даже в деталях, поступиться жизненной правдой. Зритель с пробуждающейся горечью смотрит на обветшавшие за войну избы, на голодную скотину, на пустынные и печальные деревенские улицы. Вместе с ожившими картинами, может быть, собственной жизни (все — правда!) рождается доверие к экрану, забывается то, что ты всего-навсего в зале кинотеатра. Это доверие закрепляется мощным актерским обаянием Михаила Ульянова.

И вдруг... И вдруг ощущаешь первый скребок по сердцу, предвестник эстетического разлада, диссонанса. Из динамиков раздаются первые, доходящие позже чуть ли не до истерики крики Трубникова. Крики эти сопровождаются вначале свистом бича, позднее самым обычным матом. Кажется, что Трубников поднимает не коров, поднимает самих людей, которые, по словам сценариста Ю. Нагибина, за время войны «развратились в нужде и безделье».

«Поднимай их!» — кричит председатель. До этого скотница говорит ему: «Да, милый, они же подняться не могут».— «Кнут раздобудь! — орет Трубников.— Ну, ясно?» — «Так точно»,— по-солдатски отвечает скотница и резво бежит исполнять приказание. Она словно бы обрадовалась этому всесокрушающему внешнему напору, словно бы все время только и ждала, чтобы кто-нибудь ею покомандовал.

Удивительно фальшива, нежизненна и надуманна вся эта сцена! Гремят удары бича, дико гогочут бабы, хитрый глухой дед никак не хочет без мзды играть на жалейке. Чтобы выманить коров на воздух... Этому деду Трубников фамильярно сообщает, что, мол, вечером будет тебе это самое. «Ну, водочка, понял?» — и выразительно стрекает по горлу. Дед, как и скотница, усердно исполняет приказ, а вечером, на собрании, при всем честном народе клянчит обещанную водку... И тут доверие к фильму исчезает. Исчезает духовный контакт между экраном и зрителем. Ведь если верить фильму, то получается, что во всех деревенских бедах виноваты не внешние обстоятельства (вой-

на, например), а сами колхозники, которые «развратились в нужде и безделье», стали за время войны рвачами, пьяницами и лентяями. Да еще странниками, которые только притворяются слепыми. Кстати, вся история с этим странником тоже совершенно надуманна. Мнимый слепой в паре со своей женой ходит по деревням и поет божественные песни. Глядя на этих тунеядцев, можно и впрямь подумать, что на Руси никогда, в том числе и во время этой войны, никаких слепых не было и никогда не ходили они по градам и весям, кормясь подаянием. Конечно же, и слепые иногда прозревают. В фильме режиссера Салтыкова так и случилось, но читатель должен знать, что филатовская-то клиника тут ни при чем. Егор Трубников на глазах пораженных селян разоблачает матерого обманщика, а дальше, опять же не без помощи мата и крика, превращает его в колхозного активиста. И, восхищаясь трубниковским напором, прозревший восторженно говорит: «Иначе нас никакой силой не удержишь». Вот ведь какой он, русский мужик! Любит он иметь над собой кулак, подай ему сильную власть, да и только...

На протяжении всей первой серии Трубников только и делает, что внедряет железную дисциплину, распекает, заставляет работать ленивых колхозников. Словно бы чувствуя односторонность образа, сценарист вынужден иногда слегка затушевывать культ сильной личности, якобы так необходимой для возрождения колхоза. И тогда герой фильма пользуется не только отрицательными эмоциями: он и с близнецами посидит, пока нет матери, и чарку с мужиками выпьет. Ведь конфликт между Трубниковым и инертной массой колхозников был бы слишком прямолинейным без этих сентиментальных отступлений. Чтобы усилить этот конфликт, чтобы до конца обличить стяжателей и индивидуалистов, автор сценария доводит братьев Трубниковых до жестокой драки из-за колхозной травы. (Насколько мне известно, в повести, послужившей основой для сценария, этого дикого эпизода совсем не было.) Такой индивидуалист этот брат Трубникова Семен, что никак нельзя с ним иначе, и готов он из-за копны сена насмерть укокошить родного брата, то бишь председателя. Только обреза под полой и не хватает этому Семену. Так неужели сидит в натуре колхозника, выдержавшего войну, этот проклятый собственник, не желающий знать ничего, кроме личного интереса? На этот вопрос сценарист, следом за ним режиссер, а за режиссером и актеры отвечают совсем

не двусмысленно: «Испохабили завтрашний день». «Такой народ, что плюет на все, каждую стеночку испохабит».

Все эти реплики, так сказать, прямая речь одного из героев и, вероятно, косвенная самих авторов фильма. Нежелание трудиться, индивидуализм, инертность и корыстолюбие — вот основные причины всех послевоенных сельских бед, если верить фильму «Председатель». И пафос этого фильма именно в обличении этих свойств. Этот пафос давно уже стал традиционным для многих наших кинематографистов. Как будто и не было тех поистине героических лет войны, да и не только войны, когда колхозники отдавали стране все, что могли, а иногда и сверх того. Создатели фильма с легким сердцем игнорируют все это. Впрочем, иногда, словно из боязни перегнуть палку, они вынуждают героев говорить нечто несвойственное контексту. Так, после одной очень нечистоплотной и надуманной сцены, после того, как зритель уже постиг все невежество, всю злость, якобы царящие в деревенской среде, подсовывается сцена с букетом цветов и фраза: «А люди, Борис, не злые». Но после всего увиденного и услышанного эта фраза звучит фальшиво. Не веришь и сентиментальной трубниковской слезе в конце первой серии, как бы ни талантлив был и здесь актер Михаил Ульянов.

Вообще, в фильме все время ощущается несоответствие между великолепной игрой актера и ее конечным результатом, обусловленным замыслом сценариста и постановщика. Возникает опасение, что талант и сила актерской игры потрачены напрасно, приходит мысль об ответственности актера при выборе предстоящей работы, при чтении сценария.

Главная мысль фильма — мысль о роли личности в руководстве, о взаимоотношениях руководителя колхоза с массой колхозников. Во второй серии фильма мы видим, как растут корпуса колхозных строек. Словно по мановению волшебной палочки изменилась жизнь в селе Конькове. Нельзя же всерьез принимать то, что экономика артели сдвинулась с мертвой точки благодаря «замочных дел мастеру». Произошел потрясающий скачок в борьбе за изобилие, но авторы фильма не делятся секретом этого скачка. И зрителю остается только предположить, что колхоз обязан своим изобилием лишь крику и мату Егора Трубникова...

Теперь о другом. Прозвучало ли открытием в искусстве

то место фильма, где герой сталкивается с последствиями подлинного, невыдуманного культа? Я не берусь судить, может быть, и прозвучало. Но трубниковская борьба с культовскими последствиями как-то не увязывается с его собственной «методой» руководства. Ведь в фильме весьма недвусмысленно говорится, что инертной массой руководить можно только при помощи такой энергичной и сильной личности, как Трубников. Культ получается оправданным. Но оправданным лишь относительно колхозников и ни в коей мере не для таких, как сам Трубников. Культ, но без культа, так сказать. Такой нелепый вывод напрашивается сам по себе, если следовать логике фильма «Председатель». Но как раз логики-то и нет в этом фильме.

* * *

Беда в том, что ошибочный, ограничительный взгляд на деревню и на крестьянина присущ не только авторам «Председателя», а еще довольно многим кинематографистам. Но я никогда бы не сказал этого, например, об авторах фильма «Отец солдата». Образ, созданный Закариадзе,— пожалуй, единственный по своей глубине и правдивости в цепи бесконечных и традиционных образов-штампов, призванных обличать крестьянскую косность. Недавно грузинские кинематографисты сняли еще один фильм, где главную роль вновь играет Серго Закариадзе. Фильму «Скоро придет весна» по многим причинам трудно тягаться с фильмом «Отец солдата». Но С. Закариадзе знает, где и кого играть, и отношение к деревенскому жителю, к крестьянину у него вполне определенное.

Нельзя обвинить в двойственности этого отношения и Отара Абесадзе — постановщика фильма «Скоро придет весна». Фильм начинается с эпизода, в котором юный студент, один из сыновей героя, приезжает в деревню. В этом эпизоде парень нечаянно разбивает кувшин, и отец — старый крестьянин — поднимает из-за этого крик. Зритель, привыкший к образу-штампу, уже почти уверен в том, что на экране очередной стяжатель и собственник. Тем более у актера такие великолепные условия для обличения крестьянского индивидуализма: его герой, отец двух сыновей, имеет двухэтажный дом, скот, виноградник и т. д. Однако режиссер вместе с актером идет несколько другим путем, заставляя зрителя ощутить приятное разочарование. Зри-

тель не угадал. Потому что художественное чутье, такт, наконец просто симпатии авторов фильма к труженику-крестьянину не позволяют им сползать на традиционное обличительство. Но, глядя на экран, вместе с чувством удовлетворения вдруг начинаешь испытывать чувство тревоги: а не впадут ли авторы в другую крайность? Не начнут ли вместо деревни обличать город? Возможностей для этого у них тоже хоть отбавляй. К счастью, этого, как мне кажется, также не произошло. И пусть фильм несколько сентиментален. Зато образ, созданный С. Закариадзе, глубок и правдив, он не обнаруживает ни в режиссере, ни в актере недоброго, предвзятого взгляда на крестьянство и на деревню вообще. К несчастью, этого нельзя сказать о многих других кинематографистах. Обычно, упомянутый взгляд на деревню обусловлен либо плохим знанием ее, либо заведомой к ней недоброжелательностью.

Как это ни странно, а существует и подобная недоброжелательность. И, что более странно, встречается она даже среди интеллигенции. Такие горе-интеллигенты видят в деревне основную среду, поставляющую обществу лишь косные, сопротивляющиеся прогрессу силы. Тут уже, разумеется, не до объективности, будь то литература или кинематограф. И вот деревенский житель вновь и вновь становится козлом отпущения, как только заходит речь о частнособственнических пережитках общества. (Считается, что иметь корову и приусадебный участок — это одно, а дачу и автомашину — совсем другое.)

Образ некоего мужичка с собственническими, а иногда и прямо кулацкими взглядами времен 20-х годов так и кочует из одного фильма в другой. Очень выгодный этот образный трафарет! Во-первых, не надо тут много трудиться, думать, изучать. Достаточно вспомнить шолоховского Якова Лукича, облечь его в современные одежды — дело наполовину сделано. Во-вторых, незнание современной деревни всегда можно скомпенсировать пусть и примитивным, но все-таки классовым конфликтом (вспомним нелепую драку братьев Трубниковых). В результате всего этого не топчутся ли на одном месте наши кинематографисты, изображающие в своих работах современную деревню и крестьянина? Ведь в сущности Тендряковский Ряшкин, у которого отросла солидная борода, мало чем отличается от Егора Байнова, только-только появившегося на экранах.

* * *

Справедливости ради надо заметить, что фильм «Дом и хозяин», поставленный «Мосфильмом» по сценарию Б. Метельникова, особой ортодоксальностью во взгляде на деревню не отличается. Но традиция и в этом фильме великолепно соблюдена.

Егор Байнов (кругом Егоры), как и Трубников, возвращается после войны в колхоз. Возвращается, однако, из плена. Хотел этого сценарист или не хотел, но объективно в этом сразу же и проглядывается намек на гражданскую неполноценность Байнова. Достаточно вспомнить хотя бы разговор Егора в конторе с председателем, вся грудь которого увешана орденами. Что ж, вероятно, далеко не все председатели колхозов отсиживались в войну в конторских креслах, как и рядовые колхозники далеко не все предпочли плену почетную смерть. Я не берусь судить, которых и где было больше — это было бы оскорбительным для целого поколения, которое худо-бедно, а вышло все же победителем в схватке с фашизмом.

Допустим, что авторы лишили героя фильма воинских заслуг непредумышленно, хотя отсутствие наград у Егора слегка и противоречит его характеру. Но традиция так сильна, что создатели «Дома и хозяина» при всей своей симпатии к герою опять не могли удержаться от искушения и построили образ чуть ли не целиком на стяжательских свойствах, будто бы являющихся главными в характере русского мужика. Противоречие, лишающее образ художественной цельности, а следовательно, силы и убедительности, сопровождает Егора на протяжении всего фильма. Что же это за противоречие?

Вот в весеннем поле Егор с извечным крестьянским *добродушием* делит свой скудный хлеб с лошадью, на которой пашет. Но вот Иван Лапиков, играющий Байнова, с *ехидством,* демонстративно волокет по улице мешок зерна, не желая пользоваться подводой. Глядя на эту сцену, почему-то ощущаешь ехидство не самого Егора, а всего лишь авторов фильма. Жена Егора в его отсутствие приняла в дом другого мужчину. Зрителя волнует и подкупает великодушие Егора, простившего жене ее измену. На подобный поступок вряд ли бы был способен человек мелкий, себялюбивый, думающий категориями того заядлого собственника, каким позднее то и дело стараются сделать героя авторы фильма.

Почему-то очень трудно представить, что Егор добр и великодушен только тогда, когда речь не идет о деньгах. Тем более, хорошие, по-настоящему высокие человеческие качества его проявляются довольно часто. Мы видим, как он неподражаемо благороден, даже к своему обидчику в семейном смысле. Видим, с каким пониманием относится он к председателю колхоза, с каким воодушевлением он трудится, будь то в колхозе или в леспромхозе. Но авторов фильма совсем не устраивает цельность образа. В самом деле, что это за мужик, ежели он не стяжатель и не собственник? Нет таких мужиков, и баста... Весь сюжет, динамика сценария зиждутся на своеобразной погоне Егора Байнова за так называемым длинным рублем. Действие в сценарии остановилось бы, не заставь сценарист Егора позариться на более высокие заработки. И вот сценарист смело перекидывает своего героя с железной дороги на лесозаготовки. (То, что эта переброска противоречит уже наметившемуся характеру героя,— это не в счет.) Легкость сюжетной интриги вконец соблазняет сценариста, и он, вдыхая в действие сценария новые силы, перекидывает Егора с лесозаготовок на траловый флот, где деньги люди гребут лопатами, а потом не знают, что с ними делать. Вот ведь какой он, этот траловый флот! Какие открывает возможности для предприимчивого человека...

Но вернемся к нашему Егору-стяжателю. Говоря о художественной противоречивости этого образа, есть искушение оправдать ее противоречивостью жизненных явлений, в том числе и противоречивостью человеческих характеров. Но ведь одно дело жизненная противоречивость характера, другое дело противоречивость художественная, когда элементы, составляющие образ, взаимно уничтожаются из-за своей художественной несовместимости.

Думается, как раз такое взаимоуничтожение произошло с художественными элементами, составляющими образ Егора Байнова. То есть образ этот разрушался в сценарии тем же пером, из-под которого и рождался. Вероятно, одновременно с рождением. Нет, что ни говори, а сложность и противоречивость самой жизни ни при чем. Все дело, как мне кажется, в традиционном, двойственно-противоречивом и потому неопределенном отношении к деревне самих кинематографистов. Ведь даже уход Егора из деревни преподносится зрителю скорее как дезертирство, а не как вынужденный обстоятельствами шаг. (Вспомним попутно и тех плотников-рвачей из фильма «Председа-

тель».) Реплика героя: «Я, между прочим, работать иду» — дела не меняет. Все последующие события убеждают зрителя то в одном, то в другом: то в бескорыстии Егора, то в его стяжательстве, но больше всего, конечно, в последнем свойстве. Допустим, впрочем, что у авторов не было неопределенности относительно причин ухода героя из деревни: Егору нужен заработок, и все ясно. Но можно ли искусственно ограничивать причины ухода из деревень одними материальными интересами? (Хотя и это само по себе достойно и сочувствия, и понимания.) Ведь совсем немного среди ушедших было таких, например, людей, которые, приезжая в город, с олимпийским спокойствием шли ночевать на вокзал, потому что в Дом крестьянина их не пускали из-за отсутствия документов. Нынче это кажется нам диким, но в 46—50-м годах такие вещи случались, и нередко. А разве простое стремление повидать новое, приобрести интересную профессию, образование, наконец обычное желание жить около родных и близких, покинувших деревню раньше,— разве все это не могло стать причинами ухода? Причинами в наших глазах положительными?

Само собой, я вовсе не за то, чтобы втискивать в один фильм все эти причины, все обстоятельства, сопутствовавшие уходу Егора Байнова из родной деревни. Речь идет не об этом. Речь о том, что нельзя ограничивать крестьянскую психологию традиционными для кино свойствами, нельзя искусственно сужать нравственные и социальные проблемы деревни. Ведь даже сам труд — нечто, казалось бы неуязвимо-чистое, незагрязненное понятие в нашем обществе,— даже сам труд применительно к крестьянину, ставшему рыбаком или там лесорубом, многие из нас стараются опорочить, выставить не обычным трудом, а трудом стяжательским. Именно таким выглядит труд Егора Байнова в сценарии «Дом и хозяин».

Раздвоенное, неопределенное отношение сценариста к своему герою вызвано, видимо, с одной стороны стремлением преодолеть традиционность, с другой — неспособностью трезвого, правдивого и глубокого понимания деревни. С этой раздвоенностью, таящейся в сценарии, неминуемо сталкивается сначала режиссер, ставящий фильм, затем и актеры. Можно только посочувствовать Ивану Лапикову, который в фильме «Дом и хозяин» все время преодолевает эту раздвоенность: сценарный материал хотя и в меньшей мере, чем в «Председателе», но сковывает возможности актеров. Вероятно, артисту Новикову было намного

легче играть, чем И. Лапикову. Потому что сценарный образ безногого Митьки написан пусть не так масштабно, зато более цельно,— по крайней мере, в нем нет внутренних художественных противоречий, что так свойственны образу главного героя. Поистине, рано завидовать киноактерам...

* * *

Свою беспомощность и неосведомленность в изображении деревни наши сценаристы компенсируют иногда довольно своеобразно. Показателен в этом смысле сценарий фильма «Ташкент — город хлебный», поставленный на Узбекской студии.

Был такой писатель — Александр Неверов. Я говорю, был, так как с выходом упомянутого фильма его не стало. Сценарист по-своему распорядился неверовской повестью. Под его бойким пером эта замечательная повесть быстро превратилась в сценарий, а на экране она зазвучала и вовсе по-новому. Сценаристу материал повести показался для фильма недостаточным, и вот, не задумываясь о долге перед покойным писателем, не стыдясь зрителя, он вводит в сценарий дополнительные сюжетные линии, новых героев и т. д. И все это из-за того, что ему, видимо, почуялась в повести А. Неверова слабость классовой борьбы и, вероятно, некоторая идеализация крестьянской натуры. Ничем иным нельзя объяснить такое беспардонное вторжение в само содержание неверовского произведения.

Есть в повести эпизод с мужиками, едущими в переполненном вагоне в Ташкент, в надежде спастись от голодной смерти. У писателя Неверова, которого очень трудно заподозрить в идеализации крестьянского уклада, сцена эта полна сочувствия и понимания народной трагедии, вызванной голодом в тогдашнем Поволжье. У сценариста же голодающие превращены в спекулянтов, бедняки преобразованы в кулаков. Сам же Мишка Додонов — главный герой повести — противопоставлен в сценарии некоему вору, такому же мальчишке, только (в противовес Мишке) обладающему своеобразным чувством коллективизма. Когда этот мальчишка пытается сделать кражу, Мишка по-предательски орет, выдает вора. А потом унизительно целует ему грязную ногу. Ничего этого нет в повести. Но подобного обличительства крестьянской ограниченности сценаристу мало, и он вводит в дей-

ствие некоего Степку — белогвардейца и кулака. Благодаря этому Степке действие в фильме приобретает ясно выраженный детективный характер. В связи с этим, сценаристу приходится придумывать новых героев: девушку-узбечку, затем начальника поезда, которого девушка, спасаясь от преследования Степки, ловко пырнула ножом и т. д. Ничего этого в повести Неверова нет, нет и сентиментальных похождений Мишки в Ташкенте. В повести есть русский мальчишка Трофим, есть машинист Кондратьев, который отдает Мишке последнюю корочку и которому Мишка дарит свое единственное богатство — отцовский складной ножик. Но у сценариста свои задачи, и он без зазрения совести игнорирует наличие машиниста Кондратьева. А мальчика Трофима переделывает в узбекского сироту. (Кстати, образ этого мальчишки — единственная удача из всего того, что привнесено сценаристом в экранизированную повесть.)

Как видим, пафос сценария отнюдь не соответствует духу неверовского произведения. И если Неверов здесь беззащитен и не может сопротивляться подобной трактовке своего произведения, то кажется, что постановщик «Ташкента» пытается спасти первоначальное звучание повести. Во всяком случае, несоответствие между режиссерской и сценаристской трактовкой повести очень заметно.

Теперь, видимо, самое время сказать, что, по-моему, у сегодняшних кинематографистов, так или иначе соприкоснувшихся с темой деревни, сценарная часть дела покамест более консервативна, чем, скажем, режиссерская. Разумеется, я говорю лишь о реализованных сценариях. По-видимому, не так уж редка такая ситуация, когда талант режиссера и актерский не вмещаются в рамках сценария. (Впрочем, и режиссерами, которые хорошо знают деревню, отнюдь не богаты наши киностудии. По крайней мере, если судить по уже поставленным фильмам.) Никакой талант, никакие даже самые высокие возможности режиссера и актеров не смогут «вытянуть» фильм, если в самом сценарии таится убожество мысли, а то и прямая предвзятость, ошибки сценариста не выправит ни режиссер, ни актер.

Может быть, все здесь сказанное звучит слишком пессимистично, что дает повод обвинить меня в однобокости. Но ведь я не пытался разбирать дела наших кинематографистов всесторонне, я говорил лишь об одной, на мой взгляд весьма опасной, тенденции нашего кино. Опасность эта заключается в упрощенчестве и в устарелости взгля-

дов на деревню большинства наших кинематографистов. Проблема деревни намного серьезней и шире, чем кажется многим из сценаристов и режиссеров. Собственно никакой чисто деревенской, замкнутой в себе проблемы нет, есть проблема общенародная, общегосударственная. Не существует и особой чисто деревенской автономной литературы либо кинематографа. Автономия, обособленность деревенской темы в искусстве выгодна только тем художникам, которые либо из-за собственной ограниченности, либо из-за недостатка способностей боятся говорить и творить с общенародных позиций. А еще эта автономия выгодна многочисленным халтурщикам от искусства. Им-то она просто необходима. Потому что тематическая дифференциация, бесконечное проблемно-тематическое дробление в кино и в литературе всегда помогали маскировать творческое убожество и халтуру.

1970

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как только заходит спор или начинается очередная дискуссия о театре, мне вновь и вновь припоминается детство, семилетняя школа, наша любимая учительница Лидия Алексеевна Зяблова (вряд ли ей попадется на глаза альманах «Современная драматургия», тем более что преподавала она не литературу, а физику. Все равно, пусть не обижается Лидия Алексеевна, что упоминаю ее имя всуе).

При чем тут физика, уместно спросить? Очень просто: у Лидии Алексеевны было доброе сердце. Мы старались учиться лучше, чтобы не обидеть ее. Напротив, злость либо угрюмость других учителей тотчас отзывалась в нас нежеланием заниматься, всевозможными каверзами, доходящими порой до жестокости...

Доброта — этот обязательный признак любого творческого созидания — необходима не только в педагогике.

А много ли доброты в отношениях, скажем, таких звеньев в театральной цепи, как драматург — режиссер — актер — критик? Даже внутри каждого этого звена преобладают, как мне представляется, групповщина, интриги, склочность, «подсиживание». И прочие состояния, свойственные скорее регбистам, чем писателям и артистам.

Сразу же оговариваюсь: я вовсе не утверждаю, что иных отношений в театре не существует. (Как-то в разговоре с одним профессором я обмолвился, что читаю Достоевского тяжело, с каким-то эмоциональным напряжением. Профессор как будто даже обрадовался этому и теперь всем говорит, что Белов терпеть не может Достоевского. Подобные демагогические тонкости не только не всегда пресекаются, но не всегда и угадываются.)

Можно ли всерьез говорить о творчестве, если труппа живет в постоянной вражде, если она разделена на два, а то и на три лагеря? Едва погаснет одна склока, тут же начинает нарождаться другая. Главные (и не главные) режиссеры таких театров то и дело меняются, художники меняются, директора меняются, прежние завлиты вытесняются новыми и новейшими.

Здесь мне вновь вспоминается физика с химией. Принцип сообщающихся сосудов позволяет за две-три минуты уволиться из одного театра, а через неделю играть уже в другом городе. Это Счастливцев и Несчастливцев месяцами пешком топали из Одессы в Вологду и из Вологды в Одессу. Нынче все происходит намного оперативней. «Переливание» касается не одних актеров. Режиссеры, художники, даже директора и завлиты таким же способом переливаются из театра в театр, и сложилась в этом деле некая постоянная величина. Ездят обычно одни и те же люди, они-то и поддерживают определенный — не ниже и не выше — уровень художественности. Разводы, склоки и групповщина вместе с определенным репертуаром переносятся из города в город подобно вирусам гриппа, та или иная труппа опять начинает «чихать» и «температурить». Иные театры живут в таком стиле десятилетиями, складываются, складываются — да так и не могут сложиться. (Читатель должен знать, что автору примеры лучше не приводить.)

Впрочем, все сказанное относится больше к провинциальному театру, столичная миграция ограничена Бульварным, самое большое Садовым кольцом. Ведущие режиссеры и ведущие актеры в театрах больших городов обычно

сидят плотно, основательно. (Кое-где наметилась даже наследственность, как, впрочем, и в писательском деле.) Само собой, провинциальному актеру попасть в столичный театр не так-то просто, как не просто выманить актера из столицы на периферию. Выражение «Провинциальный театр» по каким-то причинам давно утратило положительный смысл. Театральная атмосфера открыто воспитывает в провинциальном актере (да и в зрителе заодно) чувство неполноценности, — дескать, по-настоящему высокое искусство может жить только под крышами академических театров. Но позвольте в этом усомниться! Живет оно и в других местах, например, в городских театрах. Конечно, во МХАТе с его грандиозными материально-техническими возможностями жить искусству легче, чем в народном театре поселка Чагода Вологодской области. Но величина таланта и сила вдохновения не зависят от богатства театрального гардероба или от технических возможностей сцены.

Увы, эти простые понятия — талант и вдохновение — для многих из нас звучат как нечто, ну не то чтоб устарелое, нет, а как нечто не очень главное. И впрямь, что о том толковать, когда в стране не десятки, а сотни — сотни! театров, академических, столичных, драматических областных, городских, а в этих театрах тысячи — тысячи! — актеров, режиссеров, художников, завлитов, администраторов и кассирш. Вовсе не случайно я ставлю в одном ряду кассиршу и заслуженную актрису, директора и народного артиста. Театр в системе социально-общественных ценностей оказался у нас приравненным к металлургическому или любому другому предприятию. У него также есть план, он (театр) тоже обязан давать доход и отчитываться перед финансовыми органами. А в таких условиях неминуемо возникает такой термин, как «театральная индустрия». Именно индустрия с централизованным управлением (Министерства культуры), с централизованным репертуарным снабжением (ВААП), со своими учебными заведениями, печатными органами и даже собственными НИИ. Индустриализация ощущается и даже в постоянном строительстве монументальных, подчас грандиозных театральных зданий. Наше государство не жалеет на это средств.

К сожалению, появление на сцене Щепкиных и Мочаловых не зависит от Министерства финансов.

Тогда от чего же оно зависит? Я бы искренне позавидовал тому, кто осмелится отвечать на подобный вопрос...

Массовость, большое количество коллективов в искус-

стве если и необходимы, то не достаточны. Искусство не физкультура и спорт, количество в искусстве категория опасная. Что толку в количестве и даже в качестве (конфигурация и размеры сосудов), если театральные сосуды сообщаются? Уровень воды в них все равно останется одинаковым...

На мой взгляд, стремление к нивелированию в театральном искусстве все более укрепляется, и происходит это по многим причинам. Главная из них — эмансипация, отделение театра от драматургической литературы. Это в общей сфере культуры. Внутри же самого театрального искусства я вижу главную опасность в эмансипации режиссера. Институту режиссера в театре придается последнее время главное, во многом преувеличенное значение. Если раньше режиссер «умирал» в актере, то теперь все наоборот, умирает актер в режиссере. И не один, а вместе с драматургом... Культ режиссера, позаимствованный театром из кинематографа, ограничивает творческие возможности актера, они глохнут. Актер понемногу приобретает марионеточные свойства. Создавая свой собственный, независимый от актера и драматургии художественный образ, режиссер нередко пренебрегает художественной самостоятельностью драматургического материала и актерского ансамбля. Сторонники режиссерского культа могут возразить, что режиссер потому и непререкаем, что стремится создать ансамбль. Все верно. Только почему незаурядного актера приходится заставлять по десять раз произносить одну реплику, повторять выход на сцену и т. д. Ведь если он незаурядный, то все у него должно получаться само собой, без режиссерского диктаторства, ну, по крайней мере, с двух раз? Актер должен бы естественно, инстинктивно чувствовать и партнера, и весь ансамбль, и философско-художественную направленность драматургии. Между тем многие режиссеры все чаще жалуются на актерскую тупость. Но, позвольте, чего же ждать от актера, если режиссер то и дело вгоняет его в прокрустово ложе собственного видения, собственного замысла? Он как бы говорит актеру: перевоплощайся дома с женой, импровизируй где угодно, а здесь изволь играть то, что требуется.

Вот и играют то, что требуется, хотя художественный потенциал иного режиссера намного слабее актерского. На фоне всего этого то и дело слышны разговоры о режиссерском голоде, о нехватке специалистов с театральным специально режиссерским образованием. Интересно, что бы

сказал на это Щепкин? Или еще живыми стоящие в наших глазах Яншин и Грибов?

Взаимные отношения между режиссером и драматургом подчас не менее, а более драматичны, чем с актером. Современная, воплощенная в жизнь формула такова: не театр для драматургии, а драматургия для театра, сам же театр — для режиссера.

Взглянем на годичные репертуары наших театров чуть-чуть попристальней. Разве не одни и те же имена в большинстве театров, разве по художественному достоинству отбираются пьесы, разве не ощущается групповщина в репертуарном деле? И опять же все это происходит при беспрерывных жалобах: нечего ставить, нет пьес. Но театр, извините меня, может быть высоким, очень высоким искусством даже только на одной классике! Рискнул ли на это хотя бы один режиссер Москвы? Притом, если говорить объективно, существуют и современные пьесы, постоянно оттесняемые в репертуаре ширпотребом, как есть у нас и хорошие драматурги, не обладающие, впрочем, достаточной для нашего случая пробиваемостью.

Вопрос об инсценировках классической и современной прозы самым тесным образом связан с культом режиссера в современном театре. Проза валом повалила в театр под неумолчные разговоры о мнимом репертуарном голоде. Конечно же, причины нашествия прозы в театр надо искать глубже. Обособленность режиссера в театральном искусстве влечет за собой чисто формальный поиск, отказ от глобально-специфических театральных основ под видом борьбы с традиционностью, якобы тормозящей развитие театрального дела. Но драматургия всегда была и будет одной из таких глобально-специфических основ театра. Нельзя называть новаторством в искусстве то, что исключает саму суть искусства. С чем же останется господин режиссер, если актеры будут лишь слепыми исполнителями его воли, а действие — эта самая главная двигательная пружина спектакля, заложенная в драматургическом тексте,— исчезнет? Разговоры же о какой-то новой специфике самого действия покамест очень и очень наивны... Рано или поздно наш театр переболеет теперь уже далеко не детской болезнью инсценирования прозы. И пусть будет это началом радостного обновления.

1982

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ИСТИНАМ

Не помню, где я услышал или, может быть, вычитал такую фразу: «Режиссер может поставить на сцене все, вплоть до поваренной книги». Полностью согласен с автором этой фразы. Хотелось бы только добавить, что режиссер должен быть талантливым. И вот что примечательно. Даже эта самая поваренная книга, поставленная талантливым режиссером, будет, видимо, интересна, будет смотреться и всегда предоставит возможность для пустопорожних диспутов. Такова сила театра, связанная с его спецификой и возможностями. Возможности театра так велики, что даже без драматургии, то есть без литературной первоосновы, он, театр, способен существовать, делать сборы и волновать зрителей, обладающих непритязательным вкусом.

Никто, наверное, не будет отрицать тот факт, что нынешний театр сплошь да рядом научился обходиться без драматургии. Во многих современных спектаклях (не станем сейчас касаться их художественных особенностей и достоинств) литературный, драматургический элемент либо исключен вообще, либо очень слаб. Режиссеры таких спектаклей нередко игнорируют драматургию, довольствуясь... чем?

Очень просто: тем только, что в настоящих, подлинно художественных спектаклях отнюдь не мешает драматургии, а лишь дополняет ее. Спектакль «без драматургии» составлен обычно из таких главных элементов: 1) сценарий для режиссера, основанный на каком-либо литературном материале, 2) собственно режиссура, 3) актерское обаяние и мастерство, 4) графическое, световое и цветовое оформление, 5) музыка. Некоторые режиссеры дополняют все это еще и элементами кино, балета и т. д. Таким образом, режиссеру (повторяю: талантливому) достаточно даже одного-двух из числа всех этих элементов, чтобы, по крайней мере, заинтриговать зрителя. Музыка, например, одна, сама по себе, даже в дурной записи, обладает довольно сильным эстетическим воздействием.

Не будем сейчас толковать о постоянном «превышении власти» режиссерами. Умолчим и о морально-эстетическом, наконец просто юридическом праве режиссера перерабаты-

вать для сцены и использовать любые литературные источники (классическую прозу, например). Все это особые темы, требующие и особого разговора.

Поставим перед собой один простой вопрос: можно ли считать полноценным театральное искусство без драматургии? Я считаю, что нет. В том и беда, что границы между театром, эстрадой и цирком смываются, причем в достаточной степени искусственно, под флагом поиска новых путей и новых выразительных средств. Об этом многие из нас боятся не только говорить, но и думать, опасаясь ярлыка ретрограда и гонителя нового. Но я убежден, что мы не только можем, но и обязаны возвратить театру его первоначальную суть. При этом я не призываю начисто освободить театр от музыки, например. Вовсе нет. Пусть останутся при театре и музыка, и даже клоунада, если это необходимо, но при одном условии: главенствовать в театре должны драматургия и актерский ансамбль. Будь режиссер хоть семи пядей во лбу, но без хорошей драматургии и талантливых, самостоятельно мыслящих актеров ему никогда не создать подлинно высоких театральных шедевров. (Очереди и давки в театральных кассах еще ничего не доказывают.)

К сожалению, и понятие «драматургия» сейчас также стало настолько широким, настолько зыбким и неопределенным, что позволяет писать для театра людям независимо от их природных способностей. По той же самой причине многие талантливые прозаики, даже не пытаясь попробовать свои силы в драматургическом жанре, легкомысленно соглашаются на инсценировки своей прозы. Такие инсценировки часто умирают вместе со смертью спектакля. И это одно из доказательств того, что в литературе и искусстве существуют четкие жанровые границы и вполне определенные жанровые законы.

На мой взгляд, наш театр сегодня нуждается прежде всего в настоящей подлинной драматургии. Вспомним, какой след оставили четыре пьесы Александра Вампилова, которые он успел написать. Разве не стоят эти четыре пьесы (всего четыре) многих десятков инсценировок?

Репертуарная неразборчивость, размывание жанровых контуров, смещение родовых и видовых понятий в искусстве сказались отрицательно и внутри самого драматического жанра. У нас написаны и поставлены десятки, а может быть, и сотни пьес, которые в начале этих заметок я назвал сценариями для режиссера. Обычно в такой эрзац-пьесе

начисто отсутствует действие — это ее, так сказать, формальный признак... Сцены в такой пьесе легко меняются местами, переставляются из конца в начало или наоборот. И все это можно делать без ущерба содержанию. А попробуем-ка поменять местами сцены в какой-либо из вампиловских пьес. Из этого ничего не получится. Такое свойство вампиловской пьесы я считаю одним из признаков настоящей драматургии.

Театральное дело у нас так обширно и так запутано, что приходится то и дело возвращаться к первоначальным и вполне определенным истинам. Вроде этих, известных каждому: театр не может существовать без пьесы, пьеса не может быть без действия и т. п.

К сожалению, об этих азах, об этих первоначальных истинах подчас забывают не только зрители, но и многие деятели искусства, даже режиссеры и театральные критики. В «Диалоге заинтересованных лиц» («Литературная газета», 1978, № 7, 15 февраля), завершающем дискуссию о театре, говорится: «Театр стоит перед альтернативой: либо содействовать многократному посещению... одной и той же аудиторией — упор на постоянную публику. Либо привлекать все новых и новых зрителей — упор на разового зрителя».

Позволительно спросить: откуда появилась такая альтернатива? Социологи, выступившие наряду с другими в «Диалоге», как бы делят зрителей на интеллектуальных, понимающих подлинное искусство и на не очень осведомленных, не созревших, так сказать. В том же «Диалоге» утверждается, что «массовый зритель», на которого ориентируются местные театры, ждет от спектаклей не столько катарсиса, сколько релаксации — облегчения, снятия напряжения».

Противопоставление одних зрителей другим и «серьезных» спектаклей — «развлекательным» представляется мне нелогичным. С каких это пор настоящему, подлинному искусству стало не все равно, кто сидит в зале, профессор ли киноведения или совхозный механизатор? Ведь настоящее искусство и потому еще настоящее, что действует на простых смертных не менее сильно, чем на «избранных». А разве катарсис сам по себе не подразумевает релаксацию (новое словечко!), то есть облегчение, снятие напряжения?

Нелепо делить зрителей на таких и на эдаких (хотя, разумеется, зритель не однороден). Ссылаться на финан-

совый план или на отсутствие подготовленных площадок — тоже не очень прилично для человека искусства. Подлинно высокое искусство существовало во все времена газового освещения. Само по себе такое искусство универсально. Оно несет в себе не только обязательность эстетического контакта с любой из социальных или интеллектуальных зрительских прослоек, оно способно и еще кое на что... В том числе и на развлекательность, позволяющую говорить о театре как о коммерческом предприятии. Другое дело, что далеко не все драматурги, режиссеры и актерские коллективы способны на такое искусство. Но зритель-то здесь ни при чем...

1978

О ЖАНРОВОЙ И ДРУГОЙ НОВИЗНЕ

На собрании хозяйственников в который уж раз я услышал фразу о чувстве нового. Примечательно то, что выступающий, призывая развивать чувство нового, забывал добавлять слово «передовое». Для многих нынче «новое» является синонимом «передового». По такой логике все старое само по себе есть отсталость и дикость, а все новое обязательно является прогрессивным.

Ошибочность подобной логики очевидна. Вспомним факты. Выращивание кукурузы на границе с Полярным кругом, конечно же, было делом новым. Но прогрессивным, передовым ли? С другой стороны, использование в земледелии навоза — дело такое старое, что и говорить как-то совестно. Но отсталое ли? Осмелюсь сказать — нет. Мы строим заводы-гиганты для производства минеральных удобрений (новое), тратим при этом порядочные миллионы. А сколько народных денег можно бы сэкономить, если б полностью использовалась органика, то бишь навоз (старое)? Сколько речек и рек осталось чистыми, рыбными, сколько людей убереглось бы от кишечных и прочих заболеваний?

Таких примеров хозяйственной деятельности можно

привести много, но обратимся к деятельности культурной.

Помню, лет эдак пятнадцать тому назад я впервые, туристом, попал в Париж. Программа была весьма плотной, но мы выкроили-таки один вечер и побывали на печально знаменитой площади. Плац-Пигаль горела всеми цветами радуги. Обширные цветные фотографии голых красоток, дородные вышибалы у входов в стриптизные подвальчики, бесстыдные атрибуты секс-киосков, наконец белые и черные публичные женщины — все это было для меня, разумеется, новым. Даже слишком. Но назвать все это передовым я не мог уже и тогда, хотя фразу одного французского писателя услышал только в следующий приезд. О площади Пигаль он сказал буквально следующее: «Туда ходят одни туристы и деревенские подростки из французских провинций. Порядочный парижанин туда не пойдет»...

Может быть, мой знакомый несколько преувеличил нравственный максимализм нормального порядочного парижанина. Но мы ведь тоже преувеличиваем, когда говорим, что западная молодежь сплошь пропитана, ну, например, рок-музыкой. Это не совсем так. Помню, в Англии наш микроавтобус остановился на улице какого-то маленького городка. День был воскресный, молодые ребята прямо на улице пели народные песни.

На встрече со студентами в шведском городе Упсала мне рассказали, что студенческая и рабочая молодежь несколько месяцев пикетировала местный секс-киоск, пока его владелец не прогорел и не убрался восвояси вместе со своим гнусным товаром. Там же, в Упсале, молодежь ежегодно проводит фестивали, где звучат народные национальные мелодии, где увлечение рок-музыкой считается признаком вульгарного вкуса.

Ясно, что новизна новизне рознь. Каково же было мое удивление, когда в Вологодском Дворце культуры железнодорожников (КОРе, как у нас говорят) я воочию увидел... самый настоящий кафешантан! Парижским танцовщицам вологодские уступали только в технике. В бесстыдстве же мои соотечественницы и землячки превосходили парижских. Танец бедер и животов наблюдало около тысячи старшеклассников и учащихся ПТУ. Многие мальчики и целомудренные мамаши доморощенных гёрлс глядели на вакханалию очень старательно: а вдруг это и есть то самое лучшее и передовое в искусстве? То, что оно современное, даже сиюминутное, это точно. А вот лучшее ли, прогрессивное ли? Тут есть некоторые сомнения...

К чести вологжан, они сразу же поняли, что такое группа «Сирин». В центральной печати было выступление, изобличающее эстрадно-сексуальную новизну, культивируемую в Вологде. «Стриптизные» выступления прекратились. Но «Сирин», подобно фениксу, тут же возникла опять, правда под новым названием: «Ансамбль эстрадного танца». И что удивительно, второе дыхание пришло к вологодскому кафешантану не без помощи той же газеты, которая до этого опубликовала письмо возмущенных зрителей. В обширной статье с подзаголовком «О некоторых проблемах народного творчества» говорилось о благотворном влиянии кафешантана на культурную жизнь Вологды. Автор всерьез пишет: «Да, нельзя сбрасывать со счетов, что с появлением эстрады, как удивительного «феномена» времени, наши педагогика, образование, просветительство получили, пожалуй, самое наглядное пособие из всех, ныне существующих. Эстрада ценна как жанр, как форма пропаганды».

Не будем слишком строги к стилю, обратимся к смыслу. О каком пособии речь? Пропаганда чего волнует автора? И так ли уж необходимо внедрять в художественную самодеятельность танец голого живота? В статье говорится: «В острой динамике современного ритма рождались один за другим танцы. И можно было лишь догадываться о трудной жизни коллектива: многочисленные комиссии, просмотры, решения и постановления, а в итоге — по настоянию городского отдела культуры ансамбль... «прикрыли».

В этом месте неискушенный общесоюзный читатель должен, вероятно, возмутиться произволом вологодских властей. Но автор статьи тут же успокоила читателя: «Нет, «на улице все спокойно»: коллектив все-таки существует и недавно выпустил новую программу, которая получила высокую оценку зрителей, стала значительным событием в художественной жизни Вологды».

Что это за программа, какое это событие — мы уже толковали... Дальше в статье говорится что-то о «современных ритмах», о «вечерней жизни городского студенчества» и т. д. Конечно, после такого выступления работники отдела культуры наверняка усомнятся в собственной правоте: а вдруг и впрямь запрещали передовое искусство? Газета-то ведь столичная, орган весьма представительный.

Сторонники стриптизной новизны обычно и ссылаются

на публикации в прессе, апеллируя, так сказать, к многознающим специалистам.

Недавно возможности такого апеллирования значительно расширило Центральное телевидение, включив в свои программы так называемую ритмическую гимнастику. Вообще, всевозможные эстрадные дивы, танцы, ритм-балеты маскируют своими интеллектуальными названиями подчас самую обычную пошлость. Проникла такая эстетика и в спортивные передачи. Я говорю о пресловутой аэробике, которую пропагандирует мастер спорта Елена Букреева и режиссер Леонид Кривицкий. Разумеется, вкупе со своими редакторами. Нескромные позы, иногда совсем циничные движения, соответствующая музыка, деланные улыбки «физкультурниц», эти бикини и полосатые, как в двадцатых годах, чулки — все это служит определенным, отнюдь не целомудренным целям. Двое юношей, задвинутых постановщиком куда-то на задний план, выглядят в этом женском коллективе явно лишними.

Так что же смотрят миллионы телезрителей — гимнастику или стриптиз? Что подо что маскируется и какие формы мимикрии предстоит увидеть нам в ближайшем будущем? Вопросы, на мой взгляд, отнюдь не риторические. Разрушение эстетики, поощряемое массовыми эстрадными зрелищами, обусловлено размыванием четких нравственных критериев. Граница между ханжеством и подлинным целомудрием действительно очень зыбка, неуловима. К нашему счастью, настоящее искусство все ставит на свои места, четко разделяя хорошее и дурное. Искусство же посредственное, нетребовательное к себе все путает (иной раз намеренно), перемешивает, перемежает. И лженовизне в этих условиях очень привольно. Еще опасней становится эта новизна, когда ею увлекаются люди талантливые, такие, как Виталий Постников — постановщик «эстрадных танцев» в Вологодском Дворце железнодорожников. С участием тех же самых «гёрлс» — вологодских девчонок — он поставил превосходный балет на музыку Пятой симфонии Дм. Шостаковича. Автор же упомянутой статьи хвалит В. Постникова за «эстрадные танцы». Подобный прием может, конечно, ввести в заблуждение не только горотдел культуры. Но — ненадолго. Разница между пошлостью и настоящим искусством почти сразу обнаруживается, и лженовизна становится очевидной. Как очевидной стала и та простая истина, что кукурузе не климат около Полярного круга...

* * *

Сия новизна — увы — живет и здравствует не только в сельском хозяйстве. Наверное, с нею в близком родстве состоит девальвация понятий искусство, художество. В самом деле, разве не называют искусством уже и ходьбу по проволоке, манипулирование пустыми либо наполненными бутылками и т. д.? Шахматы — искусство, вождение автомобиля — искусство. Гимнастика — художественная, виртуозное катание на льду — обязательно и балет. Существует поварское искусство и даже художественная прическа.

Размыванию понятийных границ во многом способствовал кинематограф. Киносценарий называют художественным произведением. Рожденный техническим прогрессом, соединивший в себе несколько видов творческой деятельности кинематограф может обойтись без любого из них, может быть даже и без киносценария. Тем не менее сценарий критики называют самостоятельным литературным художественным произведением. Но художественное произведение живет достаточно долго — в этом один из главных его признаков. А что происходит со сценарием после постановки фильма? Он исчезает, растворяется в зрительных и слуховых образах. Определение «художественное произведение» киносценарию явно не по силам, новый литературный жанр оказался нежизнестойким...

В других случаях мода на жанровую новизну привела к компрометации и внутрилитературных жанров. Так, иногда обычную запись в блокноте называют рассказом и публикуют. Но запись в блокноте есть запись в блокноте. Поэтому и придумываются новые жанровые названия (новелла, этюд, зарисовка, миниатюра и пр. Автор этих строк тоже отдал дань легкомысленной моде). Один за другим придумывались новые жанровые подзаголовки и для романа, и само это придумывание до сих пор считается элементом художественного творчества (роман-эссе, роман-исследование, критические романы и т. д.).

Но особый вред нашей литературе и одновременно театральному искусству нанесло, на мой взгляд, размывание четких границ понятия «драматургия». Жанровая новизна в драматургии открыла, как говорится, кингстоны, и в театр хлынула инсценированная проза. Назначение же прозы, как мне представляется, несколько иное...

Пренебрежение к законам драматургического литературного жанра было полезно, может быть, для самой про-

зы, но вовсе не для драматургии и, следовательно, не для театра. Режиссерский театр, позаимствовавший многие приемы у кинематографа, свел на нет драматургическую основу, снизил критерий художественности.

Этическая сторона такого явления требует особого разговора. Что бы сказал Л. Н. Толстой при виде своего имени на афише Ленинградского БДТ? «Л. Толстой,— гласит надпись.— История лошади». Но ведь для сцены Толстой писал «Живой труп» и «Власть тьмы», а не «Холстомера». Кто-кто, а Толстой-то прекрасно знал разницу между прозой и драмой. А что бы подумал великий писатель после спектакля? Впрочем, на спектакль, эстетика которого снисходит до лошадиной случки, вряд ли пошел бы тот, кто всю свою жизнь думал о необходимости нравственного самоусовершенствования...

1985

ИЗ НАРОДНЫХ ГЛУБИН

Сорок послевоенных лет... Газетная рубрика «Никто не забыт, ничто не забыто» не лишена все же праздничного максимализма: нельзя жить, не забывая страданий. Наша память надежно хранит радость победных весенних дней. Многим людям еще снятся россыпи военных салютов, звучание гимнов и маршей. Особенно памятны гудки паровозов, которые бежали по необозримым родным краям, развозя по домам солдат-победителей. Но мы не хотим вспоминать соленую окопную кровь и желтизну санбатного гноя, пронизывающую жуть женских рыданий и смертную безысходность в глазах дистрофиков. Может быть, это и справедливо. Но справедливо ли?

Вот, сейчас, в эту секунду, мне вспомнились трагические, написанные примерно за сто лет до ленинградской блокады строчки Н. А. Некрасова:

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,

Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?

Как много их, тех маленьких страдальцев, тех мучеников, принявших самую раннюю смерть! За что, почему они погибли? Печальные детские глаза смотрят на нас из прошлого. Помню, в начале войны наши матери мыли полы, лавки, окна в брошенных за годы коллективизации домах. Мы, ребятишки, с нетерпением ждали своих ленинградских сверстников, но так и не дождались. Может быть, как раз те ребята, которых мы ждали в Тимонихе, чтобы вместе пережить лихолетье, утонули в холодной ладожской полынье. И никто уж не скажет теперь, сколько среди них было будущих поэтов и музыкантов. Такой вопрос, впрочем, слегка отдает кощунством,— ведь право на жизнь для всех одинаково...

Да, право на жизнь одинаково для всех рожденных и, может, даже едва зачатых. Так же как право на спокойное детство, на крышу над головой и хотя бы малую толику родительской нежности. Судьба многих детей, которых смерть во время войны пощадила, судьба миллионов сирот не менее трагична. Человек, лишенный родных, даже будучи взрослым, испытывает горечь обделенного, а что говорить о горечи беззащитного детского сердца?

Наша культура была обескровлена годами войны и послевоенными бедами. Можно заново выстроить города и заводы, но кто вернет нам загубленные сиротством таланты?

Живо помню вокзально-железнодорожных своих ровесников, кормившихся кто как сумеет. Они удирали из детдомов либо от злых родственников, ездили в поездах. Декламировали какие-то стихи, что-то пели и даже показывали фокусы. Но эти ребята композиторами не становились, в Литературный институт не принимались. Сиротство и теперь не способствует раскрытию природных дарований, тем более не способствовало оно тогда. Лишь очень немногие, такие, как Николай Рубцов и Валерий Гаврилин, каким-то чудом выстояли в борьбе с невзгодами, смогли получить образование и уберечь себя от идеологических и прочих вирусов.

Николай Михайлович Рубцов почти не рассказывал о своем детстве. Он стыдился сиротства, словно это была только его личная беда, а не беда всей страны. Виною всему была война. Но почему же теперь, в мирное время, так много у нас сирот, вернее, полусирот, воспитываемых без

отцов? И как влияет сей странный феномен на раскрытие и становление природных возможностей? Я убежден, что плохое это влияние, но сейчас речь не об этом. Сейчас хочется поразмышлять о том, как, по каким причинам детдомовский мальчик становился вдруг художником, выразителем народных чаяний, имеющим право создать такую строку:

Россия, Русь! Храни себя, храни...

Я выписываю именно эту строку не для того, чтобы напомнить о рубцовской могиле, а для того, чтобы сравнить ее с другой строчкой, строчкой из песни. «Любите Россию», призывает по радио известная певица. В чем разница? И почему рубцовская строчка звучит естественно, а строчка из песни фальшиво? Почему далеко не каждый достоин подобной творческой смелости? Другая тоже популярная песня призывает: «Жалейте матерей»...

Использование народных святынь и самых высоких нравственных понятий в фискальных, так сказать, целях — не такая уж редкость не только в музыке, но и в поэзии, и в хореографии. Посредственные стихотворцы, музыканты, хореографы смело эксплуатируют внешнюю, «балалаечную» форму народной культуры, низводя эту культуру до своего уровня. Конечно, ей, народной культуре, ни тепло ни холодно от всего этого. Однако дело это и не совсем безобидное, поскольку неискушенный читатель, зритель, слушатель псевдохудожественность принимает сгоряча за подлинное художество, и выработка истинного вкуса к прекрасному у него затормаживается. Иногда навсегда. Аплодисменты, вызванные акробатическими прыжками, визгом и растягиванием бутафорских тальянок, до сих пор звучат на концертах знаменитых и самодеятельных коллективов. Но подобным танцорам-прыгунам, танцорам-волчкам надо присваивать не звания заслуженных артистов, а звания заслуженных мастеров спорта. Такое мастерство не имеет никакого отношения к истинно народному грузинскому, украинскому или какому-либо другому танцу.

Натурализм в композиторской деятельности проявляется в поверхностной обработке народных мелодий, в беззастенчивом, прямом и холодном заимствовании. Точь-в-точь как делают это так называемые сказочники, пишущие на сюжеты народных сказок многоактные пьесы, либретто, сценарии. Не менее распространен натурализм, рожденный самой художественной средой, когда композитор, иногда даже непроизвольно, использует ритмы и мелодии своих же

коллег. Другое проявление натурализма легко просматривается в смешении двух, а иногда и трех национальных признаков. Песенные гибриды, сочетающие в себе, например, азербайджанскую и украинскую мелодии, не трогают слушателей ни в Киеве, ни в Баку.

Вообще, искусству как живому и постоянно пульсирующему целому, по-видимому, свойственны и срывы, и временные недуги, и несерьезные увлечения. Так, нужно было появиться Николаю Рубцову и дюжине других серьезных поэтов, чтобы стала наконец понятна сорочья трескотня модных и очень громких стихотворцев, которые публицистику и стихотворный фельетон, а также рифмованные слова-конструкции выдавали за подлинную поэзию. До этого необычность и новизна приравнивались критиками к таланту, никто не хотел знать, что отнюдь не всякая новизна талантлива.

В музыке формалистический поиск, на мой взгляд, продолжается и сейчас. Чем иным можно объяснить, например, такое обилие разномастных балетов? Говорят, что в Большом театре заставили однажды танцевать даже Н. В. Гоголя. Не Хлестакова, а именно Гоголя. Но пусть на балетной сцене не Гоголь, а его персонажи, то есть Хлестаков с городничим. Увы, сатира в музыке то же самое, что и сатира в живописи или в архитектуре. Представить Левитана в сатирическом жанре очень трудно. Сатирической может быть только графика, да и то лишь в своей малой части — в карикатуре. Эксперименты, основанные на смешении жанровых признаков, выдаются за подлинное музыкальное новаторство. Больше того, находятся люди, и в немалом числе, всерьез утверждающие, что электронно-вычислительной технике под силу сочинять музыку и стихи.

Но эти люди путают искусство с шахматами.

Схематизм и конструктивизм, синтетическое искусство, создаваемые чуть ли не математическим способом, ничуть не лучше натурализма, хотя и не могут его терпеть.

Настоящая музыка живет особняком от обоих упомянутых направлений. Она равнодушна, даже брезглива к тому и другому. Бесплодность обоих явлений, их тщету и живучесть легче понять при сопоставлении поэзии и музыки. Думается мне, что Валерий Гаврилин и поэт Николай Рубцов выразили народную жизнь с одинаково вдохновенной силой. То, что сделано одним в поэзии, сделал и продолжает делать другой, но только в музыке. Я не осмеливаюсь

сказать, кто из живописцев или графиков то же самое сделал в изобразительном искусстве. Но для меня несомненна правомерность такого сопоставления.

* * *

Городок Кадников дал название родному уезду наших дедов и прадедов. Когда-то моя бабушка Александра Фоминишна ездила в Кадников на лошади, оттуда же приезжали в нашу волость отряды вооруженных всадников. Приезжали по разным причинам. Говорят, что из маленького монастыря, что стоял около Кадникова, ушел в Радонеж безвестный инок Ослябя...

Обо всем этом в энциклопедии Брокгауза, разумеется, ничего не сказано, хотя Кадникову там посвящена порядочная статья. Через Кадников шел за обозом юный Михайло Ломоносов, чтобы отстоять русской науке ее славное будущее. Кадников просматривается насквозь, насквозь продувается чистыми полевыми ветрами. И если этого мало, чтобы туристы стремились в этот маленький городок, напомним читателям о детском доме, в котором жил когда-то мальчик Валера Гаврилин — будущий русский композитор. Впрочем, жил он и в других детдомах: в деревне на берегу Кубенского озера, в поселке Ковырино. Подобно Николаю Рубцову, он не застал старинных народных песен, хороводов, широких свадеб и масленицː безвременье прервало плавное течение традиций. Быть может, одни похоронные причеты и сохранились в Кадникове и Ковырине к тому времени.

Тогда откуда же все взялось? Всколыхнулось, родилось заново и воплотилось в прекрасные звуки?

Вспоминаю великолепную сцену из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». То самое место, где Наташа Ростова без всяких предисловий, неожиданно для себя, легко и свободно пошла плясать под гитару своего дядюшки. Вспоминается и другое. В Малом театре репетировали мою пьесу. По ходу действия актеры должны были плясать барыню в ее северном варианте. Актеров учил специальный балетмейстер, но у них так ничего и не получилось (я сомневаюсь теперь: а знал ли сам-то балетмейстер, как пляшут барыню в нашем северном варианте?).

Но природный талант так мало значит без счастливых случайностей. Множество на первый взгляд незначительных обстоятельств могут в любой момент изменить судьбу будущего художника, причем далеко не в лучшую сторону.

И уж кто-кто, а Гаврилин-то эту истину познал на себе: выбиться из детдомовских и других общежитий на широкую творческую дорогу было не так-то и просто.

* * *

В музыке, в живописи, в архитектуре, на мой взгляд, быстрей, чем в литературе, можно сбиться на формалистский, бездуховный поиск, при коем все новое обязательно считается и передовым. Новизна и необычность в таких случаях становится самоцелью, а не следствием вдохновенного и радостного труда. Народность и естественность при этом провозглашаются рудиментарными и чуть ли не отрицательными понятиями.

Вначале Валерий Гаврилин не избежал, кажется, подобных влияний. Но сравнительно быстро, хотя, может быть, и не без труда, он от них избавился, стал искренним и естественным, то есть самим собой.

Однажды Георгий Васильевич Свиридов подвел меня к стеллажу в своем кабинете: «Смотрите... все это надо доделать, отшлифовать. Не знаю, успею ли...» И он начал бросать на стол папки с нотами написанной, но еще никем не слышанной музыки.

Настоящий талант обилен и щедр, у него много всего в запасе. Это посредственные мастера публикуют, ставят, исполняют все без остатка, иногда и недоработанное. У них ничего не остается в архиве. Валерий Гаврилин, подобно Г. В. Свиридову, обнародовал лишь малую часть своих сочинений, остальное терпеливо ждет своей очереди...

Есть и еще одно различие между посредственными и высокоталантливыми творцами: первые с возрастом слабеют творчески, способности их затихают. У вторых, у истинно народных, творческое развитие идет по нарастающей...

Валерий Гаврилин хорош во всех музыкальных жанрах. Вероятно, жанр для него всего лишь как бы предлог выразить в музыке нечто совершенно необходимое для него и для нас, слушателей.

Нередко первый творческий импульс исходит для Гаврилина от литературного произведения, использует композитор и собственные слова. Весьма любопытна история его отношений с вокальной музыкой. По его словам, вначале он просто не мог терпеть эту музыку. Но диапазон его композиторских возможностей был намного шире возможностей, как говорится, осознанных, а также личных

пристрастий, сложившихся у него к концу учебы. Гаврилин создал один за другим превосходные вокальные циклы. Жанровое и стилевое разнообразие гаврилинской музыки поразительно. Достаточно поставить рядом хотя бы такие произведения, как большой вальс из балетной сюиты «Анюта», фрагменты из «Театрального дивертисмента» и вокальные миниатюры из цикла «Вечерок», чтобы стало ясно, с художником какого масштаба мы имеем дело.

И вот прошел уже год после того, как в Большом зале Московской консерватории в исполнении хора, руководимого Вл. Мининым, впервые прозвучала прекрасная и неповторимая музыка гаврилинских «Перезвонов». К моему несчастью, я слушал эту музыку лишь в записи и не полностью. Но даже такое прослушивание потрясает, чувствуешь, как сжимается что-то в горле, как просыпается в тебе что-то такое, о существовании чего ты и сам не подозревал до этого.

«Перезвоны» в исполнении мининского хора — необычайно высокое явление современной музыкальной культуры, в этом не сомневаются добросовестные знатоки и ценители музыки. Но мы почему-то молчим, словно ничего не произошло, словно такая музыка рождается у нас постоянно и повсеместно. Неужели не заметно, что это *лучшая* музыка?

В «Перезвонах» я слышу голос народной жизни во всем ее разнообразии и богатстве. Слышу отзвуки древних языческих заклинаний, причетов, свадебных и праздничных песнопений, чуется в них ярмарочное многоцветье и мощь колокольных благовестов. А на какой пронизывающей художественной высоте оказалась в этом произведении наша северная частушка!

Казалось бы, В. Гаврилина очень легко обвинить в излишнем заимствовании из фольклора. Ан нет, не тут-то было. Высокопрофессиональный вкус, обусловленный талантом, надежно защищает композитора от любых нападок.

* * *

...Тотчас после фрагментного прослушивания «Перезвонов» я побежал в магазин грампластинок. Сквозь какие-то оглушительные завывания (пели что-то про дым) спросил продавщицу, есть ли что-либо гаврилинское. Среди сотен всяких названий гаврилинской музыки не оказалось.

«А был?» — спрашиваю. «Был, но очень давно».— «А что?»
Продавщица не могла ответить на этот вопрос.

Итак, пластинок с музыкой Гаврилина нет, как нет в книжном магазине и стихов Рубцова.

Впрочем, Пушкина в магазинах тоже ведь нет. Хорошо это или плохо? Предоставим судить литературным и музыкальным критикам...

1985

СУДЬБА ДВУХЭТАЖНОЙ ВОЛОГДЫ

Роль Севера в исторических судьбах русского государства еще не осознана до конца. Во времена черных столетий татаро-монгольского ига Север был основным хранителем русской национальной культуры. В ту долгую и безрадостную пору здесь не потухали зыбкие лампады седых летописцев, не обсыхали кисти изографов, не ржавел зодческий инструмент. Север не давал оборваться трепетным связям времен, он сберегал и развивал традиции национальной культуры. Северные монастыри были не только военными крепостями, не только отражали набеги захватчиков. За бойницами монастырских стен жила и развивалась философская мысль, отсюда распространялось просвещение, здесь непрестанно создавались памятники духовной и материальной культуры.

Ровесница Москвы Вологда строилась не одним десятком поколений русских людей. Она известна не только как промышленный, культурный и административный центр Северо-Запада, но и как город со своим собственным архитектурным обликом. А облик Вологды и до сих пор тесно связан с деревянной архитектурой. Замечательное плотницкое искусство веками процветало на вологодской земле. Здешние древодельцы еще до распространения обычной пилы, одним топором, творили подлинные чудеса. Например, всему миру известен несохранившийся Анхимовский храм. (Этот шедевр деревянного зодчества был предшественником знаменитого Кижского ансамбля.)

Традиции каменного и деревянного зодчества взаимно дополняли и обогащали друг друга. По деревянным сооружениям вологодских плотников можно и сейчас проследить, как развивалась архитектура, дерево наравне с камнем запечатлело для нас историю строительного искусства. Многие деревянные здания Вологды по своему изяществу, по гармонической красоте пропорций не уступают своим каменным собратьям. Декоративное же украшение жилых домов было поистине массовым, повсеместным. Целые кварталы и улицы были украшены великолепной деревянной резьбой, каждый карниз, каждое крыльцо были оригинальны и редко повторяли друг друга.

Откуда такая фантазия? Такое богатство и разнообразие деревянных узоров? Вероятно, вот так же свободно и неприхотливо звучала былина или сказка в избе в долгие зимние вечера, так же сплеталась причудливая и образная словесная вязь под стук звонких коклюшек. Под утро мороз выводил на стеклах свои затейливые узоры, и солнце играло в окнах. Может быть, эта свободная игра света и линий раскрепощала фантазию кружевницы, а заодно и резчика. «Реченька» — один из излюбленных мотивов вологодского кружевного искусства. Тихая спокойная речка вьется среди лугов, и вот ее изгибы переносятся в белое или черное кружево мастерицы. Те же мотивы, но уже по-другому, запечатлены в дереве. То ровно вьющимся хмелем, то льняным стеблем бежит по углам и карнизам резьба. Растительный орнамент тут и там уступает место геометрическому, но оба удивительно ритмичны, неназойливы и прекрасно сочетаются с деталями и общим планом строения. Мастера словно вдыхали в дерево свою душу, и дерево начинало свою новую жизнь на князьках и фасадах домов...

К несчастью, время не пощадило многое из того, что создавали наши предки — талантливые древние зодчие. Так, в Смутное время город был не однажды выжжен захватчиками. Позже некоторые бесценные памятники национальной культуры стали жертвами собственного нерадения и равнодушия. Еще в начале девятисотых годов в городе одних культовых сооружений (имевших архитектурную ценность) насчитывалось более семидесяти, многие памятники гражданского зодчества также безвозвратно исчезли.

И все-таки город каким-то чудом сберег для современника свою архитектурную неповторимость. Казалось бы, зачем в наше-то время — время сплошной грамотности —

говорить о бережном отношении к культурному наследию прошлого? Но говорить, оказывается, надо...

Ежегодно Вологду посещают тысячи организованных, а также самодеятельных туристов. Приезжают студенты, специалисты, изучающие архитектуру, строители. Все в один голос утверждают, что Вологду никак нельзя спутать с другим каким-либо городом, что она своеобразна. Но вот те же люди приезжают к нам во второй раз. И вдруг мы слышим жалобы на чувство разочарования, неудовлетворенности. Что-то, мол, стало не так, чего-то недостает. В чем дело? Неужели новые многоэтажные дома в центре не украсили Вологду, а со сносом деревянных двухэтажных особняков город потерял в своем облике что-то важное, неповторимое?

Оказывается, так и есть. Радуясь новым многоэтажным домам, сами вологжане не замечают этого. Но несомненно, если дело пойдет и дальше таким же образом, то через десять — пятнадцать лет Вологда будет мало чем отличаться, например, от Череповца.

Какова судьба города в будущем и что произойдет в ближайшие десятилетия? Вопросы отнюдь не праздные и не риторические. Если, конечно, учитывать значение культуры вообще и архитектуры в частности в формировании мировоззрения, в художественном и нравственном воспитании молодежи. Дело в том, что в азарте нового строительства мы иногда просто не видим необратимых изменений и ни с чем не сравнимых потерь. Судьба Вологды в этом смысле типична. Понадобились даже специальные правительственные меры, чтобы оградить некоторые старые города от безоглядных действий слишком ретивых строителей. Ведь кое-кто из таких горе-строителей готов хоть сейчас скосить с лица земли все, как они говорят, «старое» и построить на этом месте новый город. (Логика весьма странная. Даже муравьи, приступая к строительству нового муравейника, отнюдь не разрушают старый, а строят рядом или где-то поблизости.)

Не будет преувеличением то, что судьба города зависит порой от беспринципных либо лишенных таланта архитекторов, а также от тех хозяйственников, которые видят в уникальных постройках лишь аварийные объекты и стараются поскорей избавиться от них путем сноса. Вот почему решением Совета Министров РСФСР многие города Федерации, в том числе и Вологда, внесены в список особо ценных и в историко-архитектурном смысле и охраняются

от поточной индустриальной застройки. Все знают, что это решение накладывает на планировщиков и строителей определенную и недвусмысленную ответственность, обязывая их считаться с художественной спецификой исторически сложившихся ансамблей, улиц, отдельных сооружений и городов в целом. Однако беру на себя смелость сказать, что это решение Совмина выполняется зачастую половинчато, а иногда и просто игнорируется. На мой взгляд, вся беда в том сугубо рационалистическом подходе к делу, который подразумевает лишь сиюминутную пользу. Слов нет, мы должны строить быстро, дешево и экономно. Но можно ли во имя экономии игнорировать художественные, исторические и эстетические ценности? Ведь если следовать незамысловатой логике рационалиста, то зачем, например, при ремонте старого дома восстанавливать лепные карнизы, розетки, пилястры и прочую, по мнению иного экономиста, чепуху? Не лучше ли сковырнуть остатки архитектурных украшений и заштукатурить все подряд? Как говорится, и дешево и сердито. Но страдают не только отдельные интерьеры дома и кварталы. Исчезают ландшафты, имеющие художественную и историческую ценность. В городском строительстве господствует стремление *сравнять и выпрямить*. Происходит в прямом смысле нивелирование живописных подъемов и спусков, городских холмов и речных берегов.

Архитекторы, и не в одной только Вологде, нередко жалуются на административное и ведомственное давление при решении тех или иных вопросов градостроительства. И получается точь-в-точь как в басне Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Строителям мешают деревья на стройплощадке, и их спиливают. Почему бы тогда не послушаться и автомобилистов, и дворников, которые жалуются летом на обилие тополиного пуха? Работники ГАИ сетуют на перегруженность магистралей транспортом, и архитектор дает разрешение на снос домов. Почему бы тогда не спрямить улицы в старом Таллине? Разумеется, движение в городе сразу бы обезопасилось. Пожарники тоже будут довольны, если в Вологде или в Великом Устюге архитекторы разрешат снести десятка по два деревянных особняков. Пожароопасные зоны сразу бы стали меньше. Понадобится здание какой-либо городской организации, почему бы не сделать перепланировку и не уничтожить при этом интерьер?

К сожалению, подобное отношение к архитектурным ценностям совсем не редкость.

* * *

Вологда пришла к своему восьмисотдвадцатипятилетию с более чем двухсоттысячным населением. Очень много за последние годы построено у нас жилья, промышленных и культурно-бытовых объектов. Силами Вологодских реставрационных мастерских восстановлено несколько изумительных памятников гражданского и культурного происхождения — как деревянных, так и каменных. Почему же город все-таки очень быстро теряет свой неповторимый облик? (Я не говорю здесь о микрорайонах, которые в большинстве своем строятся заново.) В этом стоит разобраться, причем не только архитекторам и активистам из Общества по охране памятников. Дело обстоит не так просто, как кажется. Ведь современный город не есть нечто статичное, застывшее,— как и любой живой организм, он должен развиваться, жить. Множество ветхих старых домов, не имеющих эстетической ценности, действительно отжило свой срок, и их необходимо снести, построив на их месте современные дома. Но *сколько* и *что* снести? И *какие* дома построить взамен, чтобы не только сохранить прежнее своеобразие города, но и развить, дополнить это своеобразие?

Как известно, старые уездные и губернские города застраивались в основном двух- и трехэтажными домами. Общий архитектурный облик Вологды складывался не один и не два года, а многими десятилетиями. Архитекторы стремились к гармоническому соответствию отдельных частей города, умело использовали ландшафт, уличную перспективу, особенности исторически сложившейся планировки и т. д. В результате формировалось художественное единство города, его цельность, создавалась ритмическая уравновешенность объемов и линий. К сожалению, сейчас эта художественная цельность уже во многом нарушена. Выйдем хотя бы на площадь около памятника В. И. Ленину и взглянем на улицу Мира, уходящую от центра к вокзалу. Мы увидим, что одно- и двухэтажные дома упираются в громадное массивное здание УВД. Дальше маячит еще более объемное, уже десятиэтажное здание банка. Образовалась какая-то нелепая лестница, причем ее нижние ступени оказались в центре города. По логике такой застройки необходимо надстраивать многие здания в центре. Но это значило бы, во-первых, лишить их индивидуального своеобразия, во-вторых, окончательно испортить два замечательных дома с куполами, которые формируют облик площади, то есть

испортить и саму площадь. Через Каменный мост пройдем на другую центральную площадь — площадь Возрождения. Налево по мосту стоял превосходный дом, который гармонично вписывался в перспективу Каменного моста. Теперь этот дом безнадежно испорчен. В результате новейшей перестройки весь его низ превращен в застекленную витрину и напоминает громадный аквариум. Здание стало просто нелепым. Не лучшим образом распорядились наши архитекторы и площадью Возрождения. В ряду замечательных старых зданий довольно сухо выглядит почтамт, а угловатая застекленная крыша областной библиотеки словно бы придавила всю площадь.

Место для нового драмтеатра выбрано также неудачно. Мощный его объем, на фоне которого совсем потерялись очертания великолепной церкви Иоанна Предтечи, выглядит весьма неуместно. Для многих вологжан непонятна и поспешная ликвидация бывшего кинотеатра имени Горького. Этот собор, вероятно по чистой случайности не оказавшийся под охраной, конечно же имел архитектурную ценность, его вполне можно было восстановить. Но его уничтожили. Я уж не говорю о бесконтрольном сносе деревянных зданий. К ним в Вологде относятся особенно недоброжелательно. Под видом бесперспективности и большого так называемого процента износа строители намереваются постепенно уничтожить всю деревянную Вологду.

Конечно, каждому, кто защищает деревянное зодчество, очень трудно рассчитывать на симпатии общественности. Ведь большинство деревянных домов действительно не благоустроены. Они обветшали, так как десятилетиями были предоставлены сами себе. Значит ли это, что деревянный дом вообще не может конкурировать с современным блочным? Нет, не значит. Можно на примерах легко убедиться в том, что при правильной эксплуатации деревянный дом служит очень долго. Разумеется, снести «больной» дом легче, чем его «вылечить». Но, во-первых, деревянные дома зачастую сносятся не из-за обветшалости, а из-за того, что строителям просто понадобилось место. Во-вторых, многие деревянные дома можно не только восстановить, но и благоустроить, сохраняя имеющуюся в городе жилплощадь. Речь, конечно, идет не о тех приземистых развалюхах, которые сносятся десятками. О них никто не жалеет. Речь идет о домах по списку доктора искусствоведения П. А. Тельтевского и о прилегающих к ним кварталах, которые в значительной степени формируют физиономию го-

рода. Многие здания по этому авторитетному списку уже снесены, другие ожидают своей участи. Если же учесть то обстоятельство, что многоэтажность не гармонирует с двух- и трехэтажной, в том числе и каменной, застройкой старой Вологды, то угроза полной перестройки города окажется реальностью.

* * *

Однажды в Вологде обсуждался Генеральный план застройки города, разработанный институтом «Ленгипрогор». Обсуждался на выездном заседании Комитета по делам строительства. К сожалению, говорили, в основном, авторы проекта и представители Комитета, далеко не всем представителям общественности удалось высказаться. Формально все выступавшие признавали необходимость бережного отношения к сложившейся и имеющей громадное значение архитектуре города. Но практически одобренный на заседании генплан во многом игнорировал постановление Совета Министров РСФСР об особенно ценных в историко-архитектурном смысле городах. Он, то есть генплан, предлагал узаконить снос целых кварталов Вологды, а также строительство многоэтажных зданий, что неминуемо приводит к архитектурной диспропорции. В целях экономии городской площади, насыщенной инженерными сетями, планировщики и строители, конечно, не замедлили снести имеющие архитектурную ценность кварталы и построить многоэтажные здания рядом с двухэтажными, игнорируя элементарные художественные и эстетические требования.

Кроме того, генплан предусматривал в будущем конкурс на так называемую застройку центра. Но что значит эта застройка? Застраивать можно пустыри и отведенные для микрорайонов участки. Термин же «застройка центра» как бы заранее подразумевает то, что центр этот в теперешнем виде никуда не годится, и его нужно застроить заново. И если допустить правомерность «застройки центра», то какой же смысл и в термине «Охранная зона» центра?

Проектировщики «Ленгипрогора», а также авторы памятника, воздвигнутого на площади Возрождения, словно бы задались целью начисто перестроить наш город...

Вологда, как и другие старые русские города, конечно же будет строиться, расти вширь и дополняться новыми

микрорайонами и поселками. Этот процесс необходим и естествен. Но одновременно мы должны сохранить для потомков и те бесценные достижения в деревянном и каменном зодчестве, которые оставлены нашими пращурами. Оставлены на нашу совесть и сердечное бережение.

1975

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО

Учителю не так просто быть понятным и близким. Иные так и доживают до пенсии, не познав величайшей радости педагога: быть понятным и близким. Частенько это происходит из-за профессионального и возрастного снобизма. Учитель побаивается спуститься к детям с высоты своего учительского авторитета. И тогда холодная отчужденность становится для него элементом методики. Другие — наоборот — из боязни выглядеть отсталыми и ретроградами впадают в излишний демократизм. А это влечет за собой еще большую опасность — фамильярность. Отсюда — два, совсем разных стиля. Но стилизация в педагогике, как и в литературе, ни к чему хорошему не приводит... Подлинный педагог не бросается ни в ту, ни в иную крайность, он владеет как бы и тем и этим.

В обучении нынешней молодежи меня больше всего настораживают некие «ножницы», явный разрыв между духовно-нравственным и информационно-познавательным. Критерий образованности мы занизили до опасного предела, игнорируя именно нравственное начало.

Парадоксов в народном образовании не меньше, чем в экономике или в социологии. (В разговор о парадоксальности так и просятся такие темы, как тема «продленки», школ-интернатов, тема так называемого всеобуча и т. д.) Казалось, что с введением уроков труда, с политехнизацией школы отношение выпускников к физическому труду постепенно изменится к лучшему. Однако же большинство десятиклассников по-прежнему не очень-то стремятся в доярки и слесаря. В чем дело? А дело в том, что отношение к труду зависит не столько от раннего умения владеть трактором или доильным аппаратом, сколько от духовного

уровня школьника. Уровень этот легче достигнуть с помощью Льва Толстого и Пушкина, чем с помощью других каких-либо способов. Воспитанный нравственно человек уже не будет чураться никакого труда, в том числе и грязного, и физически тяжелого — таково уж свойство высокой нравственности! (Конечно же, оно отнюдь не единственное.)

Правда, из любви к художественной литературе мы склонны преувеличивать то место, которое она фактически, а не теоретически занимает в жизни. (Мы — это писатели, журналисты, библиотекари, книголюбы. И, разумеется, учителя-словесники.) Давайте переберем в уме всех своих знакомых. Так ли уж каждый из нас любит и понимает литературу? Я, например, знаю очень многих инженеров и административных работников с высшим образованием, которые совершенно не интересуются художественной литературой. Они ничего, кроме газет, не читают, а если и читают, то только в дороге, чтобы убить время. Для убийства же своего времени, согласитесь, вовсе не обязательно читать романы Фолкнера. Так что если художественная литература — это проявление жизни, жизни по преимуществу духовной, то само по себе умение читать еще не признак высокой грамотности и духовной культуры.

Выражение «литература и жизнь» давно стало идеологическим штампом. «Жизнь и литература» прозвучало бы справедливее, ведь литература, какая бы она ни была, все равно всегда останется лишь составной частью нашей жизни. Кроме того, духовная жизнь народа не ограничивается художественной литературой. История и язык, искусство и музыка для воспитания подлинной нравственности нужны педагогу в той же степени. Почему же тогда отечественная и зарубежная история преподается у нас с такой ничем не объяснимой скоропалительностью? А русский язык уже в девятом классе полностью уступил свое время и место всевозможным формулам и т. д.

Говорить о положительном значении гуманитарных наук даже как-то совестно... Это такая древняя и в то же время по-молодому крепкая истина. Только ведь и книга книге рознь. Более того: в наше время на необозримом книжном поле посеяно и цветет множество сорняков. Воспитатель, то есть учитель, обязан научить школьника не только читать, но и как, и что, и в какой последовательности читать.

За короткие школьные годы невозможно освоить даже малую часть невообразимых богатств художественной ли-

тературы. Поэтому хороший учитель лишь успевает за эти годы разбудить в школьнике интерес к чтению, разжечь желание читать, заронить и выпестовать эстетический вкус, выработать у ребят чутье на художественную правду. Такой духовно разбуженный в школьную пору ученик все остальное сделает уже сам. Сделает, может быть, больше, чем предполагал воспитатель. Для учителя, наверное, ничто не может быть прекраснее такой неожиданности.

Вернемся, однако ж, к той поре, когда для человека все только лишь начинается, если иметь в виду школу, а не семью.

* * *

— Дяденька, сколько часов?— малыш в синтетической курточке терпеливо стоит на дорожке сквера. Двое его приятелей — тоже. Все трое, может быть с замиранием сердца, ждут моего ответа. На следующий день — опять тот же вопрос, но мальчик уже другой. Я спрашиваю, сколько ему лет. Он показал мне ладошку, пять растопыренных пальчиков, вымазанных пастой от авторучки. Потом вспомнил что-то и добавил еще один пальчик — с левой руки...

Итак — всего шесть лет. Но как это мало для детства! Между тем даже в этот период современный ребенок редко бывает совершенно свободным, непосредственным. То есть счастливым. Многие из детей уже в этом возрасте тратят уйму сил в борьбе против садика, непосильных обязанностей, регламентации. Но я убежден и буду спорить с кем угодно, что во младенчестве и в детстве человек обязательно должен быть счастливым. Обязательно! И он счастлив, если у него есть рядом отец и мать, если он пробуждается не по будильнику, если не голоден и может играть столько, сколько ему хочется. Не так уж и много надо для детского счастья. Но как рано у нынешних детей появляются обязанности, отнимающие время у стихийных детских восторгов, как быстро дети лишаются своей детской сути, превращаясь в маленькие копии взрослых! Стремясь как можно раньше нагрузить детскую душу знаниями и обязанностями, мы не доверяем нашим детям, глушим в них творческое начало... И в общем итоге частенько обрекаем их на духовную бедность. Ту самую бедность, из которой позднее многие люди так и не сумеют выкарабкаться...

Насилие взрослых над детской душой мы обычно оправдываем благими намерениями. Мол, ребенок должен, обя-

зан то-то и то-то. Но мы забываем, что ребенок в шестилетнем возрасте еще ничего никому не должен и ничего не обязан. Он ребенок. У него совсем иное отношение к миру, иная логика, все-все совсем другое! Мы легкомысленно забываем, что это *должен, обязан* уместно только тогда, когда человек живет уже сознательной жизнью, что в шестилетнем-то возрасте человек живет в состоянии игры (и это тоже труд!), что в свободном творческом подражании он учится жизни быстрее и легче, что теперь главное в его воспитании не он, а мы сами, наше поведение, наш образ мысли, наш семейный, как говорится, микроклимат. И я утверждаю, что состояние детства, особенно у городских детей, мы прерываем искусственно и неоправданно рано, то есть еще до школы.

Но вот семилетнее существо, еще совсем слабенькое физически, едва обнаружив свое вечное и свободное творческое начало, обязано явиться первого сентября в школу. Дети, ничего не подозревая, с восторгом ждут этого дня. Первое время они старательно слушают учителя, пытаются выполнить все, что он от них требует.

Увы, требует слишком много. Уже в конце первой четверти многие первоклассники начинают капризничать по утрам, а потом и хитрить, обманывать старших. Шлепки по попке только усугубляют положение. Ребенок не хочет в школу, он идет туда только потому, что надо, что от него все это требуют. Дело доходит до того, что некоторые дети нарочно простуживаются, чтобы заболеть и не ходить в школу.

* * *

Раздумывая над этим странным явлением, я вспомнил собственное детство. А при каких обстоятельствах тебе самому не хотелось в школу? Я не мог вспомнить ни одного такого случая для первых трех-четырех классов. В пятом — седьмом такие моменты хотя и редко, но бывали, причем почти всегда из-за материальных лишений. Так. Для современных детей эта причина отпадает... Ну, а еще когда, в каких случаях не хотелось идти в школу? Конечно, когда учиться неинтересно. Или когда не знаешь предыдущего материала.

На дне рождения у дочери-первоклассницы оказалось восьмеро ее одноклассников. Я спросил, нравится ли им математика. «Кошмар!— дружно завопили все восьмеро.—

Ужас!» Но восемь — это только пятая часть класса. Может быть, остальные скажут совсем другое? Я не упускал с тех пор ни одного случая, чтобы докопаться до истины, спрашивал детей в других школах, деревенских и городских, спрашивал о математике у родителей. Все говорили примерно одно: да, действительно кошмар. Но некоторые учителя по математике утверждали, что все нормально, что я не специалист и прочее. Выступление в печати академика Понтрягина поставило все на свои места. Но каково же было мое удивление, когда одна из учительниц, отстаивая вредную программу по математике, об академике с мировым именем сказала: «Что вы хотите, он же не специалист!»

Вот так иные «специалисты» игнорируют общественное мнение и даже сам здравый смысл! Это они составляют школьные программы, экспериментируют там, где экспериментировать вообще нельзя. Они нередко меняют превосходную, годами отработанную методику на дурную. Именно так получилось с преподаванием математики: заменили хорошие учебники другими, далеко не лучшими, изменили программы. И все это под видом прогресса и обновления.

К сожалению, так происходит не только с математикой, так происходит и с русским языком, и с литературой. Полистайте, к примеру, «Русскую речь» Е. И. Никитиной — экспериментальный учебник для четвертого класса. Вот несколько правил (набрано жирным шрифтом) из этого «учебника»:

«Рассуждения бывают полными и сокращенными. В полном рассуждении три части:

1. Тезис (то, что доказывается или объясняется).

2. Доказательство (или аргументы, доводы, обоснования, объяснения).

3. Вывод.

В сокращенном рассуждении две части: опускается или вывод, или тезис, потому что они очень близки по содержанию (ведь вывод — это доказанный тезис). В доказательствах могут быть опущены примеры и даже некоторые аргументы».

«Нередко толкование лексического значения слова дается через указание не только рода, но и класса, определяемого предмета...»

Понять всю эту учебную белиберду трудно даже взрослому, даже искушенному в языкознании. А ведь учебник предназначается для четвертого класса, для детей девяти-

десятилетнего возраста! Известно ли ученому совету НИИ Минпроса РСФСР, рекомендовавшему книгу к изданию, о возрастной и предметной специфике? Не сомневаюсь, что известно. Но вот о той простой истине, что ребенок до определенного возраста мыслит образами, что абстрактное мышление ему просто еще недоступно,— об этой истине хотелось бы напомнить товарищам из НИИ[1].

Глобальное, все более распространяющееся проникновение рационалистических (даже часто математических), формальных методов преподавания, игнорирование образного восприятия не доведет нашу школу до добра. С этим злом надо бороться самым решительным образом.

Другой причиной того, что ребенок не хочет в школу, подчас просто боится ее, являются, на мой взгляд, обычные интеллектуальные перегрузки (впрочем, они в какой-то мере и обусловлены как раз рационалистическими, не творческими способами преподавания). Программы по математике, физике и химии просто перегружены. Эта перегрузка не так уж и редко вызывает не только отвращение к учебному процессу, но и самое обычное нервное истощение учащихся, которое невозможно нейтрализовать на уроках труда и физкультуры. В этом смысле учеба с шестилетнего возраста представляется мне совершенно неправомерной. Сторонники этой идеи напрасно будут настаивать на том, что для детского организма это безвредно. Я убежден, что и пятидневная рабочая неделя как для детей, так и для учителей, просто необходима, что ее введение было бы только на пользу обществу. Нужно, наконец, осмыслить и тот факт, что рабочий день учителей не нормирован, и поэтому учителей давно пора освободить от дополнительных нагрузок. Словом — изменения в системе образования просто необходимы. Но изменения в сторону лучшую, а не в худшую. Ведь бывает и так, что под предлогом прогрессивных изменений принимаются весьма сомнительные решения. Ограничусь одним, самым, пожалуй, безобидным примером.

В свое время в начальных классах отменили уроки чистописания. Многие из нас этого просто не заметили. Что, мол, тут плохого? Разрешили школьникам пользоваться ша-

---

[1] Вскоре издательство Просвещение выпустило книгу «Русская речь» для пятого класса того же автора. Рекомендация тоже НИИ школ. Вот правило уже из этого учебника: «При параллельной связи порядок главных членов в первом или последнем предложении может отличаться от порядка главных членов в других предложениях текста и таким образом более четко подчеркивать его начало или конец».

риковыми авторучками, и очень хорошо. Начали обучать скорописи — тоже не плохо. Пришло, значит, время. Время?.. Я великолепно помню, как наш деревенский учитель Николай Ефимович Мартьянов относился к чистописанию. Как терпеливо и настойчиво, в жесткой последовательности, учил он первоклассников писать элементы букв. Нет, он не жалел для этого времени! Ведь каллиграфическое письмо являлось элементом эстетического воспитания. Я понял это намного позднее...

Да, писать надо было не только грамотно, но и красиво. К тому же вместе с каллиграфией мы учились терпению, усидчивости и аккуратности. И еще чему-то необъяснимому, что очень нужно в зрелом возрасте. Почерк, так же как и походка, формируется в детстве и навсегда. Формирование почерка связано с формированием характера, наконец личности. Но можно ли шариковой ручкой научиться красиво писать? Увы, нет. Я глубоко убежден, что расхлябанность, неаккуратность и бестолковщина начинаются как раз с первых закруглений и палочек, которые выводит человек, будучи первоклассником. Мое поколение писало сначала в тетради в косую линию, затем в тетради с узкой строкой и наконец в клеточку и просто в линейку. Только после этого нам доверили чистые награфленные листы. Даже во время войны, когда писали на старых газетах, требования на уроках чистописания не снижались.

Последовательность в сочетании с постепенным нарастанием сложности, как мне думается, самое главное в методике воспитания и обучения. Творческое отношение к учебе можно легко погасить. Для этого достаточно слегка лишь нарушить эту последовательность, либо сократить учебное время, то есть усилить интеллектуальную нагрузку. Всего же быстрей можно это сделать введением в программу каких-нибудь злополучных «рядов», которые непонятны даже родителям. Тогда-то уж ребенку наверняка не захочется в школу...

* * *

А как обстоят дела с детским садиком? Не формируется ли отрицательное отношение к учебе уже там, то есть в трех- четырехлетнем возрасте?

Боюсь, что это именно так и есть. Формализм и рационалистические методы не чужды уже и дошкольному воспи-

танию. Однажды я купил в вологодском «Детском мире» игрушечный набор. В упаковке оказалась и инструкция, утвержденная художественно-технической комиссией при Ленинградском горотделе народного образования. Этот шедевр кибернетического мышления стоит привести здесь полностью:

Руководство

к использованию набора

«Курочка ряба»

Набор рассчитан на детей младшей группы детского сада

В набор входят:

Фигурки — персонажи сказки:
Баба
Курочка ряба
Мышка
Бутафория:
столик, яичко
Декорации: печь.

Правила пользования

Данный набор вносится лишь после того, как дети хорошо усвоят содержание сказки.

Вначале воспитатель дает детям рассмотреть фигурки, а затем рассказывает сказку, сопровождая ее показом фигур.

В дальнейшем воспитатель привлекает к показу сказки детей.

Участие детей может выразиться в коротких репликах и добавлениях, логически связанных с ходом изображаемого действия.

Ход действия

Устанавливается столик. Около стола с одной стороны ставится фигурка деда, а с другой стороны — фигурка бабки. Перед столом ставится фигурка курочки.

Фон задней стены — печь.

При словах: «Снесла курочка яичко» на стол надо положить яичко.

При словах: «Мышка бежала, хвостиком задела» — подставкой мышки сбросьте яичко со столика.

Игры с настольным театром способствуют приобретению у детей умения последовательно и выразительно передавать содержание сказки, активизируют застенчивых и молчаливых детей.

Руководство это, набранное шестью видами типографских шрифтов по всем правилам печатного дела, было разверстано на трех страницах и отпечатано десятитысячным тиражом.

Такой удивительно неожиданной оказалась забота об активизации «застенчивых и молчаливых» детей.

Между прочим, для сказки-то было отпущено всего шесть или семь строчек. Вот они:

«Жили-были дед да баба, и была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, не простое — золотое. Дед бил, бил — не разбил. Баба била, била — не разбила. Мышка бежала, хвостиком задела — яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет:

— Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам яичко другое, не золотое — простое!»

Почему-то воспитатели «застенчивых и молчаливых» начисто перекорежили народную сказку. Сократили ее до неузнаваемости, а самое главное — лишили всякого смысла. И вышло так, что золотое яичко разбилось вдребезги, а курица снесла обычное простое яйцо. И все это никакая не сказка, а самая настоящая быль.

1984

НЕМНОГО О СКАЗКЕ

(Ответ на вопросы газеты «Пионерская правда»)

Первые в жизни сказки я услышал от бабушки Александры Фоминишны. Помню, как один из моих прадедов Михайло Григорьевич Коклюшкин рассказывал про тетерева и лису. Мне было тогда года три или три с половиной. Звучало это примерно так: «Сидит на березе Тетерев, вдруг бежит Лиса. Остановилась и говорит: «Тетерев, Тетерев, я в городе была!» — «Бу-бу-бу, бу-бу, была так и была»,— отвечает Тетерев. «Указ добыла,— добавила Лиса.— Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а гулять бы по зеленым лугам».— «Бу-бу-бу, бу-бу, гулять так и гулять»,— согласился Тетерев. Только хотел слететь на лужок, а Лиса услышала конский топ. И говорит: «Погляди-ко, кто это там едет?» Тетерев поглядел: «Бу-бу-бу, бу-бу, лошадка бежит».— «А на лошадке кто?» — «Мужик».— «А что у него за плечами?»— «Палка».— «А за лошадкой бежит ли кто?» — «Жеребенок».— «А какой у него хвост?» — «Бу-бу-

бу, бу-бу, хвост крючком».— «Ну, прощай, Тетерев, мне дома недосуг!» — сказала Лиса и убежала». О том, что подъехавший охотник убил тетерева, дедушка мне не рассказывал. Я узнал про такой конец сказки, будучи уже взрослым... Еще я с удивлением узнал, что сказки индейцев, например, или африканских негров удивительно похожи на наши, русские. Оказалось, что сходны у разных народов не только сюжеты сказок, сходны и основные представления о нравственности. Совершенно одинакова у разных народов взаимосвязь труда и фольклора. Я убедился в этом, когда работал над книгой «Лад». Я был просто поражен этим сходством, когда прочитал в журнале «Курьер» о жизни и традициях африканских негров. Негритянская община Чада или Кении по своей внутренней сути ничем не отличается от общины русских крестьян, хотя быт, язык и обычаи такие разные, так не похожи они друг на друга...

Мне кажется, что в раннем детстве, вернее, во младенчестве у всех детей мира явь и сон неразрывны. Может быть, как раз такое счастливое состояние и запоминается человеку больше всего, и он хранит это поэтическое ощущение до того времени, пока не научится писать и читать. К сожалению, фантазия и поэзия чаще всего улетают, когда человек пытается выразить их на бумаге. Иными словами, отнюдь не каждый человек может стать писателем, поэтом, сказителем. Но сказки детства ни для кого не проходят бесследно. Они пробуждают душу, задают тон и включают человека в жизненный ритм. Слово не бранное, поэтичное всегда ритмично, и этот ритм сливается с ритмом Вселенной... Помимо ритма родная речь обладает еще множеством других удивительных свойств. И очень жаль, что нынешние ребята знакомятся с нею больше по книгам, кино и радиотелепередачам — иными словами, из вторых, если не из третьих рук. При таком знакомстве страдает прежде всего поэтическая фантазия, притупляется способность словотворчества. Ведь не задашь вопрос телевизору, не будешь у него спрашивать, почему лиса убежала, когда узнала, что у жеребеночка хвост крючком. К тому же человек рождается еще и для того, чтобы говорить самому, а не только слушать.

Позднее, если у человека есть талант, человек, конечно, избавится от подражания и заговорит своим, только одним своим голосом. Но как же это непросто! Как трудно заговорить своим голосом, если ты только слушаешь (общение с

телевизором), а не говоришь сам; как нелегко сплясать или спеть самому, если только смотришь, как пляшут или танцуют на сцене, а сам сидишь в зале без движения. Отраженное солнце светит, но не согревает. Я хорошо запомнил разницу между сказками, которые рассказывала мать и бабушка, и сказками, которые читались в детском саду по книге. Бабушку можно было в любое время остановить и что-то спросить, даже добавить, в садике этого делать нельзя. Бабушка одну и ту же сказку рассказывала каждый раз по-разному, а одна и та же сказка из книги звучала всегда одинаково.

Разумеется, я вовсе не за то, чтобы меньше читать. Наоборот, читать надо еще больше... Но родная речь звучит не только в одних книгах или по радио. Познать ее по-настоящему невозможно без общения с живыми окружающими нас людьми, а для такого общения необходимо не только умение слушать, но и умение говорить самому...

Жажда поэзии, наверное, никогда не исчезнет. Но утоляют эту жажду очень по-разному. Можно, конечно, сочинять свои собственные сказки, не подозревая о смысле и даже о существовании, например, «Колобка» или «Лисички со скалочкой». То есть изобретать велосипед. Лучше ли выдумывать тот же велосипед, чем не выдумывать ничего? Не знаю... Внешняя простота и незамысловатость народной сказки очень соблазнительны. Многим кажется, что сочинить такую сказку (и даже лучше) не так уж и трудно. Очень все это обманчиво! «Новизна и неожиданность» таких сказок рано или поздно оборачиваются банальностью, а народные сказки как были, так и остаются прекрасными. Творческое постижение уже созданных народом сказок требует не меньше, а может быть, больше таланта, чем выдумывание своих. Но я вовсе не за то, чтобы дети не сочиняли. Ведь одно другому не мешает в таком возрасте.

Сказка, наверное, стучится не в сердце, а из сердца... Только в этом случае она может быть действительно сказкой, а не сочинением на вольную тему. А если это так, то каким же большим и богатым должно быть сердце сказочника!

1983

ГРИМАСЫ РАЗВЯЗНОГО ВКУСА

Однажды в коктебельском парке меня остановили две очаровательные девочки дошкольного возраста. «Дяденька, — заговорила одна,— хотите съесть две жареных мухи и одного таракана?» Я ничего не сумел ответить. Чуть позже в Москве с тем же чувством недоумения я стоял около станции метро «Пушкинская», где были выставлены новейшие образцы мягких игрушек. За стеклом громоздилась то ли муха с мушонком, то ли какой-то таракан. Осьминоги и прочие чудовища дополняли компанию. Вся эта продукция была создана неким «дизайнером» (не буду называть фамилии) из НИИТЭ. Название института заканчивается словом «эстетика». Мне удалось выяснить это с помощью других зрителей, которые тоже недоумевали. Некоторые из них возмущались, другие просто молчали, видимо, из боязни прослыть отсталыми. Ведь идет семьдесят девятый год двадцатого столетия. А вдруг не угадаешь в ногу со временем? Мне же в этот момент вспомнилось, что 1979 год — это международный год ребенка. Вспомнилась семилетняя дочка, бегущая поутру к телевизору. (Впрочем, как миллионы других детей, она и по вечерам отнюдь не брезгует этим занятием.)

Но что же предлагает подчас телевидение нашим детям?

Чтобы ответить на этот вопрос, опять же надо возвращаться вспять, то есть использовать это пресловутое «ретро». Рискнем. Включим телевизор в 9 ч. 30 мин. четвертого ноября минувшего года. Идет передача «Будильник», слышен сплошной оглушающий хохот. Но почему же не смеется моя дочка? Или она совсем лишена чувства юмора? Начинаю смотреть сам. Актеры в нелепых облачениях, изображающие Карлсона, Врунгеля и Мюнхгаузена, кривляясь, беспрестанно толкают друг друга в бассейн с водой. Смешно? Не смешно, а грустно.

Тот же «Будильник» 10 ноября был заполнен двусмысленными и порой циничными шуточками. Актер в джинсах, изображающий кота, кривляется и мяукает перед зеркалом, а рядом с зеркалом висит почему-то... портрет А. С. Пушкина.

В передаче «Карусель» 8 ноября показывают мульт-

фильмы. На экране то какие-то странные амебы с хвостиками («светлячки»), то вдруг появляется... крыса.

Страная эстетика! До сих пор и у всех народов в детские сны являются лошадки, добрые мишки, мурлыкающие кисаны, а не безобразные осьминоги. Наверное, ни одному и взрослому нормальному человеку (если он не заклинатель) не захочется приласкать, например, змею, погладить крысу или крокодила. Между тем крысы не только свободно разгуливают по телеэкранам и пластинкам. Они еще названы для рифмы в стихах именами Анфиса, Лариса, Раиса, как это сделано в мультфильме.

Впрочем, «поэзия», адресованная детям, не ограничивается, так сказать, чистой эстетикой. Г. Остер, например («Колобок», 77, № 1), опубликовал такие стихи: «Если ты остался дома без родителей один, предложить тебе могу я интересную игру...» Что же это за игра? А вот что: «...нужно в папины ботинки вылить мамины духи, а потом ботинки эти смазать кремом для бритья и, полив их рыбным жиром с черной тушью пополам, бросить в суп, который мама приготовила...» и т. д. Меня могут обвинить в излишней серьезности, что я не понимаю шуток и т. д. Но ведь шутки взрослых вовсе не всегда годятся детям, и автор «стихов» в «Колобке», издаваемом бог знает каким тиражом, наверняка это знает.

Вглядываясь во все, что касается наших детей, что прямо или косвенно формирует детские души и влияет на детскую психику, спокойно относиться ко всему этому было бы преступно и безответственно. А кто, наконец, поставит заслон халтуре и циничному вкусу в нашем кинематографе? Ведь миллионы подростков уже и до 16 лет смотрят в кино пикантные сценки и с поцелуями, жаркими объятиями в постели и пр. пр. Некоторые режиссеры в этом смысле уже давно обскакали растленный Запад... Остальные, видимо опять же из боязни прослыть ретроградами, стараются не отставать. Стало уже чуть ли не нормой показывать в кино обнаженное тело. Без элементов стриптиза и режиссер словно не режиссер[1].

Дальше — больше. Театр тоже не стыдится нынче подобных приемчиков, а провинциальные режиссеры здесь явно подражают столичным. На одном из спектаклей Вологодского драмтеатра героиня, предлагая себя возлюблен-

[1] «Поэтичная» женщина в к/ф «Красные колокола», не стыдясь телезрителей, говорит Дж. Риду, что она только об одном и думает, как бы поскорее забраться с ним в постель.

ному, раздевается догола. С передних рядов видна гусиная, посиневшая от холода, кожа актрисы. Другой, очень уважаемый мною и широко известный московский актер, будучи режиссером и педагогом, от модернистского зуда совсем потерял голову. В одном из спектаклей его студии молодые актеры изображали в подробностях такое, что вообще не стоило изображать, и зритель просто не знал, что делать, как реагировать. Большинство, впрочем, принимает театральную порнографию как должное. Принимает на всякий случай, а вдруг это и есть то самое передовое искусство?

Можно бесконечно долго перечислять гримасы развязного, а иногда и циничного вкуса, культивируемого в театре, в кино и телевидении. Тенденция, как можно судить по вышеприведенным примерам, уже сложилась. Она жадно ищет себе признания в общественном мнении. Наше молчание лишь поощряет ее, поэтому я и решил сказать обо всем этом публично. Уверен, что со мной согласятся все здравомыслящие читатели.

1979

ЧИТАЯ ПИСЬМА...

Одного французского философа спросили, при каких обстоятельствах может наступить конец мира. Интересно, что он не назвал ни демографического «взрыва», ни атомной катастрофы, которые, по мнению многих ученых, в первую очередь грозят человечеству. Он утверждает, что цивилизация погибнет, если мужчины станут похожими на женщин, а женщины на мужчин...

Не будем гадать, насколько прав этот философ. Но что происходит, когда мужчины и женщины и впрямь как бы заимствуют друг у друга некоторые предопределенные самой природой особенности и свойства?

Представим себе такую картину: две юных и симпатичных девушки, встретившись на центральной площади города, остановившись, сильно, по-мужски, жмут друг дружке руки. Да еще с возгласами и тычками. А что бы вы поду-

мали при виде офицера Генерального штаба, который идет по Москве и на ходу уплетает мороженое? Не знаю, кому как, а мне кажется, что лучше бы все было наоборот. Еще А. С. Пушкин писал:

Не дай мне бог узнать на бале,
Иль при разъезде на крыльце
Семинариста в желтой шале,
Иль академика в чепце.

В наше время женщина в звании академика совсем не редкость. Скажут: «Но, живя в наше время, Пушкин так не написал бы, у него наверняка бы хватило для этого такта». Может быть, А что бы сказал великий поэт, если б узнал, что в США, например, существует солидное женское общество, в котором всерьез без всякого юмора обсуждаются возможности искусственного размножения людей?

На мой взгляд, многие мужчины, говоря о семье, рассуждают по меньшей мере прямолинейно. И не зря так активно ополчаются на них авторы противоположного пола. Учительница Ф. И. К., обвиняя одного из читателей газеты в барстве и эгоизме, возмущенно спрашивает: «Не слишком ли уютно вы устроились за «могучей» спиной своей жены?» (В письме Владимира К. говорилось, в частности, что плохая это жена, если она не умеет солить суп.)

Еще более категорична другая читательница из Вологды: «Если б я была вашей женой и узнала, что вы женились на мне по расчету, я насолила бы вам суп напоследок и ушла бы от вас с сыном не оглядываясь».

Вот так, ни больше ни меньше! Ничего, кроме мужского эгоизма, не замечает в письме Владимира и двадцатилетняя Надя К. из Грязовца. И только одна из корреспонденток, пожелавшая остаться неизвестной, пишет, что ей «...близка и понятна позиция Владимира К».

Кто же прав?

По-видимому, ни тот, ни другой, ни третий...

Во фразе Владимира К. («Всегда с удивлением прислушиваюсь к разговорам о любви»), как мне показалось, чувствуется тревога по поводу девальвации слова *любовь*. В самом деле, ведь о любви, если она есть, люди обычно не говорят. Не только публично, но даже и между собой. Слишком святое и интимное это чувство! О любви толкуют больше те, кто покамест по своей незрелости или духовной никчемности не способен на это прекрасное чувство. Жела-

ние любви еще не означает способности. Глубоко убежден, что настоящая любовь посещает только хороших людей. Да и то не каждого. У людей же мелочных, эгоистичных, нравственно невысоких и любовь точно такая же. То есть мелочная, эгоистичная и нравственно невысокая. Причем, как мне думается, тут не должно быть скидки на молодость или неопытность: нравственные начала проявляются в человеке очень рано. Должны, по крайней мере. Но вот во время диспута девушка-десятиклассница вполне серьезно пишет записку: «Скажите, можно ли полюбить сразу двоих?» И это уже в возрасте близком к возрасту Татьяны Лариной.

Владимир К. пишет: «Когда у человека голова занята проблемами, мыслям о любви нет места». Что это? Если это сказано в запальчивости (против безудержной говорильни о самом сокровенном), автора письма еще можно как-то понять. Но если он действительно так и думает, то с ним никак нельзя согласиться. Разве увлеченность, занятость каким-то делом противоречат интимному чувству? Но мне кажется, что автор здесь чуточку хитрит и вовсе не думает, что никакой любви в мире не существует. «Наташа моя умный человек»,— со сдержанной гордостью замечает он. И далее: «Мы с женой прекрасно понимаем, что Дом — это не поле брани...» Согласитесь, что черствый не любящий человек так не скажет. А студентки Вологодского молочного института (3-й курс) пропускают эти слова мимо ушей и заявляют: «По нашему мнению, даже жена у него не друг, а всего лишь домохозяйка».

Тут как раз хорошо бы послушать саму Наташу. Но девушки из ВМИ уже все за нее решили, зачислив ее в страдалицы. Милые девушки, что же плохого в том, что Наташа умеет хорошо готовить, создавать в доме уют, заботиться о муже и сыне? С каких пор подобные женские свойства стали считаться дурными? Вы, вероятно, считаете занятие домашним хозяйством оскорбительным для себя и видите в нем только обузу. А если Наташа, жена Владимира, готовит обед для мужа и сына и для себя, наверное не по обязанности, а с удовольствием, сознавая свою необходимость для них? Не знаю, что думает по этому поводу сама Наташа, но убежден, что таких женщин большинство. И в этом ничего нет плохого.

Мы как-то забываем, что рождение и воспитание детей — это та же работа, та же, причем не менее важная, общественная деятельность. Ни один, даже самый хороший

отец не сможет заменить в семье мать, как не могут полностью заменить семью ясли, садик и школа. Разумеется, я вовсе не призываю женщин поголовно бросать работу. Но игнорировать семью и так называемое домашнее хозяйство не следует, вероятно, не только в общественном, но и в личном, так сказать интимном — любовном смысле.

Владимир К. с неоправданной мужской бравадой, и может быть, не без тайного юмора пишет: «Никогда бы не женился на девушке с оригинальным характером, красавице, но не умеющей как следует посолить суп».

Позвольте, Владимир, усомниться в искренности такого радикального заявления. Если же вы действительно так думаете, то ничего не останется, кроме как присоединиться к мнению девушек из ВМИ. Такое заявление, если оно искренне, звучит оскорбительно. И не только для женщин. Ведь ни для кого не секрет, что в доме (вы пишете это слово с большой буквы) намного больше «женских» обязанностей, что без мужской помощи женщине в хозяйстве не обойтись. Так было всегда и, видимо, будет еще долго. И тут уж все дело в благородстве мужчины, в его человеческих свойствах. А мы почему-то очень часто противопоставляем мужчин женщинам. И наоборот, женщин мужчинам. «Брак больше нужен женщине, чем мужчине,— говорит Светлана Ш.— Прежде всего, для удовлетворения чувства материнства, да и одиночество тяжелейшим образом сказывается на женщине».

Вот те раз! А мы-то до сих пор думали, что брак нужен в одинаковой мере как мужчинам, так и женщинам. Уважаемая Светлана, а разве чувство отцовства для нормального мужчины не так же естественно, как и чувство материнства для нормальной женщины? А почему это вдруг одиночество совсем перестало действовать и на мужчин?

«С современными мужчинами, особенно молодыми, трудно,— пишет учительница из Вологды.— Они почти полностью лишены самостоятельности и чувства ответственности. С ними приходится бесконечно нянчиться, щадить их слабости, подсказывать, жалеть, уговаривать...» К сожалению, эта характеристика отнюдь не лишена меткости и справедливости. Но ведь с таким же успехом, но уже от имени мужчин, можно заявить: «С современными женщинами, особенно с молодыми, трудно. Они почти полностью лишены очарования беспомощности, женственности. С ними приходится бесконечно бороться либо уговаривать и гово-

рить не то, что думаешь». Но много ли будет толку от такого противопоставления?

Сплошь да рядом только и слышно от женщин: «Мужчины все одинаковы». Или от мужчин: «Женщины, чего от них ждать?»

Как видим, не очень-то это оригинально. Логика таких заявлений весьма примитивна. Она освобождает нас от ответственности за личные свои поступки, приучает видеть опасности вовсе не там, откуда они грозят. С такой логикой мы обычно и одинаково оцениваем все любовные и семейные ситуации, которые никогда не были и, к счастью, не будут одинаковыми или серийными.

А если так, то какой смысл в рецептах? У всех все поразному. Только один рецепт может быть общим для всех: стремиться быть человеком...

1974

НЕОБХОДИМОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

Читатель судит о журналистах и писателях по публикациям, и правильно делает. А по чему же еще ему судить? Есть, конечно, и такая разновидность читателя, которая судит о писателе по журнальной критике. Хочется думать, что большинство читателей надеется в этом деле на собственное восприятие рассказа или стихотворения, поэмы или повести, что лишь немногие рассчитывают на посредничество. Я включаю в категорию независимых читателей и самих критиков, поскольку они тоже читатели, причем самые внимательные и дотошные. Читателей, которые судят о писателях лишь по портретам и по слухам, не стоит, вероятно, упоминать совсем.

С такого длинного вступления мне и хочется начать свои, может быть субъективные, заметки о взаимоотношениях автора с критиком и издателем.

Читателю, конечно, нет дела до всего этого. Подавай ему хорошую книгу, и баста. Но всегда ли виноват автор?

Я убежден, что почти всегда... Бывают, однако, и другие случаи, — о них-то и хочется сегодня поговорить, и я начну с самого на первый взгляд безобидного — с опечаток. Как ни странно, но автор подчас зависит даже от машинистки. Вот, перепечатывая рукопись, машинистка сделала логическую опечатку. Автор, привыкший к своей рукописи, читающий ее по многу раз, в корректуре не всегда замечает опечатку, и несуразица, нелепость умножается вначале на число тиража, затем это многотысячное число умножается еще и на число читателей...

Скажут: читай внимательней корректуру. И будут правы. Но вот в чем беда. Иногда даже корректоры считают своим долгом править нашего брата. В одном из моих рассказов во фразе прямой речи говорится: «Ой, ты дурак сивой!» Звуковой северный диалектизм «сивой» непонятен корректору, и она, видимо, желая автору добра, переделывает *сивого* в *свиной*. В повести «Привычное дело» есть такая фраза: «Дети рождались здоровые, как гудочки». То есть звонкие, ядреные, голосистые — всего и не объяснишь... Корректору это выражение показалось неправильным, и *гудочки* переправили на *булочки*. Во втором издании той же повести в пословице «семеро ребят барина съедят» *барина* ничтоже сумнящеся переделали в *барана*[1]. Корректор, знакомая, вероятно, с московскими шашлычными, хотела сказать как лучше, но я-то схватился за голову: как глядеть в глаза читателю? Баран вместо барина вышел шестидесятитысячным тиражом. Ладно, читатель, он, может, еще и простит. А вот на великодушие критиков рассчитывать очень трудно. Использовала же критик М. Чудакова обычную опечатку в своих критических целях. («Заметки о языке современной прозы», «Новый мир», 1972, № 1) «А крестником моим был Юрий Казаков»,— цитирует она и затем, с ехидством, достойным лучшего применения, торжествует победу над автором: «...смущенный читатель недоумевает и догадывается, что «старинное» словечко, подхваченное на лету, употреблено всуе, что, конечно же, не «крестником» Лихоносова был много раньше вошедший в литературу Казаков, а крестным отцом».

Обвиняя Лихоносова в орнаментализме, М. Чудакова словно обрадовалась опечатке и тому, что Лихоносов якобы не знает даже названий родственных степеней.

---

[1] То же произошло и со словом *аффект* в рассказе «Дневник нарколога». Не потрудившись заглянуть в словарь, корректор, а может, и редактор переделали его на *эффект*.

Вообще, в этом смысле, между иными критиками и издателями существует странный, по-видимому неосознанный альянс: редакторы порой вычеркивают из рукописи абзацы и целые главы, а критики бранят автора за композиционные просчеты и прочие не зависящие от него грехи. Более того, от одного маленького критического выступления в печати или на совещании нередко зависит издание и всей книги. В издательстве могут в любую минуту сослаться на это публичное выступление или крохотную критическую заметку, игнорируя целые подвалы самых доброжелательных, иногда даже излишне восторженных отзывов о том же самом авторе. Особенно падки на такие дела в местных, не столичных издательствах. Достаточно слегка обмолвиться какому-нибудь столичному критику в печати (пусть даже и мимоходом) — все, местному, а особенно молодому, начинающему, путь к изданию книжки закрыт если не навсегда, то очень надолго. Впрочем, вовсе не обязательно ждать столичных выступлений. Мне, к примеру, в Северо-Западном издательстве не однажды делали от ворот поворот. Но стоило опубликовать рукопись в Москве, редакторы в Архангельске тут же охотно предлагали издать книгу, делая вид, что ничего не произошло[1].

Ссылаюсь на себя вовсе не из личных побуждений, а из боязни за тех, кто только начинает, у кого литературная судьба действительно зависит от тех же архангельских редакторов. Но что говорить о молодых, начинающих, если и широко известная Ольга Фокина удостоилась настоящего внимания архангельского издательства только спустя много времени, после того как ее активно начали хвалить и печатать в Москве.

Причем в издательстве выработалась, мягко говоря, странная практика. Если редакторы не хотят издать книгу, они апеллируют тоже к Москве, посылая рукопись на рецензию в Комитет по печати. Комитет же квалифицированными рецензентами располагает отнюдь не всегда. Да уже и в самой апелляции заключена некоторая заданность: послали, значит, надо остановить, раскритиковать... И вот рецензент Комитета В. Федотов не оставляет камня на камне от стихотворного сборника Николая Рубцова, рекомендованного Северо-Западному издательству Вологодской писательской организацией. Надо ли объяснять, что издатель-

---

[1] Были такие случаи со многими вологодскими литераторами. Особенно трудно пришлось покойному Николаю Михайловичу Рубцову.

ство не посылает на московское рецензирование те рукописи, которые действительно хочет издать? Причем далеко не всегда полноценные в художественном смысле. Я уж не говорю о том, что нередко игнорируются элементарные, моральные и материальные авторские права.

Впрочем, некоторые и столичные редакторы не отличаются в отношениях с авторами особой щепетильностью. Фамильярность и панибратство в общении с редактором, которых многие так жаждут, оборачивается для серьезного писателя подлинным бичом. Пользуясь личным знакомством с автором, иной редактор может продержать твою рукопись в столе столько, сколько ему заблагорассудится, может не отвечать на деловые письма, не заметить типографского ляпсуса и т. д. и т. п. Наконец, уже совсем никуда не годится то, что многие редакторы считают вполне возможной правку без ведома автора. Это прямое нарушение закона об авторском праве. Не раз и не два я был поставлен перед свершившимся фактом: публикации правились и сокращались без моего ведома. Я мог бы привести множество примеров, назвать фамилии, но пусть уж читатель поверит мне на слово... Дело не в фамилиях, дело в опасной тенденции.

Как видит читатель, хорошая книга не всегда зависит от мастерства и таланта писателя, хотя последнее обстоятельство, разумеется, главное. Добросовестный редактор и благожелательный критик решают подчас судьбу не только книги, но и вообще ту или иную писательскую, человеческую судьбу.

1973

СЮЖЕТЫ

Литература, как я ее понимаю, особенно новеллистика и драматургия не могут существовать без сюжетов. Нерусское это слово объясняется в одном из словарей, как основное содержание литературного произведения. Но сюжет живет и здравствует не в одной только литературе. В устном народном творчестве, особенно в таком его жанре, как разговор, он, этот самый сюжет, так же необходим. Разго-

вор бессюжетный считался в народе неинтересным, он тотчас терял свою внутреннюю энергию, слова становились пресными, приобретая чисто формальный смысл. Умные собеседники, чувствующие красоту общения и слова, тотчас хватались за рукавицы. У других же разговор продолжался, выливаясь в обычный «треп», как теперь говорят.

Душа, особенно женская, просит поэзии, творческие силы проявляются в форме приукрашивания действительного хода событий. Та или иная новость с помощью творческой фантазии собеседников приобретает новые, несвойственные ей качества, маленькая невинная добавка делает рассказ динамичным. Чаще всего все это происходит незаметно для самих участников разговора. Из таких добавок складывалась новая сюжетная интерпретация того или иного вполне банального события. Таким образом, размышляя о разговорном сюжете, вполне резонно говорить о его близком родстве с мифотворчеством. Но реальная действительность и сама всегда была весьма богата сюжетами. Далеко не во всех случаях требовалась особая фантазия и способность беседующих к сюжетному построению. Чаще всего это жизненное, действительное множество сюжетов давала бытовая, а не производственная среда. Самые увлекательные и ценимые народом сюжеты касались более всего любовных, а также семейных и родственных отношений.

Поражает излишняя экономность нашей литературы в использовании сюжетных богатств. Лишь крохотную долю реально существовавших сюжетов взяла из народной жизни классическая литература... Период, обозримый моей личной памятью и памятью близких мне людей, ограничен примерно началом первой четверти века. Но я ощущаю сейчас, что даже такой литературный гигант, как Лев Толстой, коснулся лишь нескольких социально-бытовых сюжетов, сотнями существовавших тогда в народе. Так же можно сказать и о Бунине, и о Чехове. Горький и Короленко в этом, то есть сюжетном, смысле несколько шире. Но шире отнюдь не намного. Больше того, кажется, как раз в первой четверти века родилась и широко распространилась мода на литературную бессюжетность. Многие писатели делали упор на интонационное самовыражение. В рассказе, как и в пьесе, сюжет все более вытеснялся настроением. Музыкальность и стилевое единство ценились иногда больше, чем композиционное построение, действие и сюжет.

Стоит ли спорить, что было лучше для русской литературы? Наверное, не стоит, так как для нас дорого и то, и

другое. И все-таки лучшие пьесы, рассказы или новеллы как раз те, в коих есть и то, и другое. Но моя читательская горечь от неиспользования народных сюжетов удваивается, когда я читаю рассказ с явно придуманным, искусственным либо второстепенным сюжетом. Не буду приводить примеры из Чехова, Горького и Короленко, чтобы не разжигать страсти среди литературоведов и школьных преподавателей.

Сюжетное богатство народной жизни периода гражданской войны, на мой взгляд, использовано нашей литературой тоже не очень-то по-хозяйски. Это особенно хорошо видно через посредство кино,— ведь почти все литературные произведения об этом периоде экранизированы. Одни и те же либо в разной мере сходные конфликты, ситуации, положения, темы, переходят из картины в картину, от чего быстро превращаются в штампы. (И вновь, по той же причине, не хочется упоминать определенные кинокартины.)

С тем, что повторенный сюжет еще не превращает произведение в штамп, вероятно, никто спорить не будет. И все-таки подобное повторение, как и любое другое, опасно как в искусстве, так и в литературе. Особенно для начинающего или среднего таланта. Лишь гениальные писатели создают оригинальные произведения на один и тот же сюжет. (Вспомним хотя бы И. А. Крылова или Пушкина с его «Дон-Жуаном».) Получается, что сюжетная новизна, необязательная для гениев, обязательна для посредственных и средних писателей... Даже заимствование литературных сюжетов художником-живописцем слегка его обедняет. Это в разножанровых видах творчества. А заимствование сюжета внутри литературного жанра и вовсе не делает чести творческой личности. (Легким отношением к подобным проблемам вполне можно объяснить и плагиат, то бишь литературное воровство.)

Известно каждому школьнику, что А. С. Пушкин *отдал* сюжет «Мертвых душ» Н. В. Гоголю, поскольку сам по каким-то причинам не мог его использовать. Многие писатели и помельче делились друг с другом сюжетами, но именно *делились,* а не использовали их втайне. Человеческая порядочность в таком деле, видимо, прямо пропорциональна художественным способностям, но чем меньше способности, тем бессознательней воровство. Графоману кажется, что он не ворует, а сочиняет сам.

Бессознательным плагиатом занимаются, видимо, не одни графоманы, но и подлинные писатели. Но все услы-

шанное или прочитанное не проходит для писателя бесследно. Все запоминается и складывается куда-то в голове и в сердце. Когда, как, в какой мере, где, в каком контексте будет использована та или иная услышанная от других деталь, фраза, интонация? Писатель не знает. Да беда-то в том, что должен знать. Чем способней писатель, тем меньше он пользуется готовыми, услышанными от своих коллег образами, деталями, интонациями. Все услышанное и прочитанное начисто переплавливается в его душевном тигле, даже сюжеты, не говоря уж о словосочетаниях и прилагательных. Женщину в комиссарской кожанке среди анархистов-матросов можно написать только однажды, повторение ее у другого писателя не пойдет ей на пользу. Нельзя бесконечное число раз описывать и показывать на экране один тип, он превращается в стереотип от одного (всего одного!) повторения. На мой взгляд, именно это и случилось с каким-нибудь матросиком-анархистом или с прижимистым деревенским бородачом в жилетке и в рубахе горошком...

* * *

«Главная мысль» — говорится про сюжет в словаре иностранных слов, изданном в середине прошлого века.

Так по-разному, но всегда неопределенно поясняется это слово в разных местах. В самой-то жизни сюжеты всегда определенны и, кажется, никогда не повторяются. Там-то они постоянно новые... Ю. Квасов, журналист из города Соликамска, прислал мне несколько превосходных сюжетов. Вот дословно одна из страниц его письма: «Рассказывал дед, как до революции ехали всей семьей в Сибирь. В Зауралье пришлось ночевать в одном доме. Кроме хозяина в избе никого не было. Он всех ночлежников поместил на полатях. Сам достал нож, добавил в лампе огня и стал точить. На полатях оробели. Заснем, мол, а он всех порежет. И пока хозяин точил нож, никто не мог уснуть. Точил он долго и упорно. И только в час ночи он побрился, обрезал себе ногти на руках и ногах, задул лампу и лег спать. Вроде и успокоились, но взрослые не уснули до утра. А утром хозяин принес моченую бруснику, но есть не стали — посчитали за волчью ягоду».

Да, это был сюжет, в его чистом виде. Мой корреспондент не ошибся. Другие его сюжеты нисколько не уступали этому. Но я вновь задаю себе вопрос: «Так что же такое сюжет?» Ведь десять приведенных здесь строчек легко

можно расширить до десяти страниц. Получится рассказ. А не ленивый и достаточно опытный писатель накатает и все двадцать пять страниц, печатный лист с хвостиком. Так что же для меня-читателя будет лучше, двадцать пять страниц писателя или десять строчек Ю. Квасова? Тут надо думать и думать...

Примерно в то же время я работал над книгой очерков «Лад». В одном из его разделов есть главка о мужиках — копателях колодцев. Выкопав колодец, который оказался сухим, они тайно, не получив расчет, ушли из деревни. Было очень заманчиво снабдить сюжетом каждую главку хотя бы одного этого раздела. В сюжетах о плотниках, лодочниках, торговцах, нищих, пчеловодах, мельниках и т. д. нужды у меня не было. Но почему-то мне пришлось от них отказаться.

По-видимому, жанровая принадлежность задуманной книги диктует автору и способы распорядиться сюжетами. Письмо из Соликамска заканчивалось так: «Да и вообще, Василий Иванович, от любого сюжета у любого писателя появляются свои мысли».

Что верно, то верно. Мой земляк Иван Афанасьевич Неуступов (ныне покойный) рассказывал мне, как до революции пороли одного мужика за пьянство. Начальство приехало. Собрали сельский сход. Решили: «Дать ему пятнадцать горячих!» Староста принес виц — ивовых прутьев. Мужика в земскую избу на скамью. «Я тебя хлестну, — староста говорит, — а хлестну-то не шибко. А ты шибче кричи». Так и сделали. Крик слышали даже на улице. Пристав заходит в избу: «Хватит, хватит ему! Довольно». Только после этого рассказа мне стали понятны слова гениального автора «Мертвых душ»: «Вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки». Рисунок художника Лаптева, изображающий эту сцену, просто великолепен. Представим теперь, как по-разному написали бы на сюжет Ивана Афанасьевича такие, например, писатели, как А. Иванов и В. Распутин, оба, кстати, сибиряки.

Но, может быть, существуют в жизни сюжеты, различным толкованиям неподвластные?

В той же книге очерков я упоминал о рукописи пословиц, написанной еще при живом Пушкине. Рукопись, оказывается, побывала в руках одного известного московского писателя. Но, видимо, не заинтересовала его. Хозяйка ее Зинаида Ивановна Казакова сообщила:

«Тетрадь найдена в доме д. Савинской, Тигинской волости Вожегодского района Фокиной Евдокии Александровны, вдовы после русско-японской войны. Евдокия Александровна рассказала мне, а ей поведала эту историю бабушка свекрови. У мужа Евдокии Александровны был прапрадядя Рокин. Он служил в Питере двадцать пять лет, был денщиком у генерала. Отслужился, пришел в Тигину. Земли нет, семьей не обзавелся. А муж и деверь Евдокии Александровны говорили свысока, были «фартовые», видно уж порода такая. Ну и солдат такой. Генеральша его полюбила. После смерти генерала приехала в Тигину. А солдат уже похоронен. Стала она жить у одних хозяев. Развела кошек. Однажды кошка напачкала в сеяльницу. Вызвали священника Измайлова — фамилия Измайловых возглавляла Никольскую церковь триста лет. Он молебен с водосвятием отслужил, отругал хозяев, что летом, мол, надо работать, а не водосвятие делать. Генеральшу велел прогнать. И повезли ее на телеге в г. Кириллов. Тетрадка от генерала осталась. Евдокия Александровна говорила мне: «Возьми, к вам много хороших людей ездит, может быть, кто и прихитит, а потом и к делу притулит». Через год тетрадь мне передала ее дочь, моя сверстница. Я очень рада, что желание Евдокии Александровны исполнилось — тетрадь прихичена и притулена к делу. Я старая, мне восемьдесят один год, и полуслепая, уж извините такое многословие. А будете в Москве, заезжайте ко мне на 16-ю Парковую...»

Зинаида Ивановна извинялась за многословие... Между тем в свои восемьдесят с лишним лет она сумела на одной странице рассказать интересную историю генеральской рукописи. Уверен, что ей помогло в этом чувство сюжета. Ясно, что если б известный писатель заинтересовался этой историей, он рассказал бы ее совсем по-другому, он наверняка расставил бы эмоциональные ударения. И все это было бы интересно. Но мне, человеку искушенному в писательстве, интересен больше рассказ Зинаиды Ивановны — беспристрастный, объективный и краткий. Даже в эпизоде с кошкой и сеяльницей она сумела удержаться от всяких оценок... Может быть, это и есть главный признак в определении сюжета?

Тот же Иван Афанасьевич Неуступов рассказывал мне, как, будучи молодым парнем, возвращался из бурлацкой поездки, куда подавался из-за ссоры с отцом. Около волостного правления шли торги. Продавали имущество, описанное за недоимки. И вдруг он увидел, что продают их ко-

рову. При третьем ударе молотка он повысил цену. И... пришел домой вместе с коровой. Отец будто бы упал к нему в ноги. Не помню кто рассказывал мне другой случай, связанный с Кумзерской ярмаркой. Бедный и деликатный мужик приехал продавать жеребенка. На ночлеге знакомая старушка, дальняя родственница, попросила его взять на хранение несколько ценных бумаг. На время, пока она ездит в гости. Он согласился. Старушка съездила в гости, ждет-пождет, а мужика нет. Неделю его нет, месяц. Старушка решила, что сама виновата... И вдруг однажды у крыльца останавливаются дрожки. Мужик, одетый как богатый купец, кинулся ей в ноги: «Прости Христа ради!» Он вернул ей облигации в тройном размере.

Обе истории, как видим, заканчиваются одинаково: земным поклоном, неутоленной жаждой прощения и самим прощением. Ни та, ни другая не могли бы произойти ни с немцем, ни с англичанином. В устных народных сюжетах всегда присутствовал элемент некоторой сентиментальности. Мешало ли это главному значению подобных сюжетов, заложенной в них нравственной назидательности? Мне представляется, что нет, не мешало. Конечно, при определенном желании и подготовке оба случая можно истолковать в любом и даже противоположном смысле. Например, старушку изобразить растяпой, а мужичка — проходимцем. Народная фантазия и молва всегда отдавали предпочтение первому, а не второму способу изображения событий. Документальная верность при этом была вовсе не обязательной. Но, как я уже говорил, относительно многообразия сюжетов сама жизнь успешно соперничает с народной и писательской фантазией. Остаются втуне если не тысячи, то сотни, я бы сказал, первоочередных сюжетов, они прямо-таки валяются под ногами наших писателей и жанровых живописцев. А жизнь следует дальше, она уносит в прошлое эти сюжеты. О моей родине писал когда-то хороший писатель Александр Тарасов. (Он погиб на войне.) Это был действительно хороший писатель. Но сейчас сюжеты его рассказов и повестей меня, читателя, не устраивают, он писал свои произведения не по главным, а по второстепенным сюжетам (я мог бы это легко доказать, сравнивая тарасовские сюжеты с теми, которые преобладали в 20-х годах на моей родине — в Харовском и Вожегодском районах нашей области). И самое интересное то, что писатель-то не виноват, у него не было ни временных, ни общественных возможностей, чтобы воплотить в своих произведениях то, о

чем теперь мне, читателю, прочесть было бы просто необходимо. И тем не менее ничто в народной жизни не проходит бесследно — ни хорошее, ни плохое.

Народная память фиксирует все, что произошло или происходит сейчас. Мои земляки, например, во всех деталях помнят единственное убийство в деревне, случившееся во время первых колхозных лет на почве любовной ревности.

Если же взять социально-бытовые сюжеты или сюжеты, связанные с общенародными трагедиями (гражданская война, например), то здесь нашим историческим писателям непочатый край работы. Отголоски коллективизации 29—30-х годов до сего дня слышатся хотя бы в том же Тигине, куда приезжала влюбленная генеральша. Причем отголоски трагического свойства.

Любовные, семейные и прочие сюжеты тесно переплетаются с сюжетами, так сказать, социально-общественными.

Межурская волость до революции была богаче нашей Сохотской. Больше пахотной земли, дома ядренее, народ красивей, породистей, и межурские девицы относились к нашим парням надменно и свысока. Они то и дело отказывали нашим женихам. Но вот пришли 29—30 годы, и многие наши второсортные холостяки без всяких затруднений начали высватывать лучших тамошних «славутниц». Не прозевали, изловили момент...

В начале тридцатых годов любовные сюжеты были сдобрены появлением в наших краях красивых украинских девчат. (Здесь мне хочется привести один сюжет, но я берегу его для продолжения «Канунов».) За бортом литературного корабля оказались сюжеты, рожденные введением так называемых алиментов, лесозаготовок и прочих новшеств. Все это было в 30-х годах.

Великая Отечественная война за два-три года удвоила число неиспользованных сюжетов. Рассказ А. Толстого «Русский характер» представляется мне чуточку неестественным. Платоновские рассказы о военной поре позаимствовали из жизненной, народной копилки лишь малую долю. Паустовский, кажется, вообще избегал в своем творчестве трагических сторон народной жизни. По-видимому, в будущем должен появиться (если уже не появился) писатель, способный написать рассказ или повесть, в основе которой... ну, например, конфликт между вернувшимися фронтовиками и вдовами погибших на фронте. А сколько в запасниках народной памяти сюжетов о председателях колхозов! Но здесь речь уже

о теме и литературных типах. Вернемся снова к сюжету.

Председатель колхоза в 30-х годах и во время войны — фигура, вернее, должность вполне трагическая. Вокруг этой должности, вокруг колхозной конторы сюжеты так прямо и вьются и гудят, подобно летним шмелям. Ошибочно думать, что этот гул затихает в послевоенные годы. Налоги, займы, МТС, укрупнения (неоднократное укрупнение хозяйств было очень похоже на то, что происходило осенью 29 года), кукуруза, целина, перевод в совхозы, паспортизация, неперспективность. Каких только сюжетов не народилось вокруг всех этих явлений! Но писатели по-прежнему держали сюжет в черном теле. Чехов, Бунин, Пришвин открыли дорогу лирической, бессюжетной прозе. Мода на зарисовки, этюды, записки из блокнота не была, вероятно, случайной. Ведь существовал уже и бессюжетный роман. Даже в драматургии стало необязательным выстраивать событийный ряд. Помнится, моя повесть «Плотницкие рассказы» заканчивалась известием о том, что Олеша Смолин умер. Авинер Козонков идет делать ему гроб и начинает делать на гвоздях, а не на шипах, как договаривались. Было первое апреля. «Покойник» в бешенстве вскакивает: «Мы как с тобой договаривались, мать-перемать!» Козонков оправдывается так: «А откуда я знал, что ты не взаправду умер?» Как будто если б Олеша умер взаправду, то он, Авинер, выполнил бы договор...

Александр Трифонович Твардовский, помнится, попросил меня изменить финальную часть повести, убрать этот первоапрельский розыгрыш. Я не посмел ослушаться и убрал, хотя и до сих пор жалею об этом. Повесть и по сей день без первоапрельской шутки. То, что такой случай в нашей деревне был в действительности, не убедило Твардовского.

Борис Андреевич Бабочкин, незадолго до смерти, писал мне: «Времена сюжетной драматургии прошли...» (Речь шла о моей пьесе.)

От В. Шукшина я несколько раз слышал его отрицательные высказывания о сюжете. (Он говорил о сюжете как о литературном сюжете.) Он яростно защищал свободную раскованную бессюжетную форму. Но я-то знал, что сюжеты из жизни он любил и знал их немало. Почему-то он считал, что при создании рассказа сюжет мешает, становится условностью, ограничивает. Я не мог с ним согласиться, и мы спорили об этом несколько раз. Мне и до сих пор кажется, что сюжет вовсе не противоречит настроению, ин-

тонации, индивидуальному стилю, как и они — эти свойства лирической бессюжетной прозы — ничуть не вредят сюжету. Ориентация на бессюжетность очень выгодна бездарным драматургам, посредственным и ленивым прозаикам. Под видом краткости они публикуют все свои блокнотные записи, ложная многозначительность таких коротышек не всегда очевидна...

Нет, краткость краткости рознь. Видимо, существует некий объемный минимум для каждого из сюжетов, то количество слов, без коего сюжет так и останется сюжетом, не превратившись в рассказ. С другой стороны, сюжет может и раствориться, исчезнуть в бесконечном потоке слов, и тогда говорят, что проза водяниста, рассказ слишком растянут. Хороший новеллист интуитивно чувствует, каким по объему должно быть повествование по одному сюжету и каким по иному.

То же самое можно сказать об авторе повести, объединяющей, может быть, несколько отдельных сюжетов, и о романисте. Я до сих пор не знаю, что называют фабулой ученые литературоведы. Но мне кажется, что она несет в себе начало объединяющее, скрепляющее в единое художественное целое множество разноликих сюжетов. И, в свою очередь, способы этого объединения никто не считал, да и считать их невозможно, потому что способ этот каждый раз рождается заново.

Сюжеты, как и люди, умирают, уходят в прошлое. Произведению, написанному по свежим сюжетным следам, я, читатель, доверяю больше, чем историческому роману. Историческая художественная литература достаточно специфична, как специфична, например, научная фантастика. Реализму, наверное, легче всего дышится уже в прошлом, но в прошлом еще живом, не остывшем от новейших веяний. Лучше, если оно было пережито самим писателем. Но такие писатели, как Лев Толстой, легко оживляли время своих отцов и даже дедов. Они воспринимали и воспроизводили это время как свое собственное. «Война и мир» прекрасное тому подтверждение.

Только ведь и скорость, с которой течет время, тоже меняется — осмелюсь сказать об этом вслух. Сюжеты быстро стареют, лишаются своей злободневности. Помнится, работая в сельском райкоме комсомола, я сам был участником многих сюжетных историй.

Девушки-активистки просятся на целину. Но мы — райком — посылаем их на ферму. Все газеты, все радио толку-

ют только о целине, и девушки тайно убегают на целину. Для нас они дезертиры...

Основной сюжет в рассказе «Клавдия» я намеренно поместил, как говорится, на периферию, рассказ писался в неподходящих условиях. А сегодня никто даже не вспоминает обо всем этом: получать паспорта даже обязывают.

60—70-е годы тоже были отнюдь не бедными на сюжеты. Причем многие жизненные сюжеты оказались удивительно стойкими. Так, сюжет повести Валентина Распутина «Деньги для Марии» не исчез и не постарел. Он даже обогатился полновесной добавкой: теперь растрату в магазине сельпо обычно покрывают из колхозной кассы. На том, однако ж, условии, что продавщица пойдет работать дояркой.

Ю. Квасов из Соликамска прислал мне еще одно письмо. На одном из листков так прямо и было написано:

Сюжет

«Гриша из деревни Гогулята пришел из армии, устроился на бумкомбинат. Работал грузчиком. Жил в общежитии, через год женился на своей деревенской девушке — Клаве. Перед этим она окончила пять классов, работала на ферме. Дали Грише комнату в бараке. Жили хорошо. Клава родила двух девочек. Гриша уговорил жену учиться в вечерней школе. Она окончила семь классов, потом заочно сельхозтехникум, и ее приняли на работу в районное сельхозуправление. Гриша работал уже на бумагоделательной машине. Деньги машинисты получали хорошие. Шли годы. Девочки учились уже в институте. Жили в благоустроенной квартире. Гриша стал замкнутым, а жена властолюбивой. Уже не скажешь, что она была из деревни Гогулята. С мужем не считалась. А после того как она заявила: «Будем спать отдельно, вместе *негигиенично* (подчеркнуто Ю. Квасовым. — *В. Б.)*. В мою комнату ты должен входить только со стуком»,— Гриша совсем перестал с ней разговаривать. Да почему-то и ей это было не нужно. И вот тут его потянуло в свою деревню, хотя матери уже не было, а отец погиб на войне. Но дом стоял, родные места были. Попросился у начальника цеха в совхсз. Жена ничего не сказала, взял с собой одежду, забрал все свои фотографии и уехал в Гогуляты. Вставил в доме окна, поправил забор. Работал в совхозе все лето и осень, на молодежном комплексе. Жена не приезжала, а дочки бывали. Он подружился с одной дояркой (черт знает, откуда ес занесло в эти края). Статная, здоровая, без Гриши не могла жить и часа. Он так и остался в своей деревне. А бывшую жену перевели в об-

ласть. Одна дочка работает в селе врачом. Новая жена Гриши, когда ложатся спать, кладет его к стене, а сама с краю ложится. Когда остается один, он думает, почему так сложилась жизнь. Может, он в чем-то виноват? А недавно ему вручили орден Трудового Красного Знамени».

Автор письма был опасно болен и просил посодействовать в том, чтобы его приняли в одном лечебном учреждении г. Свердловска: «Был я в Перми, был в Горьком, был в Свердловске, и везде выписывают лекарства разные и все они не подходят. От одного чуть не отравился, от других не отходит приступ, от третьих сердце начинает стучать с остановкой. Буду чего-то ждать». Я обратился с письмом к свердловским медикам, но мне никто ничего не ответил.

Сюжеты Юрия Квасова были обрамлены сюжетом, касающимся лично его. Быть может, так и создаются романы?

«К Вам я, Василий Иванович, обращаться буду, только когда уж деваться некуда. Рука бы болела, я бы ее сам отрубил. Но болит голова, что с головой делать? И вид у меня стал, что знакомые не узнают. Да все писать и нельзя».

Так заканчивалось его письмо. Но свердловские профессора так и не удостоили меня своим ответом.

«Будем чего-то ждать». Чего же мы будем ждать? Нет, ждать нельзя, надо действовать. Надо писать, пока сюжет волнует тебя[1].

1984

ЕЩЕ РАЗ О ЯЗЫКЕ

Понятия русский язык, литературный язык, наконец просто язык для меня слишком велики. К подобным понятиям я отношусь с посильным почтением. Я не считаю себя вправе жонглировать ими по любому поводу.

Но вот однажды совершенно случайно раскрываю «Родную литературу» — школьный учебник, по которому учатся миллионы наших детей. Читаю. Возмущенный, пишу

[1] Эта статья была уже напечатана, когда дочь Ю. Квасова Лариса сообщила мне, что ее отца нет в живых. И сразу вспомнились яшинские строчки:

...В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас, да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.

заметки о языке, а журнал «Русская речь» их публикует. «Почему же я ввязался в это дело?»— спрашиваю я теперь сам себя. Чтобы ответить на этот вопрос, я вынужден цитировать собственную персону: «Удивляет еще и пристрастие к сноскам в сносках, указание на то, что вот, мол, это слово народное, это устарелое. А почему, собственно, пушкинское *пожалую тебя* устарело и хуже чем редакторское *окажу милость?* И если пояснять пушкинское *пожалую тебя,* то надо пояснять и редакторское *окажу милость.* Рытвина — это яма, говорится в книге. А яма — это что, рытвина, что ли? *Ветер с полудня* по глубокому убеждению редакторов — устарелое слово, *супротив* — искаженное».

Дальше в заметках, наивно надеясь быть услышанным, я пытался говорить об обеднении языка по словарному составу: «Обеднение это происходило порой по вине тех, кто, казалось бы, сам и призван расширять и укреплять богатство языка. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить словарь Даля со словарями Ушакова и Ожегова вместе, затем ушаковский и ожеговский по отдельности. Множество великолепных русских слов в двух этих словарях совершенно произвольно отнесены в разряд устарелых, областнических, разговорных и т. д.».

Редакция «Русской речи», публикуя мои заметки, кой-какие места похерила (в том числе и то место, где я говорил об игнорировании склонений). Зато «Литгазета» публикует статью доцента Свинцова, обвинившего меня в увлечении диалектизмами. Я не ответил на это обвинение. Я убежден, что понятие язык слишком велико и необъемлемо. Что частные, иногда весьма банальные споры о языке с успехом компрометируют это понятие.

Чтобы пояснить эту мысль, приведу такой пример. Однажды я включаю телевизор и... как бы это помягче сказать?— теряюсь, развожу руками. Перед миллионами зрителей экран всесоюзного телевидения несколько минут светился крупными контрастными буквами: ВЕЧЕР В ОСТАНКИНО. До сих пор я нисколько не сомневался, что все нормальные люди говорят в *Останкине,* а не в *Останкино.* Но, оказывается, мое мнение еще ничего не значит... Как так не значит? Ничего подобного, значит! И вот я, возмущенный, опять хватаюсь за перо и начинаю спорить по поводу склонений, спорить неизвестно с кем. Вначале мой оппонент анонимен, абстрактен. Но, по мере моего вступления в спор, он формируется и приобретает вполне реальную физиономию.

В самом деле, стоит кому-то заявить, что слово Останкино склонять совсем не обязательно, как открываются прекрасные возможности для полемики. Полемика в данном случае не нужна, спорить абсолютно не о чем, но я уже участник полемики, я участник спора, следовательно, незаметно для себя признал правомерность и жизненность спора. Признавая правомерность спора, я в какой-то мере отрекаюсь от своего правильного первоначального убеждения, то есть я уже в какой-то степени побежден моим оппонентом.

Делать, однако, нечего, надо спорить. Поскольку ты втянут в полемику, которая еще недавно казалась тебе верхом нелепости. Втянут словами телеэкрана, втянут корректором областной газеты. Сия многограмотная дама, посмотрев передачу из Останкина, тоже, как и я, начинает сомневаться в собственной правоте. Она обращается к справочнику корректора, а справочник солидарен с телевидением. Корректор начинает усиленно выправлять тексты с названиями деревень. Село Алексеево или там Лукино уже не склоняется в печатном органе, а люди ведь учатся грамотности именно у печатного органа. Шире, дале. Пройдет немного времени, и ты будешь тщетно доказывать свою правоту молодой учительнице русского языка. Она родилась и выросла в деревне, живет в гуще простых людей, но говорит и пишет примерно так: «Я уехала из Алексеево».

Но что тут говорить, ежели и сами писатели перестают понемногу склонять имена существительные? Виталий Семин в рассказе «На реке» пишет: «Из Колузаево!» — простодушно ответил моторист». Правда, здесь прямая речь, и я вполне допускаю, что герой рассказа мог видеть телепередачу из Останкина. Допустим, что В. Семин тут невиноват. Но почему же Владимир Тендряков уже в авторской речи не склоняет русское имя? Пийко — это уличное, бытовое имя героя повести «Кончина» Евлампия Лыкова. Оно прекрасно склоняется, как допустим, кличка Рыжко. В повести же Пийко не склоняется, как Данко у Горького или папа Карло у Ал. Толстого. Я бы не упомянул об этом, если б одна ученая дама, ссылаясь на прозу известнейшего писателя, не заявила мне однажды, что это явление (т. е. игнорирование склонений) является «прогрессивным явлением современного русского языка».

Можно простить не очень грамотного докладчика, не склоняющего в своей речи сложных числительных: он делает это из-за малограмотности и трудности склонения. Но

как понять ученую даму? Учительницу, корректора, которые *уезжают из Алексеево?* Боюсь, что после всех моих рассуждений они еще больше утвéрдятся в неправильном мнении — вот и весь результат полемики...

Только из нежелания поддерживать подобные споры я не возразил в свое время доценту Свинцову, обвинившему меня в злоупотреблении так называемыми диалектизмами. Доцент занимался специальным опросом, он высчитал, какой процент подопечных ему студентов не знает таких-то и таких-то слов, мною употребляемых. Но при чем же тут я? Ведь слова не перестают существовать от того, что тот или иной доцент их просто не знает, не слыхал. Думается, что вступать в спор в этом случае просто не стоит. Другое было бы дело, если б я выдумывал слова, либо нарочно, в пику кому-то и чему-то, выкапывал их из языковых глубин с целью гальванизации. У нас, конечно, есть эти редкие формалисты, которые не гнушаются спекуляцией на народности языка. Беспомощность таких спекуляций самоочевидна. Опасность их несоразмерна опасности выхолащивания основного словарного состава русского языка.

Кроме того, как говорил А. С. Пушкин: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Если же говорить об отношении «диалектизмов», «устарелых», «нелитературных», «областнических» слов к современному литературному процессу, то опять же позвольте обратиться к А. С. Пушкину: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Мне кажется, что сейчас в нашей литературе, по крайней мере, намечается такое явление.

1971

И СНОВА О НЕМ...

О русском языке и его речевой культуре время от времени вспыхивают ожесточенные споры, иногда весьма неуместные. Частенько поводы для таких схваток создаются искусственно, а действительно важные вопросы остаются

в тени либо замалчиваются. Иной спорщик «с ученым видом знатока» готов годами рассуждать о том, что правильнее: звони́т или зво́нит. Ему и невдомек, что весь «звон» по такому поводу неуместен, что сам-то русский язык поступает мудрее и демократичнее, допуская для многих своих слов двойное ударение. Другой спорщик не менее настойчиво пыжится создать теоретически спорную обстановку вокруг какой-нибудь давно устоявшейся и проверенной временем истины. Третий... Впрочем, хватит и этих двух. Их вполне достаточно, чтобы заварить очередную свару, спровоцировать полемику и... забыть о действительно важном деле.

О том, например, как важна элементарная грамотность.

Каково к ней наше общее отношение? Конечно же, далеко не все могут быть идеальными знатоками пунктуации и орфографии. В этом смысле грамотность — понятие вполне относительное. Русский язык можно учить всю жизнь, да так до конца и не выучить. Это стихия, и она, как любая другая стихия, необъятна. Но разве подобное обстоятельство освобождает нас от обязанности знать падежные окончания? Или правописание частиц *не* и *ни?* Существуют вполне определенные грамматические правила, соблюдать которые обязан каждый, считающий себя грамотным и культурным. Водитель, не знающий правил движения, лишается водительских прав. Любое ведомство всегда найдет повод избавиться от услуг юриста, не знающего законодательства. А вот докладчика, не умеющего склонять сложные числительные, зачастую не только слушают, но и аплодируют ему. Хорошо, если аудитория не очень большая. А если она многомиллионная, как это бывает в кино, на радио и телевидении? Низкая речевая культура вкупе с техническими средствами массовой информации беспардонно и, я бы сказал, безжалостно обнажает общую грамотность выступающего. И если на письме можно еще исправить ошибку, на худой конец переписать все заново, то записанное на магнитную пленку или запечатленное на звуковой дорожке кинопленки уже вовек не исправить... При всем этом один академик, выступая недавно по телевидению, с удивительным бесстрашием игнорировал падежные окончания. Казалось бы, высокое ученое звание отнюдь не дает права на подобное игнорирование. Какой простор при этом открывается для таких обывательских рассуждений: если уж академики выбирают путь «что попротоптанней и легче», то что остается мне смертному?» Да, склонение

требует определенной грамотности, а точнее... шести классов средней школы. Чтобы подтвердить свою принадлежность к образованным людям, совсем не обязательно пускать в ход электронно-вычислительную машину. Достаточно просто просклонять любое пятизначное число. Да что пятизначное, хотя бы трехзначное! Ведь как часто слово... ну хотя бы *двести* произносят в именительном падеже, тогда как надо...

Впрочем, пусть читатель сам мысленно просклоняет это простейшее числительное, ему сразу станет ясно, почему некоторые докладчики избегают пользоваться именами числительными в предложном, дательном и даже в родительном падеже. Где писать частицу *не* слитно, а где врозь, тоже, извините, мы обязаны хорошо знать, если не можем чувствовать этого инстинктивно. Иначе претендовать на звание людей грамотных просто смешно. Больше того, мы должны знать, где пишется и говорится *не*, а где *ни*, где ставится запятая, а где никакой запятой не требуется. От этой, так сказать, обязанности никуда нам не деться. Это такая же необходимость, как, например, необходимость каждое утро умываться и чистить зубы, ждать зеленого света, если едешь в автомобиле и пр. К сожалению, очень многие из нас намеренно занижают уровень элементарно необходимой грамотности. И подобное занижение, как это ни странно, находит себе даже теоретическую поддержку. «Орфографическая грамотность всегда относительна,— пишет доктор филологических наук К. Горбачевич («Лит. газета», 27 сентября 1978 г.),— и она далеко не исчерпывает понятия языковой культуры. Более того, по справедливому напоминанию академика АПН СССР А. В. Текучева, вера в исключительную силу орфографии уже давно давала повод сравнивать орфографию с молохом, в жертву которому неоправданно много приносится детских сил».

Итак, забота о детском здоровье... Но говоря о «диктантомании», об атмосфере «террора», автор статьи почему-то ни словом не обмолвился о терроре математическом, известном даже Алле Пугачевой, профессия которой весьма далека от профессии составителя и надзирателя школьных программ. «То ли еще будет, ой, ёй, ёй»,— говорит певица о математике как бы от имени миллионов школьников и родителей. Знаток же филологии, которому по штату положено защищать орфографию, уныло заявляет: «...дети охотно идут в кружки химии и биологии, но, как правило, тяготятся заучиванием грамматических правил». А почему же

сам-то доктор наук пошел не в химию, а в филологию? Заметно здесь и не очень логичное противопоставление: с одной стороны, кружки (то есть нечто живое и увлекательное), с другой — заучивание ну... хотя бы валентности. В той же статье говорится: «Нельзя не согласиться с теми авторами, которые считают, что грамотность в наше время не исчерпывается значением и соблюдением орфографии, хотя эта сторона и составляет ее основу». Бедная орфография! А. Текучев называет ее молохом, намекает на то, что можно быть грамотным и без нее, но К. Горбачевич вынужден считаться с нею, поскольку она составляет ее (т. е. грамотности.— В. Б.) основу». Воздержимся от разговора о грамотности самой этой профессорской фразы. Но если почитаем соседнюю по газете статью, то в глаза обязательно бросится цитата из высказываний известного критика: «Уровень критериев далеко обгоняет уровень письма». Я долго думал, кто кого обгоняет, да так и не мог додуматься. Будем надеяться на то, что процитировано с искажением подлинника...

Способов узаконить малограмотность на сегодняшний день накопилось достаточно, несмотря на обилие ревнителей грамотности: филологов, критиков, языковедов. Давайте продолжим хотя бы ту же тему склонений. Здесь нельзя не вспомнить об игнорировании падежных окончаний некоторых имен существительных с окончанием на «о». Мне не однажды приходилось высказываться об этом странном явлении. Но, что делать? Приходится повторяться. «А вот заплакал я на спектакле в Иваново»,— сообщает нам В. Чернов на страницах журнала «Культура и жизнь» (82, № 10), хотя плакать надо было по другому поводу... «В небе над Тушино» — вспыхивают крупные буквы на киноэкране (киносборник «Советский патриот», 1977). В газетах и журналах то и дело мелькают такие безграмотные выражения, как «побывали в Сазоново», «построена в Переделкино», «подумал об Ананьино» и т. д. Не знаю, что говорится по этому случаю в «Справочнике корректора», знаю только, что многие корректоры, самой судьбой призванные как зеницу ока беречь грамотность, нередко сами толкают авторов к безграмотности, переделывая «побывали в Сазонове» в нерусское «побывали в Сазоново». Увы, увы, как говорил протопоп Аввакум. Редактор, не чувствующий живого трепетного языка; корректор, не знающий орфографии (этого молоха, по выражению академика А. В. Текучева); тот самый корректор, который доверяет

одним лишь справочникам,— такие люди перестали быть редкостью в органах нашей массовой информации. Между тем и дело-то очень несложное, просто надо знать, что столица Норвегии Осло — это одно, а село Ананьино — нечто другое, что склонять иностранное слово с окончанием на *о* так же опасно, как не склонять русское с подобным же окончанием. Ретивый языковед, составляющий справочник, все подряд стрижет под одну гребенку, хотя прекрасно знает, где коренное русское слово, а где заимствованное. То, что *Триполи* или *Мапуту* не склоняются, ясно всем, а то, что *Ананьино* и *Переделкино* склоняются,— почему-то приходится настоятельно объяснять. В чем дело? Не стоило бы говорить об этом так долго, если б некоторые авторы не противоречили самой своей сути ревнительной грамотности: «Ярко-красное шелковое полотнище (сб. «Литература и ты», 6-й выпуск, с. 183) волнуется как под порывами сиверко, призывая и ведя за собой!» Что ж, если так, то зачем склонять и окно, и полено, и Онего, и знаменитого Онежского плотника Нестерка? Зачем утруждать себя? Один писатель (не буду указывать фамилию) уже и кличку мерина произносит на иностранный манер. Его Гнедко́ хорошо запрягается, но такой норовистый, что никак не хочет склоняться. Не склоняются порой и русские имена в их уличной разновидности: Юрко, Генко, Славко. Хорошо еще, что более современная, вернее, городская форма этих имен с окончанием на *а* пока склоняется.

Каждый язык имеет свои законы, присущие только ему, именно этому национальному языку. Иначе ничего, кроме конфуза, не ожидает того, кто, игнорируя природную разницу между такими, например, словами, как *манто* и *рядно,* применяет к ним один и тот же закон (в нашем случае свойство русских имен существительных изменяться по падежам). Нет *манта* вызывает такую же улыбку, как нет *рядно* или думаю *о рядно.* Впрочем, улыбки эти будут совсем разными по психологическому содержанию...

Мне очень не хочется выглядеть обличителем или насмешником, наоборот, мне как-то жалковато людей, которые, зная русский язык только по книгам, занимаются литературой и литературоведением. В таких случаях русский язык становится очень коварным и отнюдь не доброжелательным, он устраивает «фокусы» самым почтенным людям. Один очень хороший знаток А. С. Пушкина так говорит в своей статье: «До нас дошел замечательный документ — письмо поэта сосватавшему его свояку ее, с кото-

рым Пушкин в эту пору очень сдружился — Зубкову». Попробуй-ка читатель, неискушенный в семейных делах поэта, сообразить, что к чему! Фраза просто ужасна по своей неудобопроизносимости, но дело усугубляется тем, что у женщин свояков не бывает (свояки — это значит женатые на сестрах). Может быть, речь идет о *её* зяте? Или о девере? Если же разговор действительно о свояке, то она это не она, а он. Другой автор, вернее, переводчик Е. Факторович («Лит. Россия» от 30 янв. 81 г.) сделал наоборот. В рассказе немецкого писателя В. Торниуса о великом композиторе он превратил Моцарта в женщину, поскольку золовок у мужчин никогда не было и не будет.

Грамотность подразумевает не одну лишь приверженность букве грамматического закона. Нужно иметь определенное чутье, чтобы не спутать неграмотное отклонение от нормы от «грамотного». Взять хотя бы и случай со словом *инициатива*. Ведь ясно, что употреблять это слово во множественном числе не очень-то грамотно. Это все равно что использовать во множественном числе такие слова, как честь и дружба.

Как видим, несмотря на всеобуч, нам еще далековато до всеобщей грамотности. В таких условиях странными кажутся разговоры о *молохе* орфографии, о диктантомании и о грамматическом *терроре*. Нередко под предлогом необходимости упорядочить школьные программы по языку эти программы вообще свертываются. Работники просвещения, иногда весьма высоких рангов, прикрываясь трудностями изучения, иной раз и нарочно преувеличивая эти трудности, оправдывают и даже узаконивают снижение требований к учителям, к учащимся и абитуриентам. Но как же так? Ведь если б язык не был трудным, то зачем его было бы и учить? Никому не приходит в голову устранить из математического курса инженерного вуза сопромат либо интегральное исчисление на том основани, что это трудно и отнимает много времени. С языком же нередко поступают именно так.

Дурное (отнюдь не по злому умыслу!), недостаточное значение некоторых людей переходит со временем в активное неприятие образного народно-глубинного языка, постоянно питающего язык общелитературный. Одни, не знающие народного языка (это не вина их, а беда), учатся ему, постигают его, другие же (и это уже их вина) просто отрицают его и для шельмования давно сложившихся ценностей придумывают новые хлесткие термины вроде — *ис-*

торической ностальгии, орнаментализма и т. д. Чего стоит одна лишь «ученая» классификация, принятая в нынешних словарях! Тысячи и тысячи коренных русских слов угодили в разряд *провинциальных, разговорных* и пр., то есть объявлены словами неполноценными. Или взять новейшую волну в пропаганде и гальванизации эсперанто, этого мертворожденного технизированной культурой неизвестно от какого отца. Волна эта, благодаря АПН, прокатилась чуть не по всем газетам страны. Я вовсе не желаю вмешиваться в личные дела подписчиков, если у них есть желание и время, пусть на здоровье занимаются хоть эсперанто, хоть джиу-джитсу. Но как понять намеренное, весьма активное содействие внедрению в русский язык иноязычных слов? Нельзя забывать, что засорение (то есть порча) языка иноязычными, чуждыми его духу и плоти словами при достаточной изворотливости ума можно преподнести как положительное явление. С другой стороны, обогащение языка за счет глубинных народных источников при той же изворотливости ума нетрудно преподнести как засорение. Конечно, я совсем не считаю, что всякое иностранное слово надо гнать в шею, а за каждое местное цепляться руками и ногами. Засорение может происходить и на основе природной лексической стихии, как и частичное обогащение может совершаться с помощью иноязычной лексики. Есть тут все-таки одно и очень большое *но*. Если доморощенные языковые вирусы отмирают естественно и сравнительно легко, то с *вирусами* иноязычными язык справляется весьма и весьма туго. (Не будем приводить тех примеров, когда осложнения после такого «гриппа» оказались смертельными для национального языка.) Опасность иноязыческого засорения несоизмерима с какой-либо другой опасностью.

В самом деле, возьмем любую отрасль хозяйственной или культурной деятельности. Ну, хотя б медицину. Понятно, что медикам необходима латынь для сохранения профессиональных тайн (что, впрочем, тоже весьма спорно). Но зачем же уж так демонстративно брезговать русскими словами, зачем заменять уж все-то подряд? Вот несколько примеров: потеря памяти — *амнезия,* взаимосвязь — *корреляция,* переходный возраст — *пубертатный возраст,* потливость — *гипергидроз* и т. д. «Ожидаемые в ближайшие сутки падение атмосферного давления и некоторое повышение температуры воздуха снизят вероятность развития метеопатических реакций спастического характера»,— без тени смущения сообщает газета «Вечерняя Москва» миллионам

своих читателей. Здесь сам тираж и популярность «Вечерки» как бы даже не допускают того, что далеко не все знают, что такое «метеопатические реакции спастического характера».

Хорошо, оставим медицину в покое. Качнемся, как говорится, в другое место. Хотя бы и в сельское хозяйство. Здесь даже навоз переименован в органику. *Календарный день, фуражная корова* так и мелькают в районных и областных газетах. Что ни скотный двор, то и комплекс. (Кстати, словечко это внедрилось в наш быт очень надежно. *Комплексное изучение, комплексный подход, комплекс психологический, комплекс промышленный* и т. д.) И такое «комплексование» повсюду. Особенно грешат этим делом спортивная среда и журналистика со всеми своими кураторами, юниорами и т. д. Прислушаемся хотя бы к такому удивительному заголовку, как «Телесериал о битве с фашизмом», сообщенному комментатором АПН. Конечно, подобное «обогащение» журналистской лексики не обогащает, а, скорее, обедняет родной язык. Вместе с ним и всю культуру.

Превосходный знаток русского языка, ныне покойный писатель Всеволод Никонорович Иванов сообщил мне однажды об одном уникальном исследовании, проведенном несколькими молодыми (теперь уж, вероятно, постаревшими) энтузиастами. Речь шла о языке наших газет. Было установлено, что журналисты страны на протяжении многих лет используют примерно полторы тысячи слов. Всего полторы из двухсот двадцати тысяч, записанных в далевском словаре! При этом надо учитывать то обстоятельство, что даже этот словарь не исчерпывает всего русского языка,— как бы ни был велик подвиг Даля, это все-таки труд одного человека, и, конечно же, за пределами этого, пусть необъятного и гигантского, но одиночного труда осталось множество незаписанных слов. С другой стороны, в указанное число (тысяча пятьсот газетных слов) входят и все эти мертворожденные «телесериалы», следовательно, подлинный словарь русской журналистики сужен до крайности.

Пусть так, но по чьей же вине?— спросит читатель. Да по нашей общей! Надо удерживаться от искушения свалить всю вину на тех академиков и профессоров, которые орфографию называли *молохом,* а лучшие коренные слова относят к разряду устаревших, областнических, разговорных, то есть не общелитературных. Оставим в покое этих довольно редких специалистов, взглянем всяк на себя.

Ясно, что социальные сдвиги, общественные условия

сильнейшим образом взаимосвязаны с переменами в языке. Скопление людей в больших городах уравнивает быт миллионов, стирает даже национальные различия. Одинаковые дома, однообразная мебель, еда, одежда, определенный набор способов общения, заблаговременное планирование поведения — все это заставляет и говорить одинаково. То есть стерто, безобразно. Стандарт, очень полезный в технике, губителен для искусства и языка, вообще для духовной культуры. Только значит ли это, что положение безвыходное? Вовсе нет. Ведь нельзя же всю жизнь идти на поводу у так называемого технического прогресса. Человек может и должен (перефразируем печально известное выражение) противопоставить железной организации непостоянство... природы. Природы языка, разумеется, а не того, о чем говорится в метеосводках. Богатый, не штампованный, живой, а не мертвый, не вымученный, разговорный язык — главный признак духовно полноценной личности. Гордиться тем, что не можешь (не умеешь) интересно (образно) разговаривать,— все равно что гордиться врожденным либо приобретенным физическим недостатком. Но я вовсе не призываю всю жизнь казниться и заниматься самобичеванием, если что-то не получается. Мало ли у кого что не получается? Более того, болезненное стремление во что бы то ни стало выглядеть в разговоре необычным как раз и приводит к вычурной неестественности, вызывая насмешку окружающих.

Язык открывает свои чертоги и кладовые только людям с раскрытой душой, тем, у кого сердце не зачерствело в однообразии покоя или борьбы, кто искренен не только с другими, но и с самим собою... Образ никогда не уживается с обманом, новизна с фальшью. Давайте поразмышляем: много ли нужно проницательности, чтобы почувствовать фальшь в словах собеседника? Неискренность ощущают даже некоторые домашние животные... В какие бы изысканные одежды она ни рядилась, все равно заметна. Словесный штамп — родимый ее сынок — выдает ее с головою. «*Я дико* извиняюсь», — говорят вам, но вы не верите таким извинениям. А чего стоит этот *северный шелк,* когда говорят о льне? Или *второй хлеб,* когда подразумевают картошку... Сам способ сравнения (крыжовник — северный виноград, лес — зеленое, нефть — черное золото) превратился в штамп, ведь шелк — это шелк, а не лен, а крыжовник — это крыжовник, и при чем тут виноград — непонятно. И то и другое по-своему хорошо. Говорить о картофеле как о

втором хлебе тоже будет невпопад, поскольку становится как-то обидно. Обидно, с одной стороны, за хлеб, с другой — за картошку.

Недолговечный образ, не очень удачное выражение с претензией на необычность превращаются в штамп после двухкратного пользования, тогда как по-настоящему образные выражения не боятся многократных использований, превращаясь при этом в пословицы, поговорки, известные присловья.

Штампами грешит не только журналистика, но и литература. Приведу несколько примеров. Возьмем слово *заскорузлый*. Признаюсь, что оно мне неприятно: уж слишком часто мелькает в романах, повестях и даже в критических статьях. И винить некого, мы сами тут виноваты. Ошибка или промах писателя нередко превращается в ошибку всеобщую. Большой тираж словно бы дает право гражданства тому или другому неверному выражению, делает его равноправным. Мне кажется, что именно так обстоят дела со словом... ну хотя б *товарняк*. Ведь грузовой поезд, с тех пор как в России были построены железные дороги, всегда назывался *товарником*. Кто-то из писателей, а может, вагонных осмотрщиков ненароком спутал однажды *товарник* с *порожняком*, и пошел *товарняк* гулять по всем повестям и романам, никто не включил ему красный свет... Вполне допустимо, что слово исказилось под влиянием блатного «ништяк», но не будем об этом гадать. Не знаю кто виноват, поэт или переводчик, но «белые журавли» в известной песне тоже вот-вот окончательно утвердятся в русском языке, хотя сами-то журавли всегда были серыми, не только на болотах, но и в народных песнях и сказках. Белыми были гуси. И если поэт сделал журавлей белыми намеренно, то при таких условиях подобная образность тоже не очень уместна.

Никто и ничто не сопротивляется так яростно регламенту и стандарту, как язык. Твердыни рационализма во прах рассыпаются перед ним, сам он легко и непринужденно ускальзывает из многих хитроумных ловушек, ставит в тупик недоброжелателей, ёрничает, добродушно прощает наши ошибки, удивляет и наставляет. Интересно проследить хотя бы за тем, как он обкатывает, приручает иноязычную лексику. Ясно, что в этом деле язык блюдет прежде всего свою независимость, исполняет свою прихотливость и поступает совсем не по правилам. Коренной (матерый, как говорят в Поморье) язык, приручая норовистую иностран-

ную лексику, не очень-то с ней церемонится. При этом серьезные понятия нередко лишаются своей серьезности. Народ как бы сдирает с них покров рациональности: так, франкмасоны становятся обычными фармазонами, а грозный Ассурбанапал превращается в санапала, мелкого хулигана. Не знаю, как в других языках, но в русском насмешка ожидает все неудобоваримое, все непригодное его духу или не желающее приспосабливаться к новой среде. По-видимому, одомашнивание чужих слов связано больше с фонетикой, чем с морфологией. Удобство произношения необходимо в первую голову для напевности и ритмичности языка. Может ли иноязычное слово не считаться с этой необходимостью? Конечно, не может. Если же оно проявляет упрямство, язык немедля выталкивает его из своей среды либо осмеивает. При этом степень строптивости всегда соответствует силе насмешки. Не так ли произошло чуть не со всеми немецкими выражениями, которые, нередко против их воли, за уши втаскивал в русский язык царь Петр? Уж если язык и заимствует, то заимствует *сам,* без насилия и подсказок, хотя бы и императорских. Кстати, Петр великолепно знал коренной русский язык. Сила и образность народного слова чувствуется во всех его реляциях и указах. Но очень своеобразное, если не сказать юмористическое, звучание приобретают эти указы, когда их автор не в меру использует иностранную лексику. «...Дабы не чинили мину под фортецию правды» — такими словами заканчивается указ об ответственности неправедных судей и волокитчиков. В другом указе речь о *женах и дочерях российских, на ассамблеях не знающих политесу,* о *недорослях,* которых надо вылавливать и бить кнутом, пока «от их гишпанских штанов зело препохабный вид не останется» и т. д.

Русский язык в своей определенности по отношению к словам-пижонам, к словам-стилягам и в наше время не уступает Петру. Одна курортная дама с особым удовольствием произносит слово *эспандер.* Но когда при ней кто-то использовал слово *пришпандорил,* она с возмущением отвернулась. Слово прозвучало для нее явным неологизмом, да еще и вульгарным. Но... дама права. С какой бы, спрашивается, стати? Ведь если рассуждать здраво, то эспандер и шпандырь имеют в языке одинаковые права, поскольку оба произошли от одного корня (*лат.* expando — растягиваю, *нем* spannen — натягивать, напрягать). Так относительно иностранных слов русский язык не теряет своей всегдашней способности. Такие его свойства не всегда нравят-

ся иным институтам и академиям. Вот почтенный, широко известный автор вздумал объяснять своим читателям русское слово *богадельня,* утверждая, что образовалось оно из двух слов: *благо* и *деяние.* Благозвучие, дескать, оказалось сильнее смысловой правильности, и народ заменил благо на бога. Никто даже и не пытался оспаривать мнение знатока. Русский язык скромно позволил укорениться и этому мнению, думай, мол, как хочешь, мне не жалко. Но тот же язык родил и убийственную проницательность А. С. Пушкина, который говорил, что слово богадельня образовалось от «бога для».

Да, это действительно так: обычная наша грамотность зачастую далеко не блестяща, в то же время во имя нее, во имя грамотности, мы запросто обедняем русский язык, усекаем его образные возможности, сводим его грандиозные запасы к полутора тысячам газетных слов. Уж не только слова, но и сами способы словообразования — пусть и не гласно — объявляются устарелыми либо архаичными, не имеющими права на самостоятельное существование. Так произошло, к примеру, с частицей (или приставкой) *су* — очень древней и очень емкой.

Прекрасными существительными на *па* тоже мало кто пользуется: паужна, павечерь, пачеси, паузок, падчерица, пасынок. Такие слова, за исключением, может быть, паводка, считаются в литературном языке пасынками...

Иные языковеды, вернее, языкоеды готовы хоть сегодня заменить половину основного словарного фонда иноязычной лексикой. Подобно экономистам, которые еще не так давно объявляли *неперспективными* тысячи существующих сел и деревень, эти языковеды объявляют *неперспективными* тысячи слов. Сам язык покамест сопротивляется такому насилию. Но стоит ли нам-то гордиться своим бездействием? К несчастью, множество так называемых неперспективных сел и впрямь вскоре оказались такими, поскольку после бюрократической акции сразу же начались практические действия: были случаи, когда отключалось электричество, специально не ремонтировались мосты через речку или закрывались медпункты и школы. Да и кому охота быть «неперспективным», если даже и медпункт, и школа, и торговая точка все-таки действуют?

Не буду приводить многочисленных примеров шельмования слов живых, не собиравшихся отмирать, готовых жить долго и весело. Кстати, они так и делают несмотря на запреты.

Язык, как и любой живой организм, не безграничен в своей возможности самоочищаться, самообновляться и самовозрождаться. Есть и пределы его терпению. Говоря об этом, нельзя представлять дело так, что, мол, национальные языки антагонистичны по своей сути, что между ними идет яростная борьба за выживание. Подобные рассуждения насквозь лживы и демагогичны. Живые национальные языки никогда не мешали друг другу, наоборот, они помогали друг другу и друг друга утверждали. И страдали они не меньше, чем люди и нации, на них говорящие, когда эти люди и нации вступали в антагонистические отношения друг с другом. Ни один язык ничего не выигрывал от племенного или расового антагонизма, национальному языку всегда необходим прежде всего мир между народами.

От чего же зависит самосохранение, самообновление и самоочищение национального языка? Мне кажется, что от самого общества, от его нравственного состояния. Красота и разнообразие человеческих отношений влекут за собой те же самые свойства и в языке. Малейшая фальшь в поведении сразу сказывается в языке. Чем глубокомысленнее стремится быть просвещенное невежество, тем смешнее оно выглядит, чем человек хитрее во имя своих корыстных целей, тем фальшивее становятся его слова и манера общения. Наоборот, честный и смелый человек может говорить открыто, распахнуто, и тогда язык его становится сильным, ясным, а иногда и образным. Последнее, впрочем, зависит еще и от природного дара...

Легко сказать — возразит иной читатель — быть смелым и честным! Не каждому-то дано быть смелым и честным...

Действительно, возможности в этом деле разные у разных людей. Но ведь если заглушить совесть и не стремиться к идеалу и совершенству, теряются и самые малые возможности. А если стремиться, да еще всею душой, то появляются новые, даже большие возможности, причем весьма неожиданно. Что может быть прекрасней таких неожиданностей?

1983

ДВАЖДЫ В ГОДУ — ВЕСНА...

Мое первое приобщение к истории и культуре древнего мира было весьма несчастливым. Конечно, ощущение несчастья пришло только теперь, спустя тридцать семь лет. Тогда же, в первой половине, в середине да и в конце сороковых, будучи голодными и полураздетыми, мы и не подозревали о несчастьях подобного толка. Можно ли говорить об этом во множественном числе? Почти все мои школьные сверстники, словно бы подражая отцам и старшим братьям, не дожили до своего даже сорокалетнего рубежа.)

Историю древнего мира вела у нас сама директор (или директриса?) Ф. П. Замыслова. Была она очень высокая, неуклюжая, ходила с какой-то странной мужской перевалочкой. Стриглась под польку, но гребенка постоянно торчала над ее белым детским затылочком, круглые добрые глаза очень не соответствовали головному убору — не бабьему платку и не дамской шляпке, нет. Она носила какую-то шапку, что-то среднее между монашеской камилавкой и солдатской папахой. Почему в 1944 году она учила нас именно древней истории? Все просто. В 20-е и даже еще раньше, вместе с другими явлениями кооперативного движения, во множестве появились эти поистине ренессансные типы, которые умели работать всюду, куда бы их ни поставили. Причем и работали вовсе не плохо. (Кооператор тогдашних времен считал торговлю делом попутным, главным для него было просветительство, культурное и экономическое.) Фауста Парменовна как раз и была из этого почти исчезнувшего к началу войны кооперативного племени. Она одинаково добросовестно трудилась и директором школы, и директором маслозавода, и председателем сельпо, и секретарем сельсовета. Преподавая нам историю Эллады и Древнего Рима, она мелким, ровным, изящным почерком переписывала в общую тетрадь страницы из учебника, пропуская места, набранные петитом. На уроке она с той же тщательностью зачитывала эти записи нам. (Для меня это обстоятельство стало главной причиной пожизненного отвращения ко всякому конспектированию.) Запомнилось: Фауста Парменовна почему-то с особым удовольствием пользовалась словом *изящный*. Она произносила его с твердым разделением, получалось *изъяшный*. До войны на Се-

вере пекли пироги не только из пшеничной муки, но и из яшной (ячневой), и я помню, как всегда при этом слове во рту скапливалась слюна...

Странно, но все римские императоры и полководцы до сих пор представляются мне слепыми, ведь в учебнике печатались только скульптурные изображения. Искушение дополнить рисунки было настолько сильным, что я, несмотря на жесточайший запрет черкать в книгах, постепенно дорисовал зрачки Зевсу, Периклу и Александру Македонскому. Из римлян этой чести удостоились, кажется, только Сулла и Нерон, поскольку меня лишили учебника и передали более бережливому. Позднее я узнал, что древние греки раскрашивали скульптуры. Если это действительно так, то какого же цвета были глаза у мраморного Гомера?

...Обо всем этом я и думаю, поджидая аэрофлотовский завтрак, с помощью которого легче привыкнуть к нудному гулу двигателей, к тесноте, к самолетным курильщикам.

Аэрофлот не экономит пока на завтраках, если летишь во Владивосток или за границу. Но меня слегка покоробило то обстоятельство, что места в самолете, летящем не куда-нибудь, а в Рим, можно занимать любые, какие вздумается. Не поэтому ли у трапа образовалась толкучка? На лицах многих мужчин явственно отражалось борение сил (локти в любую секунду могли выйти из-под контроля интеллигентности). Да что говорить, был момент и у тебя самого, когда так и подмывало осадить таранную даму, обошедшую тебя в очереди, либо сказать вежливую колкость мужчине, который по-дамски же игнорирует твои пассажирские права и даже само твое существование.

Обиды такого масштаба исчезли, стоило лишь ступить на трап. Я с детским телячьим восторгом занял место у иллюминатора. Интересно, кому первому из рационалистов пришло в голову *беспричинный* восторг назвать ни больше ни меньше как телячьим? Бедняге некогда было думать над менее циничным термином. Ничто в мире не может существовать *беспричинно* — скажет просвещенный читатель, то есть тот самый ученый человек, кому заранее все известно и о котором А. И. Герцен говорит: «...Но я уверен, что со временем ясно докажут, что прилагательное «ученый» уничтожает существительное «человек».

Не знаю, что сказать о причинности, а также о взаимных отношениях человечности и учености. Разглядывая с высоты девяти километров коричневые балканские разветвления и голубые адриатические полотнища, я вновь пере-

живаю восторг детства, снова живу чем-то подобным, таким же голубым, но не морским, а небесным, таким же золотистым, только не таким объяснимым.

Восторг исчезает, когда начинают его объяснять. Я могу лишь раствориться в нем, в этом весеннем утре, еще перечислить то, что его составляет, да ведь даже и не перечислишь всего. Врезалась в сердечную память молодая, еще не седая от горя мама, веселый отец, братья и сестры, непостижимо большое синее небо, поющие вокруг петухи, крики сверстников, синие омута нашей речки, трава, вкусные пироги, новая красная ластиковая рубашка. Сотни, тысячи других ощущений... И все это объединялось одним беспричинным восторгом.

Богаче ли становится жизнь, понемножечку исключающая, ну, такие, к примеру, душевные состояния, как ревность? Или стыд? Продолжать перечисление явно ни к чему, хотя бы потому, что каждым даже из двух этих слов обозначено слишком много. Между тем они, эти и подобные им слова, исчезают. Они куда-то прячутся, причем не только в журналистике и литературе. Силовое поле современной обстановки выталкивает их как чужеродные, многим из нас они кажутся какими-то неуместными и едва ли не ретроградными. О каком там стыде или ревности можно всерьез толковать в наш прекрасный ядерный век? Заметьте — ядерный. Ни больше, ни меньше — ядерный — и баста, и толковать вроде бы не о чем. Глобальность понятия (*век,* да еще *ядерный)* как бы снимает с человека тяжесть личной ответственности, освобождает его от мелочей типа стыда, совести и т. д. А может быть, такие слова уходят из языка добровольно, просто уступая место своим синонимам? Но тогда где они — эти синонимы?

Язык вообще явление удивительное, неисчерпаемое и непонятное. Вот скажешь что-то, подумаешь — и вдруг обнаружится нечто такое, что и в мыслях у тебя не было. *Личная ответственность,* например. А бывает ли вообще ответственность *не личная,* то есть *коллективная?* При ближайшем знакомстве с термином обнаруживается, что коллективную ответственность нельзя назвать ответственностью. Это что-то уже иное. Совесть, ревность, стыд также могут быть только личными, как и восторг.

Но... опять же где уж, о каком толковать восторге, если на дворе 20-й, то бишь ядерный век? Иногда я, боясь обвинений в ретроградстве, чувствую, как становлюсь технократом. При этом из памяти моей каким-то особым способом

испаряется тот факт, что до нас-то ведь тоже был век — «век моторов» (называли его и веком электричества). И каждое из этих названий представлялось человеку тоже глобальным, стремительным и как бы оправдывающим нравственное бесстыдство.

По-видимому, технический прогресс всегда завораживает, вызывает восторг. Иное дело — какой и надолго ли? Изобретением способов вертикального взлета не подменишь душевного взлета. НТР, о которой журналисты прожужжали нам все уши, вполне в этом смысле достойна своих соседей по звучности, таких, как ИТР, ПТР и т. д. Размышляя о прогрессе, люди нередко подменяют понятия, делая вид, что духовный прогресс и технический — это одно и то же. Конечно, то, что за неделю-две можно побывать во всех европейских столицах, на первый взгляд представляется грандиозным достижением человечества. В детстве я даже и не мечтал о том, что увижу когда-нибудь Париж и Варшаву, Лондон и Рим, Хельсинки и Стокгольм. Все это было вполне несбыточным, фантастическим. И тем не менее все это произошло, произошло не во сне и не в грезах, а наяву. Счастлив ли я от этого и почему не ощущаю этого самого счастья, если счастлив? Ведь А. С. Пушкин, например, нигде дальше нынешней Молдавии не бывал. С другой стороны, современному поэту, объехавшему, по его словам, более сорока стран, никогда не бывать Пушкиным... Может быть, одна поездка в сологубовском тарантасе дала бы больше, чем все мои стремительные облеты. Не знаю. Так или иначе, я хочу, чтобы навигационные приборы действовали безотказно, чтобы шасси были вовремя выпущены при посадке...

Синего Адриатического моря хватило лишь на то, чтобы позавтракать, а чтобы пересечь знаменитый Апеннинский хребет, потребовались считанные минуты. Зеленая равнина Кампаньи встретила нас теплом и ощущением первой весны. Но техника, призванная экономить наше время, и тут встает непреодолимой преградой между человеком и окружающей его действительностью. Мы даже не успеваем запомнить пейзаж, не говоря уж о том, чтобы полюбоваться, вникнуть, приобщиться, подышать воздухом знаменитой равнины.

Машина стремительно мчится к Вечному городу. От Кампаньи осталось лишь ощущение зелени и синевы далеких гор. Запомнились и слоистые, как бы плавающие кроны пиний да полузаброшенные одинокие виллы среди пре-

красно обработанных ровных зеленых полей. И вот мы уже огибаем нечто несуразное, видим нелепую картину, не вмещающуюся в прекрасную природную раму. На нашем пути обширное кладбище автомобилей... Апофеоз железной смерти — финиш технического буйства. Тысячи мертвых автомобилей — иные на взгляд совсем еще целые, как бы недоиспользованные, навалены были в безобразные железные кучи, напоминая чем-то другие, только более жуткие рвы, снятые документальным кино. Я уже видел нечто подобное и раньше, например, в Англии, да и на родной Вологодчине уже появляются подобные кладбища из тракторов и комбайнов. Но почему-то именно здесь, при въезде в Рим, меня особенно поразили эти павшие «шевроле», «мерседесы», «кадиллаки», «бенцы» и всякие «бьюики». Да, кажется, и наша «Лада», пусть и не во множестве экземпляров, но тоже сподобилась подобного финала. Я попытался представить, сколько же было затрачено времени, руды, интеллектуальной энергии, каучука, терпения, нефти, пота, сколько было мозолей и ссадин на руках человеческих, чтобы создать всю эту бездну железных, ныне бездыханных существ. И у меня ничего не вышло...

Собор св. Павла, мелькнувший на пути к центру Рима, еще больше запутал мои несвоевременные размышления.

* * *

Лет десять — пятнадцать назад какие-то странные типы интеллигентного вида целыми контейнерами вывозили из Вологды старинную мебель, книги и утварь. Такие же, только менее интеллигентные, ходили по деревням, проникали в нежилые дома, обдирали киоты и даже силой отнимали иконы у одиноких старух. Не будем подсчитывать, сколько этих икон перекочевало ныне на Запад. Помню, пожилая женщина, вологодская посредница этих «искусствоведов», предложила мне старую керосиновую лампу, самовар и трехтомник энциклопедии Битнера. Эго были жалкие остатки того, что увозилось контейнерами и что не стали сплавлять из Вологды. Я купил трехтомник, предоставив лампу и самовар их дальнейшей судьбе. Изданная в 1909 году с множеством превосходных рисунков, энциклопедия была вполне уникальна, и я до сих пор удивляюсь, почему трехтомник не угодил в руки заезжего книжного спекулянта. Перед отъездом в Италию я открыл страницу с терминами на букву «Р». О Риме сообщалось: «Город открыл свои двери всяким беглецам, и вскоре благодаря ус-

пешным войнам Рим присоединил к своим владениям окрестные латинские города».

Итак, я в Риме, который, если верить энциклопедии, возвысился благодаря «всяким беглецам»... Даже не верится. С первых же минут пребывания в Вечном городе вспоминается фамусовское изречение о календарях. Ничего, вернее, почти ничего не остается от прежних представлений, основанных на книжных и прочих знаниях. Все, оказывается, намного проще, прекраснее, как бы роднее и беззащитнее. Менее грандиозным представился Колизей, совсем нешироким оказался Тибр, не таким высоким купол собора Петра. Ощущение величия удивительных памятников приходит позднее, когда начисто отрешишься от «размерного» восприятия, когда вникнешь в духовную суть их созидателей и, самое главное, освободишься от хронолого-эстетической путаницы, неустанно создаваемой учеными модернистами.

Но что же это за «размерное» восприятие? Оно представляется мне признаком (разумеется, не единственным) неразвитого вкуса, помогающим замораживанию первоначальных художественных возможностей, признаком количественного подхода к искусству. Как нравственно ограниченный человек ошибочно принимает технический прогресс за прогресс вообще, так и ограниченный эстетически частенько путает художественность с грандиозностью. Впрочем, хорошо развитое чувство прекрасного подразумевает обычно и высокую нравственность.

Самое, самое... Рекорды, занесенные в злополучную книгу, как нельзя лучше иллюстрируют эстетическую тупость тщеславия. Где-то совсем рядышком с такими явлениями стоит самая грандиозная скульптура и самая мизерная миниатюра, барельефы на скалах и города в спичечном коробке. Сверхвеличина, как и сверхмизерность, не оплодотворенные духом художественности, поражают, но не волнуют. Они назойливо лезут на первый план, заслоняя собой подлинную красоту. Вспомним, что большинство прекрасных, например, Ленинградских ансамблей составлены всего из трех- четырехэтажных строений. Древние статуэтки, умещающиеся за стеклами обычных витрин вполне успешно соперничают со скульптурами громадных мемориалов, похожих на крепости, на которые некоторые государства не жалеют цемента. Но бездарность или посредственность не заменить никакими бетонными монолитами. И если гипертрофированные размеры только усугубляют худо-

жественную несостоятельность бездарных произведений, то подлинному искусству они, наоборот, помогают, усиливая их и без того жуткую непостижимость.

В этом убеждаешься тотчас при входе в собор Петра. Размеры его можно ощутить только либо издалека, либо изнутри, поскольку их скрадывают более поздняя колоннада Бернини и портик Мадерно. Собор строили несколько архитекторов. Для каждого из них важнее размеров была *соразмерность,* то есть соответствие частей, единство целого. Иначе бы собор не существовал в настоящем виде, вернее, не был бы достроен Микеланджело. Уже на склоне лет, после многих поистине титанических трудов и подвигов, свершенных во имя божественного искусства, он связал свою судьбу с этим собором. Душа великого флорентийца, вероятно, страдала при виде начатого, едва продвигавшегося строительства: он боялся, что деньги, отпущенные на сооружение, разворуют, и гениальный замысел Браманте погибнет невоплощенным. Он спешил, боясь умереть прежде, чем собор не приобрел основных пропорций. После этого сооружение было бы уже невозможно испортить. В отличие от Леонардо — своего старшего по возрасту земляка — Буонарроти редко оставлял что-либо незавершенным. Он всегда мужественно стремился к законченности и совершенству. Но ему не было суждено физически достроить собор. И все же, умирая, художник наверняка знал, что творение уже существует.

Говорят, что Микеланджело, особенно в конце жизни, воплощал кризис Высокого Возрождения, мировоззрение его называют мрачным и трагически безысходным. Побольше бы человечеству таких кризисов! Что касается мрачности или безысходности, то я, например, не ощутил ни того, ни другого: ни в соборе Петра, ни в Сикстинской капелле, ни во Флоренции. Даже при чтении его сонетов, несмотря на косноязычие перевода, чувствуется сила и мощь неподвластного никаким рефлексиям духа, несокрушенная страданиями и потерями цельность. И тем более не было свойственно этому художнику «...добровольное, постоянное и, так сказать, одушевленное стремление к умышленному раздвоению внутреннего самосознания», которое, по словам И. В. Киреевского, «расщепляет самый корень душевных сил». Последствия же подобного расщепления вполне определенны: «...разум обращается в умную хитрость, сердечное чувство — в слепую страсть, красота — в мечту, истина — в мнение; наука — в силлогизм; существенность — в пред-

лог к воображению; добродетель — в самодовольство, а театральность является неотвязною спутницей жизни, внешнею прикрышкою лжи,— как мечтательность служит ей внутреннею маскою».

Какая же безысходность, если каждое (каждое!) произведение Микеланджело гениально, если оно возвышает, будит не одну, а целый рой мыслей, наконец — вызывает просто восторг и радость?!

Конечно, трудно быть радостным и снова испытать душевный восторг, когда за плечами почти полвека и позади столько потерь, невзгод, недостойных, свершенных пусть даже и по глупости дел... И все же радостный восторг возможен в любом возрасте. По-видимому, великое искусство может вызвать его даже в дряхлом сердце, даже в утомленной душе, отравленной засасывающей повседневностью. Но что или кто мешает нам хотя бы периодически вылезать из трясины? Ведь для этого вовсе не обязательно ехать в Италию... Здесь, в Ватикане, в центре всего католического мира, я вдруг вспомнил, что до сих пор не побывал на тихой Нерли, что Эрмитаж посетил не более пяти или шести раз за всю жизнь. Вспомнил, что фрески великого Дионисия всего в двух часах езды, что Софийский собор в десяти минутах ходьбы от дома.

Наверное, совсем не напрасно архитектуру называют матерью всех искусств: только она может так беззаветно, так безоглядно воссоединять два разделенные человеком начала, помирить два, на первый взгляд, враждующих мира. Только в ней, в архитектуре, неразрывны, неразъединимы духовное и материальное, вневременно-идеальное и сиюминутно-земное. И разве не архитектура через фрески и через гармонию линий вдохнула жизнь в живопись и в графику, разве не она еще в античную пору так по-матерински приголубила скульптуру и ужилась с музыкой? Гармония объемов и масс, линий и площадей доступна любому нормальному человеку, и любой не очень искушенный в этих делах человек смутно ощутит несоответствие. Вовсе не обязательно давать название этому смутному чувству неудовлетворенности или неловкости, объяснять и расшифровывать то, чем эта неловкость вызвана. Достаточно просто сказать, что произведение несовершенно...

Человек, вошедший в собор Петра, двигаясь к подкупольному пространству, боковым зрением, затылком, неизвестно чем, ощущает как раз соответствие этих мощных в своей красоте архитектурных форм. Интересно, что архи-

тектурный гений, его первоначальный художественный размах заставляет и позднейших творцов подтягиваться до его уровня, не позволяя им делать лишнее или мелочное. Впрочем, декоративное оформление собора, особенно верхней его части, так многокрасочно, так богато и празднично, что живет уже само по себе, помимо архитектуры. Оно, это убранство, в своем живописном восторге словно бы по-детски нетерпеливо забегает вперед и, архитектура с материнской снисходительностью разрешает ему это... Впрочем, она же достаточно строга, если не жестока ко всему тому, что в своем несоответствии не поспевает за ней. Так, балдахин Бернини, сооруженный как раз под самым куполом, похож на какого-то странного, случайно попавшего сюда, чужака. Еще нелепее выглядит апсидный в стиле барокко престол, хотя в другом месте он, наверное, воспринимался бы как удивительное произведение. Здесь же автора прекрасной четырехрядной колоннады вокруг соборной площади, той самой, что так гармонично сочетается с творением Браманте — Микеланджело, по-видимому, покинуло стилевое чутье... При выходе на площадь величественные радужные полукружья и подкупольный соборный свет еще долго заслоняет от вас пестроту ватиканских туристов и весеннюю зелень.

* * *

Рим выглядит как город после бомбежки, так много в нем прекрасных и чтимых всеми людьми развалин. (В черте города ничего не разрешается строить и даже ремонтировать без определенной научной и художественной подготовки.) Почему Н. В. Гоголь так любил этот город, в чем для него было главное очарование? Может быть, за отсутствие готики с ее рационализмом и аскетической сухостью? Или за известное сходство итальянского национального характера с русским? Неизвестно. Посягательство не на каждую тайну уживается с нормальным нравственным чувством, праздное любопытство так же безжизненно, как и праздное слово, праздное время. То, что великий писатель был восхищен Римом, ясно видно хотя бы из его не очень удачного очерка. Может быть, от невыразимости этого очарования автор не устерег меру своего восторга, почувствовал это и не закончил рукопись. Проза эта среди других гоголевских произведений выглядит примерно так же, как апсидный престол Бернини в соборе Петра...

У современной, одетой в джинсы Аннунциаты труднень-

ко заметить «оживленный античный мрамор», но «гибкость пантеры» заметить можно. Нечто хищное особенно чувствуется у двух-трех крикливых девиц, которые, бросаясь то влево, то вправо, суетливо машут руками, шныряют на площади напротив белоснежного дворца Виктора-Эммануила. Вооруженные довольно мощными портативными усилителями, они истерически призывают итальянцев к свободе разводов и узаконению абортов. Аборт по католическим понятиям все еще считается убийством, а девицы с микрофонами не хотят быть убийцами. Кажется, никто, кроме приезжих, не слушает их галочьих криков...

Гид показал нам балкон, с которого сорок лет назад вещал Муссолини. Место, где он, уже будучи мертвым, был повешен вниз головой, тоже считается историческим. Что-то протестует в душе, когда сразу после имени Цезаря произносится имя дуче. Неловко становится и тогда, когда «голубую» балерину Пикассо называют в одном ряду с рафаэлевской Сикстинской мадонной. Можно ли все это считать случайностью, безобидной логической ошибкой? Смотря где, как и, главное, кто говорит. Гиду, конечно, можно простить, у него нет времени логично выстраивать информацию. А как быть с почтенным профессором, неспешно сочиняющим в тиши кабинета? Или с умнейшим критиком, который в ряду прекрасных поэтов как бы само собой разумеющегося подсунет вам вдруг посредственного авангардиста? То же самое происходит, когда иная газета одинаково крупным шрифтом сообщает и о возмущенных антивоенных возгласах, и о галочьих криках девиц, призывающих к свободе от семьи и от брака.

Впрочем, если составлять список всех римских правителей, то Муссолини отнюдь не будет в нем лишний. Говоря о достоинствах великого города, трудно забыть и о его языческих и христианских грехах. Повсюду знакомые по книгам и фотографиям исторические здания, руины построек. На месте форума тут и там остатки колонн, обломки капителей, подножья и постаменты. Под ногами хрустят частицы древних сооружений, разрушенных в основном рукой человека. Чего только не слышится в треске античного мрамора!

Словно обесцвеченная веками кровь гладиаторов, сочится влага среди подвальных камней Колизея. Приглушенный шум автомобилей на ближних улицах похож, может быть, на шорох одежд многотысячной древнеримской толпы, и я чувствую, как приходит понимание прошедшего. Но

душа очень многое не прощает Риму. Может, потом когда-нибудь и переменятся мои мысли... Сейчас же мне особенно неприятно латинское аристократическое пижонство, связанное с презрением к земледельческому труду. Не знаю, как в современной Италии, но во многих других местах оно в целости и сохранности дошло до наших времен. Когда-то на человека, который обрабатывал землю, поглядывали свысока даже римские проститутки. Гордились своими занятиями профессиональные разбойники и наследственные торговцы. Военные и служители культа также считали свое дело более благородным.

«Тиберий Гракх задался целью избавить государство от грозивших ему бедствий. Он считал, что лучшим средством для этого было бы восстановление исчезнувшего класса мелких землевладельцев». Так говорится в одном из учебников по истории древнего мира. Но этот дальновидный патриций, всерьез думавший о будущем государства, был жестоко убит вместе с братом и всеми сторонниками. Женщинам даже не позволили оплакать и похоронить погибших. За голову Тиберия Гракха было обещано столько золота, сколько она весит. Какой-то благородный прохвост отыскал тело, отделил голову от трупа, заменил мозг крестьянского заступника свинцом и положил на чашу весов.

Традиция обогащения за счет чужих мозгов, к стыду нашему и сожалению, не исчезла и в наше время. Но у меня нет сейчас настроения говорить о плагиате и воровстве...

Как мало оставляет за собой течение истории, если из его отложений каким-нибудь способом вычесть искусство! Может быть, Н. В. Гоголь еще и потому любил этот город, что здесь как на ладони видна вся человеческая культура, начиная от египтян (если не от шумеров) и кончая современностью. В Риме все и вся встает на свои места. Разрозненные и путаные представления о развитии искусства приобретают здесь лад и стройность. Исчезают зияющие эстетические провалы (лакуны, как говорят в ученой среде), обнажается неестественность надуманных стыков. Приходит, наконец, ясное ощущение непрерываемости культурной традиции. Вечная новизна античности, о которой так много был наслышан, становится определенной и образной. И лишь после всего этого в сознании четко вырисовывается убожество модернизма.

Вестибюль второразрядной гостиницы, где мы переводим дух после торопливых хождений по Риму, обставлен удобной мебелью. Украшение его составляет превосходно

инкрустированный столик, довольно симпатичная, хотя и излишне сентиментальная картина и... сварное чугунное сооружение, символизирующее неизвестно что, скорее всего само себя. Такая последовательность — превосходный стол в стиле барокко, маньеристская картина и абстрактное чугунное сооружение — вызывает не только улыбку. Поджидая спутников по делегации, я вспомнил две свои поездки во Францию. Лувр, так же как Эрмитаж или Ватиканский музей, не любит скороходов-туристов. Он равнодушно и, как мне показалось, хмуро слушал сдержанный вавилонский шум и гул многоязычной толпы, терпел духоту от ее многотысячного дыхания. Наверное, добрая половина людей пришла сюда лишь по модной необходимости. Но можно ли за это осуждать людей? Измученный толкотней и оскорбительным ощущением недостатка времени, я протолкнулся в залу, где господствовала ехидная улыбочка Моны-Лизы. Картина слегка разочаровала. Гораздо сильнее подействовала на меня одна мадонна в том же зале. Но я не запомнил имени художника. Такая же толкучка стояла внизу, около Венеры, вернее, Афродиты Милосской. Обнаженная до самых бедер и как бы стыдясь того, что она безрукая и не может прикрыть наготу, она вполуоборот, спокойно и целомудренно смотрела поверх туристских голов. Казалось, что вода еще стекает с завитков, не попавших в узел волос, а крохотная складка между правым предплечьем и основанием по-юношески недоразвитой груди тотчас расправится, стоит Афродите сделать движение рукой.

Но волосы не обсыхают и складки не исчезают вот уже третье тысячелетие.

Нику Самофракийскую видно было значительно лучше, но она не вызывала чувства земного присутствия, может быть потому, что улетала, пыталась исчезнуть.

Лувр закрывался через двадцать минут. К сожалению, даже подобные обстоятельства не учат нас беречь время, которое тратится и коверкается человеком так же безжалостно, как и окружающая среда. Больше того, иногда мы покушаемся даже на последовательность минувшего. Шли упорные слухи о том, чтобы экспозицию Лувра, основанную на этой последовательности, заменить другой, отвечающей так называемому стилевому принципу размещения. Не знаю, проведена ли в жизнь идея такого содомского (иначе не назовешь) размещения луврских произведений, но в богатом обширном здании абстрактного искус-

ства, наоборот, принцип временно́й последовательности использован был в явном излишестве. Игнорируя существование музея импрессионистов, экспозиция абстрактного музея в Париже начинается именно с них. Доказывается естественность, неумолимость, что ли, перехода от импрессионизма к абстракционизму, от реализма к модернизму. Экспозиция внушает зрителю ту мысль, что абстракционизм такое же жизненное явление, как импрессионизм.

Увы, не такое. Мертвую схему давних и новейших «гениев» не оживят ни перекидные мостики, ни амортизирующие прокладки. Жалкие потуги абстракционизма стать законным преемником классического наследия ничем не кончаются, они только лишний раз обнажают его творческую несостоятельность.

Вообще-то с ним, то есть абстракционизмом, лучше не связываться. Бороться или упрекать здесь бесполезно. Модернисты всегда словно щитом прикрываются благотворной необходимостью новаторства, они всегда и кого угодно сумеют обвинить в отсталости и ретроградском мышлении. Одно лишь время способно с ними тягаться. И оно до неприличия расшвыривает и поглощает их, подобно Хроносу, пожирающему своих детей...

Пока вспоминался Париж, прошла усталость в ногах, вновь нахлынула жажда общения с Римом, которое, согласитесь, достается не каждому и не часто. Вот он, этот город, рядом, за дверью гостиницы. Триста шагов — и ты увидишь термы Веспасиана...

Не дождавшись своих строгих друзей, я возвратил портье ключ от номера.

* * *

Есть нечто унижающее человека в этой его вечной спешке, в планировании каждой минуты, в торопливости, будто бы экономящей время. Вспоминается пословица «тише едешь — дальше будешь». Один или два дня в Риме? Курам на смех... На Флоренцию нам отпущено и того меньше. Даже не хочется ехать. Мы проведем там всего три-четыре часа, вернемся и умчимся на Сицилию. Собрания и диспуты преследуют всюду, аж за кордоном. К тому ж еще эти магазины... Сколько раз я зарекался не тратить время на покупки и сувениры! И ничего не выходит. И так велик, так неприятен контраст между музеем и магазином, так противоестественны их сочетания. Теперь же, спустя несколько месяцев, я каюсь, что побрезговал сувенирным

киоском и не купил Флорентийский альбом. Вспоминаю, пытаюсь представить город с красноватыми кровлями, город, который в одиночку породил и подарил человечеству столько гениальных людей.

Не знаю, как в других странах, но у нас, пожалуй, никто из них, кроме, может быть, Леонардо да Винчи, еще не оценен по достоинству. Массовому читателю и массовому зрителю почти ничего не известно о Флоренции, например, дантовского периода. Ученые люди не знают, в какую графу поставить Савонаролу: с одной стороны, вроде бы обличитель, с другой — как будто религиозный фанатик. Не лучше ли промолчать? С Макиавелли — та же история, а о Марсилио Фичино толкуют лишь узкие спецы, да и то больше между собой. Субъективизм, который так не любят в интеллектуальной среде, то и дело высовывает свои уши, торчат они и на Западе: из многотомных исследований, эссе и романов. Гений Савонаролы, к примеру, давно ошельмован многими западными знатоками истории.

Как-то на день рождения сестра подарила мне роскошный альбом. Это была книга Бруно Нардини «Жизнь Леонардо», книга с превосходными иллюстрациями и кадрами из многосерийного итальянского фильма. Автор во многих местах почему-то настойчиво твердит о физической красоте Леонардо, о его благородстве и пристрастии к роскошной одежде. В книге целая глава посвящена «ревнивому чувству Микеланджело». «Леонардо воплощал в своем творчестве золотую пору гуманизма,— говорит Нардини,— все в нем было гармоничным: красота, королевская горделивость, чудесные одежды, свита учеников. Микеланджело, наоборот, воплощал кризис гуманизма, противоборство демонического начала с божественным, протест против мудрости, борьбу с любым проявлением дружеской терпимости. Микеланджело было тогда всего двадцать шесть лет. Невысокий, с гривой черных спутанных волос на большой голове, он смотрел на всех возбужденными горящими глазами, одевался плохо, был завистливым и раздражительным, не имел ни друзей, ни учеников».

Так пишет наш современник, итальянец, в книге, переведенной и роскошно изданной издательством «Планета» двадцатидвухтысячным тиражом. (По западным понятиям, тираж для такого рода литературы действительно грандиозный.)

Гениальный художник не может даже и в малой мере рассчитывать на свою мало-мальски объективную биогра-

фию, поскольку гениальный художник и его биограф обычно разномасштабны.

Какую же нужно иметь самонадеянность, чтобы, подобно Мережковскому, осмелиться описать встречу Леонардо и Микеланджело! Причем Буонарроти почему-то и здесь показан с нескрываемым авторским раздражением. Мережковскому известно откуда-то, что у героя «оттопыренные уши и клочковатая козлиная борода», автор знает даже, что произнесла Мона-Лиза о Микеланджело, позируя Леонардо. Мережковскому известно откуда-то, что Микеланджело не любит «тишины, в которой господь», что он «вечный бунтарь» и т. д. Вначале говорят о «драме жизни», об «отсутствии гармонии и неистовстве», затем все это преподносят как давно исторически доказанный факт. И только после того развивают собственные теории, как это делает в своем романе другой, более известный автор. Однако же писать роман, а не документальную биографию о художнике масштаба Микеланджело — еще опаснее. По моему глубокому убеждению, право на подобную смелость имеет только художник, если не превышающий, то хотя бы равный своему герою по духу и по таланту. И роман этот должен быть написан так, чтобы по своему художественному достоинству не уступал хотя бы одному из произведений, принадлежащих описываемому лицу. Да и то еще неизвестно, как посмотрел бы читатель на такой роман о Микеланджело, если хотя бы раз в жизни взглянул хотя бы на одну потолочную фреску Сикстинской капеллы...

Нет, поистине безмерна человеческая самонадеянность. И, может быть, с нее, с этой безмерности, с этой неоправданной природными способностями смелости и начинается безответственное деяние. Чем иначе объяснить это более чем вольное обращение хотя бы с классикой. Перед отлетом в Италию мне пришлось прочитать киносценарий под названием «Дубровский». Авторов его было два (коллективная ответственность), поэтому не ясно, кто отвечал за идейное и художественное перекраивание пушкинской повести. По печатному объему сценарий был толще самой повести. И не зря, так как, не доверяя Пушкину, сценаристы придумали множество своих эпизодов и персонажей.

Так уродуется классическая проза — в кино, в театре, на телевидении. Архитектура и музыка, подобно литературе, тоже беззащитны, их также можно достраивать, перестраивать. Живопись, поэзия и скульптура находятся в этом смысле в более выгодном положении. Картину или

скульптуру невозможно ни сократить, ни дополнить, мало поддаются они и произвольной интерпретации.

...Нет, стремительный бег по удивительным залам галереи Уффицы почти ничего не дал душе. Это все равно что чтение Толстого по диагонали. Кощунственно заходить в такие места всего лишь на полчаса, ничего, кроме горечи, не остается от таких посещений. Но когда исчезают досада и горечь, то оказывается, что даже такое короткое пребывание в этой галерее не остается бесследным. Именно здесь, в эти минуты, я понял одну, очень простую истину. Что бы там ни говорилось по поводу ханжества, но целомудрие по-прежнему один из главных признаков одухотворенности художественного образа. Доказать эту мысль можно самым простым способом: сравнением, созерцанием одинаково талантливых изображений обнаженной и необнаженной натуры. Чем талантливей скульптор или живописец, тем слабее его влияние на низменные инстинкты. К сексу взывает, вероятно, лишь в жестоких сомнениях в своем таланте, отчаявшись в своих духовных возможностях, либо вполне намеренно, в каких-либо недостойных и тайных целях.

Однажды, листая комплект «Нивы» за 1886 год, я был удивлен странным обилием ребусов и шарад. Оказывается, уже тогда массового читателя потчевали «доминошными» развлечениями. Портреты высокородных знаменитостей то и дело перемежались слащавыми гравюрами с такими названиями, как «Спасенная», «У постели больного дитяти» и т. д.

Авангардисты, сами будучи не свободными в искусстве, справедливо обвиняют натурализм в рабском копировании природы. Натурализм, однако же, может проявляться не только в этом, но и во многом другом, например в выборе темы. Спекуляцию на таких темах, как мать и дитя, болезнь и ребенок, можно назвать *тематическим натурализмом.* Впрочем, грешат этим не одни художники. «Жаль, что искусство здесь не соответствует трогательности предмета»,— деликатно говорит Карамзин по поводу подобных творений.

И совсем уже неожиданной оказалась для меня в «Ниве» гравюра Шюблера по рисунку Р. Штейна под названием «Народные сказания. Сказка о царевне лягушке». Тут «Нива» поистине превзошла себя. На резном крыльце псевдорусского терема, под луной, сидела царевна-красавица. У самого крыльца, в воде, художник изобразил двенадцать

голых девиц, да таких грудастых, в таких соблазнительных позах, что мне стало жаль подписчиков «Нивы»...

Галопом в прямом смысле мы мчимся по улицам Флоренции, до автобуса есть надежда увидеть еще один из многочисленных шедевров Микеланджело.

Усыпальницу Медичи многие искусствоведы также считают свидетельством какого-то «надлома» и «пессимизма». При этом особенно любят ссылаться на известные стихотворные строки художника, где говорится об аллегориях дня и ночи. От этой ссылки слегка попахивает вульгарным социологизмом. Ничего нет проще, как сослаться на общественные неурядицы, объясняя упадок духа того или иного художника. В нашем же случае никакого духовного упадка не существует вообще. Он, этот упадок, высосан из какого-то заляпанного чернилами пальца. (Точь-в-точь как и обвинение в «протесте против мудрости».) Может быть, искусствоведы, посещающие усыпальницу Медичи, принимают за выражение художественного пессимизма эти трагически возвышенные каменные аккорды, эти величавые, полные тайного смысла мраморные фигуры? Но, следуя такой логике, и величайшего трагика мира Шекспира надо считать самым отъявленным пессимистом.

Микеланджело не потрошил по ночам покойников, не мучился над изобретением адских машин, кабалистические кружки тоже его не интересовали. Он всю жизнь *созидал,* творил, создавая произведения искусства. Но равнодушие к черной магии, оказывается, можно преподнести как «протест против мудрости». Он редко делал ошибки, трудился всегда, но трудился вдохновенно и не мучительно. А венгерский писатель Шульц описывает в своем романе «творческие» муки Буонарроти. Но творчество не может быть мучительным. Величайший, необъяснимый и прекрасный акт созидания нельзя называть мучительным. Страдают и мучаются бездарные. Чем талантливее художник, тем он вдохновеннее и тем менее мучителен процесс созидания. (Да, черновики А. С. Пушкина действительно исчерканы, перемазаны, они свидетельство большого труда. Но кто осмелится заявить, что этот труд был для поэта неприятным, мучительным?) Странная, необъяснимая неприязнь к великому художнику, поэту, архитектору и скульптору звучит и в некоторых «трудах» наших советских знатоков Возрождения. «...Властелин над камнем и словом в жизни был рабом», — пишет критик Д. Горбов в статье «Художник и эпоха («Новый мир», 1966, № 3), при-

писывая титану Буонарроти «неполноту и ограниченность», а также борьбу с целым средневековьем. По мнению критика, в этой борьбе Микеланджело опирался «на древнюю традицию — не классическую, казавшуюся ему, быть может, слишком статуарной, неподвижной, а в значительной мере — на библейскую, дававшую больше простора и свободы его титаническому исступлению». До чего мудрено, что и концов не найти! Что это за традиции: одна «классическая», другая «библейская» и есть ли синонимы к слову «статуарная»? Для чего это «быть может», если критик так уверенно судит о романе, в котором еще более уверенно говорится о том, что думали и чувствовали Микеланджело и Леонардо да Винчи?

«Гениям казалось, что они теснят друг друга — в ту эпоху, когда все друг друга теснили, домогаясь своей полноты». Такая осведомленность критика о том, что «казалось» или что не казалось гениям, окончательно обескураживает.

Упрощенность и социологическая вульгарщина соревнуются с неприязнью к великому человеку и в некоторых других работах. Нападают уже и на близких, и на родных, намекая на дурную наследственность. Так, в одной из книг о Микеланджело, вышедших у нас, автор примечаний позволяет себе непочтительное и грубое высказывание об отце и братьях великого флорентинца. Но художник не давал даже случайных поводов упрекать его в недостаточной сыновней или братской любви. Осенью 1512 года, в тревожное для Флоренции время, он пишет из Рима брату:

«...Живите спокойно и не заводите ни дружбы, ни близости ни с кем, кроме разве Господа бога. И ни о ком не говорите ни хорошо, ни дурно, ибо неизвестно, чем все это кончится, занимайтесь только своими делами». Примерно через полмесяца отцу:

«Позаботьтесь о том, чтобы жить как можно лучше и не путайтесь ни в какие другие дела». А в письме к брату в связи с болезнью отца говорит: «...в случае опасности я хотел бы во что бы то ни стало его повидать до его смерти, хотя бы мне пришлось умереть с ним вместе».

Во имя своего подвига в искусстве он не имел семьи, но всегда нежно любил своих родственников. Вот одно из его писем брату: «...Лионардо — узнаю из твоего письма, что Кассандра родила прекрасного мальчика и что она здорова и что вы назовете его Буонарроти. Все это доставило мне величайшую радость. Поблагодарим за это Гос-

пода, и пусть он сделает мальчика хорошим с тем, чтобы он делал нам честь и соблюдал дом. Поблагодари от меня Кассандру и засвидетельствуй ей мое почтение. И это все... Пишу коротко, ибо мне некогда. В день двадцать первый апреля 1554».

Некогда! Глубоким стариком он строит собор Петра — величайшее по красоте и мощи сооружение. Одновременно пишет сонеты, размышляя в них о взаимоотношениях смерти, искусства и человеческой жизни. Друзья зовут его умереть на родине, в милую его сердцу Флоренцию, вынуждая его оправдываться: «И будьте твердо уверены, что я охотно сложил бы свои немощные кости рядом с костями моего отца, как вы меня просите. Однако, если б сейчас я отсюда уехал, я оказался бы причиной великого крушения для постройки Санто Пьетро, великого позора и величайшего греха». Он обещает приехать сразу «...как только будет установлена вся композиция так, чтоб ее уже нельзя будет изменить».

Жалобы на нехватку времени постоянно звучат в его письмах. Другой настойчивый мотив его писем к родным — это требование «не унывать», мужественно преодолевать любые невзгоды. Он не страдал тщеславием, но не позволял и позорить свое имя, умел бороться за справедливость. Случайно услышав разговор обывателей, приписавших его «Пьету» другому скульптору, он возмутился и вырезал свое имя на ленте, которая поддерживает плащ Богоматери.

По поводу идиотского спора о том, что лучше: живопись или скульптура, он пишет: «...если большая рассудительность и большие затруднения, помехи и усилия не составляют большего благородства, то в таком случае живопись и скульптура — одно и то же. И если это так, то каждый живописец не должен был бы меньше заниматься скульптурой, скульптор — не меньше живописью, чем скульптурой... Словом, поскольку и то и другое, а именно живопись и скульптура, проистекают из одного и того же разума, можно установить между ними добрый мир и отбросить столько ненужных споров, ибо на них уходит больше времени, чем на создание фигур». Далее он говорит, что обо всем этом «...можно было бы сказать бесконечно много разных вещей, и не тех, что всегда повторяются. Однако, как я уже сказал, на это потребовалось бы слишком много времени, а у меня его немного...»

Настоящий художник не тратит свое время на разговоры

о способах создания художественного произведения, он тратит его на само творчество, на само созидание.

* * *

Римский вокзал не сделал на сердце ни единой зарубки. Наверное, все вокзалы мира одинаково обездушены, одинаково обезличены. В спешке, унижающей человека, в одиночестве и зыбком дорожном непостоянстве нет никакой романтики, разве что для несмышленых юнцов или для бездельников, не знающих, как угробить время и деньги.

Может быть, у меня особое отношение к вокзалам, связанное с детством, с незабываемым страхом безбилетных поездок, под лавками и на вагонных подножках, прятаньем от проводников и милиции. Но ведь были же и счастливые поездки. Были, конечно. Счастливой я считаю и эту поездку.

И все же из вокзального быта почти ничего не запомнилось, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Стокгольме. Поезда тоже повсюду ходят одинаково, на лицах дорожных людей везде одна и та же озабоченность, хотя комфорт и надежность вовсе не одинаковы. В одном месте поражает быстрота обслуживания при покупке билетов, изящество и забота о питании пассажиров, а в другом — страшная теснота и нервозность. Когда бастуют железнодорожники, западному пассажиру тоже приходится хлебнуть соленого...

Дорога к Сицилии запомнилась одной деталью. Я видел, как, освобождая место, бульдозером сгребали в сторону, видимо, испорченные то ли апельсины, то ли мандарины. На громадном пароме наш поезд уже в сумерках пересек Мессинский пролив, и наш бег продолжался, теперь уже по Сицилии. Да, именно бег. Как иначе можно назвать те несколько дней, что были отпущены судьбою и визой? Сеньор Лентини — президент фонда Монделло — сделал все от него зависящее, чтобы мы успели как можно больше. К сожалению, время течет по своим законам, да и у человека существует предел эмоционального насыщения, что ли...

Гостеприимством в Палермо, как, впрочем, и в Риме, мы были обязаны фонду Монделло, который немало сделал для развития культурных связей между Сицилией и нашей страной.

Вестибюль даже знаменитой гостиницы, украшенной превосходной скульптурой, останется вестибюлем. Общность между гостиницами и вокзалами — очевидна. Может, поэтому здесь так дорожат тем, что Рихард Вагнер оста-

навливался когда-то в этой гостинице, о чем и напоминает небольшой бюст композитора. Позднее, уже в Москве, мне сказали, что в этой же гостинице много лет проживает или проживал человек, обреченный мафией на вечное одиночество. Не знаю, насколько правдивы все разговоры о мафии, но так называемые красные бригады не оставляют никаких сомнений в собственном существовании. В Риме нам показывали место, где был убит Альдо Моро. Известие о Миланской трагедии также облетело весь мир. Социальный клубок в Италии так запутан, что обычному читателю обычных газет никогда не разобраться в подлинной сути скандала с масонской ложей. О социальных сложностях говорил нам и губернатор Сицилии Микеланджело Рус, который любезно принял нас в своей на ходу реставрируемой резиденции.

Остров Сицилия буквально нашпигован памятниками истории и культуры. И это несмотря на то, что по нему издревле одна за другой ритмично катились волны завоевателей: греков, карфагенян, римлян, норманнов. Может быть, лукам, мечам и дротикам доступна лишь живая человеческая плоть, а произведение рук человеческих им недоступно? В какой-то мере это так и есть. С натовскими ракетами, оснащенными ядерными зарядами, нельзя конкурировать даже самым мощным баллистам и стенобитным орудиям древности. Прогресс, так сказать, налицо. Но следы древних вояк, следы ненавидящих труд грабителей и насильников, тоже несмываемы для беззащитных мозаик, фресок и базилик. Может, только одни могучие полукружья древних амфитеатров и цирков, сложенные из неприступных каменных глыб, да города, засыпанные пеплом вулканов, не поддались полному разрушению.

Выходит, что природа и время не только разрушали, но и сохраняли, как бы соревнуясь то с разрушающей, то с созидательной способностью человека. Ведь если Везувий не засыпал Помпеи, она не сохранила бы для нас своей материальности... Здесь, на Сицилии, мне вспоминается разговор, происходивший несколько лет назад на острове Спас-камень Кубенского озера. Собор Спас-каменного монастыря — архитектурный шедевр XV века, взорванный динамитом в начале 30-х годов, лежит на вологодском острове могучими монолитными глыбами. На глыбах явственно различимы абсидные закругления и другие архитектурные детали. Обсуждая щепетильную проблему восстановления памятника, один из представителей Всесоюз-

ного общества охраны памятников предложил подогнать земснаряд и замыть, законсервировать для будущего руины собора, чтобы они перестали разрушаться от солнца, ветра и влаги. А у потомков, дескать, и денег будет больше, и желания восстанавливать...

Интересное дело: относительно архитектуры даже воинствующий вандализм иногда просто бессилен, поскольку уничтожение монументального сооружения вручную — дело отнюдь не легкое. Если иконы и книги можно сжечь, то для разрушения архитектурного памятника нужны почти те же *физические* усилия, что и для его последующего восстановления. Разница только в том, что при уничтожении не требуется интеллектуальной, а творческая энергия и вовсе лишняя. Отчасти благодаря всему этому мы и имеем сегодня возможность общаться с памятниками практически домонгольской (XI—XII вв.) Руси. (Вспомним, что период Высокого Возрождения в Европе относится к первой половине XVI в.) Но главной причиной выживания, например, Дмитриевского собора во Владимире (1194—1197 гг.) была не крепость его стен, а скорее многочисленность русских памятников. Ведь никто не считал, сколько их погибло во времена разных погромов.

И там, и здесь на Сицилии, мне думалось об одном и том же. Какая сила переборет в человеке и в обществе? Созидающая или разрушающая? Очнутся ли, наконец, люди и когда мы в прямом смысле перекуем мечи на орала? Когда нейтрализуем мы страшную ядерную злобу, накопленную в тысячах бомб и снарядных боеголовок? А может, уже и невозможно нейтрализовать? Неужели в труде, в искусстве, в созидании соревноваться страшнее и неприятнее, чем в гонке вооружений? По-видимому, для многих людей (людей ли?) действительно труднее. Лишенные творческой созидательной силы, они способны лишь к обычному противопоставлению и драке. Азарт же карточного игрока делает их воистину опасной заразой...

И вот я ищу в искусстве нечто подобное тому, что существует в политике, ищу и не нахожу. Наверное, искусство, если оно подлинное, живет совсем по другим законам. «Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некоей метафизической связи с крайностью в политике...»— говорит один далеко не бездарный русский писатель. Здесь подразумевается, наверное, не само искусство, а отношение к нему. Ведь если крайности в политике вполне реально существу-

ют, то что значит крайности в искусстве? Существуют ли они вообще, и если существуют, то не абстрактная ли эта живопись, которую я видел в Париже? Не чугунное ли сооружение, стоящее в вестибюле римской гостиницы?

Подлинное, настоящее искусство чем полнее, тем свободней от крайностей. Крайность тут одна — непостижимость. Антонелловская Аннунциата как бы предостерегает от экстремизма в искусстве своей чуть приподнятой правой рукой. Собор на Монреальском холме величав, он поражает не менее римского собора Петра, но поражает не крайностями, а опять же гармонией и соразмерностью. Соразмерностью линий и красок, объемов и плоскостей. Ничто не кричит о себе, ничто не вылезает из общего целого. В то же время любая часть, даже самая малая, самостоятельна, индивидуальна.

Могучее дыхание православной Византии ощущается сразу при входе в этот собор. Католическая атрибутика не мешает этому ощущению. Правда, в надписях латынь здесь уступила греческому алфавиту.

Прекрасен величественный и грозный Христос Пантократор в главной апсиде. Широким жестом обеих рук, скрытых под голубым плащом, он словно бы обнимает, соединяет воедино все вокруг и главным образом перед собою: и людей, и фигуры апостолов, и эти сами по себе величавые членения собора. Это один из тех редких образов, когда взгляд достигает человека даже при перемещении в соборном пространстве. Куда ни встанешь — повсюду встретишься с этим всепроникающим взглядом. Так же точно смотрит Никола в родном для меня Ферапонтове, а сходство образов богоматери просто поразительное.

Однако здешний Христос, кажется, ничего не прощает... Неотвратимость грозного возмездия словно бы молниеносно чередуется в его взгляде с выражениями спокойствия, величия, сожаления. Сотни фигур, пейзажи, удивительные орнаменты сложены в соборе из крохотных камушков. Не знаю, где еще в мире так представлено искусство мозаики, как на Сицилии. Если же нигде, то именно здесь, в соборе, традиция этого искусства достигла наиболее высокого своего воплощения. А то, что традиция эта существует более двух тысячелетий, доказывается сравнительно недавним открытием античных мозаик около небольшого сицилийского городка Армерина. Трудно даже представить, что могли делать древние художники в пределах мозаической техники, ограниченные определенной

цветовой гаммой. Оказывается, и в мозаике можно выразить стремительное движение, изобразить тени, показать ярость преследуемого льва или ужас антилопы, несущей на хребте тигра. Лицо титана, выдирающего стрелу из своей окровавленной груди, изображает не только физическую боль, но и какое-то неимоверное внутреннее страдание. Лицо человека, подающего Полифему чашу с питьем, выражает такую хитрость, что даже не очень знающим древние мифы вспоминается Одиссей.

Но Армерина будет потом, а пока мы в Палермо — по-весеннему теплом и солнечном.

Итак, в 1981 году я встречу весну не менее двух раз... Относительность времени, его странная зыбкость наводит на мысль о постоянстве и о надежной цельности искусства, о его универсализме и глобальности в человеческой жизни.

Разве не формирует, например, архитектура не только эстетику, но и нравственность? У жителей Суздаля и Череповца вполне разное отношение к некоторым нравственным проблемам. Психология живущего на 20-м этаже значительно отличается от психологии живущего в доме одноэтажном.

Только в искусстве может существовать «компенсация», та взаимозаменяемость, та жанровая взаимовыручка, при которой так или иначе жажда прекрасного в человеке не останется неутоленной. Ведь в исключительных, экстремальных, как теперь говорят, условиях один из видов искусства способен взять на себя всю тяжесть культуры... Стоя в соборе, я сразу же вспомнил, что где-то в мире есть капелла Бориса Христова, что существует Юрловский хор. Голоса неведомых мне дальних певцов безмолвно звучали сейчас перед этим всепроникающим взором, среди этих мозаичных ритмов. Точно так же в разделенном на два этажа соборе города Перми, и так и эдак разглядывая фигуры безвестных крестьянских скульпторов, можно услышать эпический голос древнего сказителя, перстами которого пробуждаются струны гуслей.

По одной капители, говорят, можно реконструировать целое античное здание, по одной детали или частице орнамента установить стилевую и национальную принадлежность.

Ах, эти стили! Никто не поможет мне выбраться из-под академических глыб, никто не пособит вылезть из-под вороха чужих, давно устоявшихся мнений, чтобы свободно вздохнуть и своими собственными глазами взглянуть на

то, что нас окружает. Как надуманны иногда все эти ученые классификации! Маньеризм, например. Что это такое? Или такие понятия, как восточный и западный ренессанс. Откуда такая тупоголовая убежденность в том, что искусство всех народов развивается и живет по одним и тем же законам?

И все-таки они существуют, эти самые стили. Достаточно пройти от гостиницы в Палермо двести метров, чтобы убедиться в этом. Даже самый неискушенный зритель отличит арабское зодчество от византийского, заметит четкую разницу между итальянским барокко и неоготикой. И как, должно быть, грустно было бы в мире, если б японская культура во всем сравнялась с культурой Исландии на том основании, что обе страны находятся на островах! Наконец, что ни говори, а приятно, приезжая в Италию, есть именно макароны, а не блины...

Еще до посещения Монреальского холма мы познакомились с другой примечательностью Палермо — кафедральным собором. Экскурсовод доложил нам, что строили его разные архитекторы, что в этом великолепном сооружении скрестились и восточные и европейские строительные традиции, сплелись воедино различные художественные стили. Что же получается при смещении национальных стилей? Плодотворно ли их полное слияние? Гармонична ли эта каменная кантата Палермо? На эти весьма щепетильные вопросы я боюсь отвечать. Совершенно несправедливо было бы сказать «нет», говорить определенно «да» тоже что-то мешает...

Конечно, Сицилия поистине выстрадала свой стиль, но это касается, как мне показалось, не столько архитектуры, сколько быта и нравов. Сицилианца ни с кем нельзя спутать, его можно узнать по одежде, по музыке, по манере говорить и держаться. Странное сочетание веселой живости и грустной задумчивости еще не полностью характеризует здешнего жителя, и чтобы понять все остальное, мало этих коротеньких дней.

Наш бег по Сицилии оборвался свистом турбин в аэропорту Катания. Перед этим мы ночевали в тихой гостинице курортного городка Тормина. Часов в пять утра я вышел на открытую площадку, служившую крышей первому этажу, и просидел в качалке до первых ударов церковного колокола. Они раздались в тишине так неожиданно, так близко, так ясно и чисто, что я окончательно очнулся от зимнего состояния и всерьез почув-

ствовал весну, зелень, горную свежесть и солнечное тепло.

Круто внизу серебрилось море, а далеко вверх уходили скалы, облепленные гостиницами и коттеджами. Справа ясно и четко громоздилась зеленовато-серая Этна, украшенная в распадках и ближе к вершине серебристым снегом. К подножию ее лепились поселки, обрамленные рощами цитрусовых. Оранжевые мазки этих рощ скрадывались яркой синевой неба, а на фоне этой синевы, словно черная весть о самой преисподней, плыли копоть и пар вулкана.

Во время нашей поездки в Сиракузы Этна вставала то слева, то справа, то впереди и все время плевалась в небо этими черными сгустками. Она и впрямь вела себя неспокойно, но я не знал, что сразу после нашего отъезда вулкан проснется. По телевизору было видно, как вниз на дома и деревья ползла красная лава, сжигая на своем пути все живое и мертвое...

Почему же Этна не проснулась днем раньше, когда я глядел на нее, среди солнца и зелени, когда слушал в одиночестве утренний колокол? Вероятно, она не хотела портить мне вторую, дополнительную весну, весну 81 года, встреченную мной на Сицилии...

Ровно через два месяца, на родине, я встретил весну первую, в смысле главную.

* * *

В последний день в Риме мне удалось еще раз встретиться с Рафаэлем и Микеланджело. Экскурсовод, несколько дней назад знакомивший нас с Ватиканским музеем, вел очередную группу советских туристов. Он узнал меня и сказал, что я счастливый человек и что он желает удачи...

Скрепя сердце я проскочил, не задерживаясь, обширные залы со скульптурными экспонатами, хотя прекрасно знаю, что почувствовать скульптуру по-настоящему можно только тогда, когда научишься отличать греческий подлинник от римской копии.

В этот раз не успеть научиться. Хорошо бы без толкучки постоять и около бессмертных созданий Рафаэля, потом спокойно посидеть на скамье в Сикстинской капелле. Но разноязычные толпы уже наполнили Ватиканский музей, и спокойствия нет... Все равно — это прекрасно, прекрасно еще раз полюбоваться «Афинской школой» или почти физически ощутить ярчайший свет за тюремной

решеткой, мерцающий на доспехах спящей стражи. Рафаэль изобразил Петра усталым и изнемогающим, но здесь нет ощущения подавленности, наоборот, произведение радует, будит в тебе неизвестные тебе силы.

По рассказам экскурсоводов, в одной из фигур «Афинской школы» Рафаэль изобразил самого Микеланджело. Он сидит, облокотясь на левую руку, собираясь записать что-то, но задумался и словно забыл, где он находится.

Зритель тоже забывает, где и зачем он находится, отдавая себя полностью во власть рафаэлевских красок. Но времени нет, и надо снова бежать. Бежать, игнорируя иные живописные и архитектурные шедевры, оставляя их на «потом», которое, вполне возможно, никогда не случится.

В Сикстинской капелле настигает тебя стыд, начинает мучить совесть. Появляется желание немедленно приняться за дело. Неужели сделал все это один человек, да еще тот самый, который построил соборы и целые ансамбли, изваял сотни изумительных скульптур, высвобождая их высокую красоту из косной мраморной массы, а когда руки и зрение ослабели, то не хуже, а лучше многих, служил поэзии? Неужели это все один? Ведь у него было все так же, как и у всех: уязвимое здоровье, борьба за кусок хлеба, скитания, непонимание, преследование, невзгоды войны. Все это мешало ему так же, как и другим. Но один он оказался так близко к бессмертию. Высота его духовного взлета ни с чем не соизмерима. Но это был и физический подвиг. Физические и психологические усилия художника не ослабевали в течение многих десятилетий, до последнего часа.

И, глядя на эти фрески, вспоминая все, что он создал, ощущаешь заниженность своей собственной задачи. Совесть заставляет зрителя снова пересмотреть, и расширить, и усложнить ее, эту задачу...

Вместе с тем встреча с таким искусством, и восторг, и весенняя радость, вновь убеждают, что только оно, только искусство способно на бесконечно повторяющееся обновление.

1981

Содержание

Василий Иванович Белов

РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ

Очерки и статьи

Рецензент *А. Карелин*
Редактор *Т. Никифорова*
Художник *А. Серебряков*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технический редактор *Г. Куликова*
Корректор *Н. Кочергина*

ИБ № 3913
Сдано в набор 16.08.85. Подписано к печати 26.11.85. А16121. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,6. Уч.-изд. л. 15,49. Тираж 30 000 экз. Заказ № 328. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

80 коп.

«СОВРЕМЕННИК»

